фонд
либеральная
миссия

библиотека
фонда
либеральная
миссия

Фридрих Август фон Хайек
Дорога к рабству

НОВОЕ издательство

Friedrich August von Hayek
The Road to Serfdom

The University of Chicago Press
Chicago

Фридрих Август фон Хайек
Дорога к рабству

фонд
либеральная
миссия
новое
издательство

УДК 330.831.8
ББК 66.1(0)
Х12

Перевод с английского	Михаил Гнедовский Игорь Пильщиков (предисловия к изданиям 1956 и 1976 годов)
Послесловие	Ростислав Капелюшников
Редактор	Андрей Прохоров
Дизайн	Анатолий Гусев

Хайек, Фридрих Август фон
Х12 Дорога к рабству / Пер. с англ.
М.: Новое издательство, 2005. — 264 с.
(Библиотека Фонда «Либеральная миссия»)

ISBN 5-98379-037-4

Знаменитая книга крупнейшего экономиста и политического мыслителя XX века, «Дорога к рабству» Фридриха Августа фон Хайека, по праву считается одним из самых убедительных опытов критики социалистической идеологии. Сегодня многие тезисы Хайека кажутся очевидными — они подтверждены историей, показавшей и легкость превращения социалистических правительств в тоталитарные диктатуры, и их недолговечность, однако избыточное вмешательство государства в экономику по-прежнему составляет основное препятствие на пути развития России и многих стран мира, а значит, «Дорога к рабству» все еще актуальна.

УДК 330.831.8
ББК 66.1(0)

ISBN 5-98379-037-4

© Фонд «Либеральная миссия», 2005
© Новое издательство, 2005

Оглавление

Предисловие к репринтному изданию 1976 года 7
Предисловие к американскому карманному изданию 1956 года 11
Предисловие к изданию 1944 года 26

Дорога к рабству

Введение 31
I Отвергнутый путь 38
II Великая утопия 49
III Индивидуализм и коллективизм 56
IV Является ли планирование неизбежным? 65
V Планирование и демократия 76
VI План и закон. 90
VII Экономический контроль и тоталитаризм 103
VIII Кто кого? 114
IX Свобода и защищенность 129
X Почему к власти приходят худшие? 141
XI Конец правды 156
XII Социалистические корни нацизма 167
XIII Тоталитаристы среди нас 179
XIV Материальные обстоятельства и идеальные цели 196
XV Каким будет мир после войны? 210
XVI Заключение 226

Ростислав Капелюшников. «Дорога к рабству» и дорога к свободе 228
Указатель 259

Предисловие к репринтному изданию 1976 года

С этой книги, написанной на досуге в 1940–1943 годах, когда я по большей части занимался проблемами чистой экономической теории, неожиданно для меня самого началась моя более чем тридцатилетняя работа в новой области. Первая попытка найти новое направление была вызвана моим раздражением по поводу абсолютно неверной интерпретации нацистского движения в британских «прогрессивных» кругах. Это раздражение принудило меня написать записку тогдашнему директору Лондонской школы экономики сэру Уильяму Бевериджу, а затем статью для Contemporary Review за 1938 год, которую я по просьбе профессора Гарри Д. Гидеонса дополнил для публикации в его Public Policy Pamphlets и которую с большой неохотой (обнаружив, что все мои более компетентные британские коллеги заняты ходом военных действий) я наконец превратил в этот трактат. Несмотря на совершенно неожиданный успех «Дороги к рабству» (а не планировавшееся сначала американское издание имело еще больший успех, чем британское), я долго не был ею доволен. Хотя в самом начале книги честно сказано, что она носит политический характер, мои коллеги по общественным наукам сумели внушить мне ощущение, что я занимаюсь не тем, чем следует, и меня самого смущало, достаточно ли у меня компетенции, чтобы выходить за границы экономики в техническом смысле слова. Не буду здесь говорить ни о том, какую ярость вызвала моя книга в определенных кругах, ни о весьма любопытной разнице между тем, как ее приняли в Великобритании и Соединенных Штатах, — я писал об этом пару десятилетий назад в «Предисловии к первому американскому карманному изданию». Только для того, чтобы дать представление о распространенной реакции, упомяну случай, когда один хорошо известный философ, чье имя останется неназванным, написал другому философу письмо, в котором упрекал его за похвалы этой скандальной книге, которую он сам, «конечно же, не читал!».

Хотя я приложил немало усилий, чтобы оставаться в рамках собственно экономики, я не мог избавиться от мысли, что вопросы,

которые я столь неосмотрительно поднял, сложнее и важнее, чем вопросы экономической теории, и сказанное в первоначальном варианте моей работы нуждается в прояснении и доработке. Когда я писал эту книгу, я далеко не в достаточной мере освободился от предрассудков и предубеждений, правящих общественным мнением, и в еще меньшей степени умел избегать обыкновенного смешения терминов и понятий — того, к чему я впоследствии стал относиться очень внимательно. Предпринятое мной обсуждение последствий социальной политики, разумеется, не может быть полным без адекватного рассмотрения требований и возможностей правильно организованного рыночного порядка. Именно последней проблеме посвящены мои дальнейшие штудии в этой области. Первым результатом моих усилий объяснить порядок свободы стала большое исследование «Основной закон свободы» (Constitution of Liberty, 1960), в котором я попытался существенно переформулировать и более последовательно выразить классические доктрины либерализма XIX столетия. Понимание того, что такая переформулировка оставляет без ответа целый ряд важных вопросов, побудила меня дать на них собственные ответы в трехтомном труде «Право, законодательство и свобода» (Law, Legislation and Liberty), первый том которого увидел свет в 1973 году.

Как мне представляется, за последние двадцать лет мне удалось немало узнать о проблемах, затронутых в этой книге, хотя за это время я ее, кажется, даже не перечитывал. Перечитав ее сейчас, чтобы написать это предисловие, я впервые ощутил, что я не только не стесняюсь ее, но, напротив, горд ею — не в последнюю очередь за открытия, позволившие мне посвятить ее «социалистам всех партий». Действительно, хотя за это время я прочел немало того, о чем не знал, когда писал ее, теперь я часто удивляюсь, как многое из понятого еще тогда, в самом начале пути, подтвердилось дальнейшими исследованиями. И хотя более поздние мои работы окажутся, смею надеяться, более полезными профессионалам, я готов без колебаний рекомендовать эту старую книгу широкому читателю, который хочет иметь простое, не перегруженное техническими деталями введение в проблему, которая, по моему убеждению, до сих пор остается одной из самых насущных и до сих пор ожидает своего решения.

Читатель, вероятно, спросит, означает ли сказанное, что я по-прежнему готов отстаивать все основные выводы этой книги, и ответ на это будет в целом положительный. Наиболее существенная

оговорка, которую следует сделать, такова: за истекшее время изменилась терминология, и поэтому многое из того, что здесь сказано, может быть понято неверно. В то время когда я писал «Дорогу к рабству», социализм однозначно понимался как национализация средств производства и централизованное экономическое планирование, которое благодаря национализации становится возможным и необходимым. В этом смысле нынешняя Швеция, например, организована гораздо менее социалистически, чем Великобритания или Австрия, хотя принято считать, что Швеция — страна гораздо более социалистическая. Это произошло потому, что под социализмом стали понимать прежде всего широкое перераспределение доходов с помощью налогообложения и институтов «государства всеобщего благосостояния». В условиях такой разновидности социализма явления, обсуждаемые в этой книге, протекают медленнее, не столь прямолинейно и не выражаются в полной мере. Я считаю, что в конечном итоге это приведет к тем же самым результатам, хотя сами процессы будут не совсеми такими, как описано в моей книге.

Мне часто приписывают вывод, что любое движение к социализму с необходимостью ведет к тоталитаризму. Хотя такая опасность существует, идея книги не в этом. Ее главная мысль состоит в том, что если мы не пересмотрим принципы нашей политики, мы столкнемся с самыми неприятными последствиями, которые вовсе не были целью для большинства сторонников этой политики.

В чем, как мне сегодня представляется, я был неправ, так это в недооценке опыта коммунизма в России. Наверное, этот недостаток можно было бы простить, учитывая, что в те годы, когда я это писал, Россия была нашим союзником в войне, и я еще не совсем избавился от обычных для того времени интервенционистских предубеждений, а потому позволил себе сделать немало уступок — на мой сегодняшний взгляд, неоправданных. И я, конечно, не вполне осознавал, насколько плохо обстоят дела во многих отношениях. Я, например, считал риторическим вопрос, который задавал на с. 98: если «Гитлер получил неограниченную власть строго конституционным путем <...> решится ли кто-нибудь на этом основании утверждать, что в Германии до сих пор существует правозаконность?» Однако позже обнаружилось, что именно это утверждают профессоры Ганс Кельсен и Гарольд Дж. Ласки, а вслед за этими влиятельными авторами — другие социалистические юристы и политологи. Как бы то ни было, дальнейшее исследование современных интеллектуальных течений и современных институций лишь усилило мои опасе-

ния и тревоги. А влияние социалистических идей вкупе с наивной верой в благие намерения тех, в чьих руках сосредоточивается тоталитарная власть, значительно возросла с тех пор, как я написал «Дорогу к рабству».

Долгое время мне было досадно, что работа, которую я считал памфлетом на злобу дня, пользуется более широкой известностью, чем мои собственно научные труды. Однако, глядя на написанное через призму дальнейших штудий, посвященных проблемам, поднятым более тридцати лет назад, я больше не чувствую досады. Хотя в этой книге я многого не смог убедительно продемонстрировать, она представляла собой искреннюю попытку найти истину, и, как я думаю, мне удалось сделать какие-то открытия, которые пригодятся даже тем, кто со мной не согласен и помогут им избежать серьезных опасностей.

Предисловие к американскому карманному изданию 1956 года

Хотя эта книга могла бы во многих отношениях выглядеть иначе, если бы я изначально держал в уме американскую аудиторию, теперь, когда она заняла в Соединенных Штатах вполне определенное положение (что, впрочем, трудно было предсказать), переписывать что-либо вряд ли имеет смысл.

Эта книга была написана в Англии в годы войны и была рассчитана почти исключительно на английских читателей. В том, что я посвятил ее «социалистам всех партий», не было никакой насмешки. Моя книга появилась в результате многочисленных дискусий предшествующего десятилетия, которые я вел с друзьями и коллегами, чьи политические взгляды клонились влево; продолжением тех споров стала «Дорога к рабству».

К тому времени, когда в Германии к власти пришел Гитлер, я уже несколько лет преподавал в Лондонском университете, но продолжал внимательно следить за континентальными событиями вплоть до начала войны. Рассмотрение различных тоталитарных движений, возникновение и развитие которых привело меня к мысли о том, что английское общественное мнение, и в частности мнение моих друзей совершенно не адекватно природе этих движений. Еще до войны это заставило меня высказать в небольшой статье идеи, которые потом стали центральными для настоящей книги. Но после того, как началась война, я осознал, что широкое непонимание политической системы как наших врагов, так и нашего нового союзника — России, — представляет серьезную опасность, борьба с которой требует более систематических усилий. Кроме того, было уже достаточно очевидно, что сама Англия была готова начать после войны эксперименты с такого рода политикой, которая, по моему убеждению, привела к уничтожению свободы в других странах.

Вот почему эта книга постепенно стала принимать форму предостережения, обращенного к британской социалистической интеллигенции. С неизбежными для военного времени задержками

книга вышла из печати весной 1944 года. Кстати сказать, эта дата также объясняет, почему я, для того чтобы быть услышанным, предпочел воздержаться от комментариев по поводу нашего военного союзника и использовал в качестве примеров события, происходившие в Германии.

По-видимому, книга появилась в благоприятный момент, и мне остается только с удовлетворением отметить успех, который она имела в Англии, — этот успех был иным по качеству, но не меньшим по масштабу, чем в Соединенных Штатах. В общем и целом книга была воспринята адекватно, и высказанные в ней тезисы были всерьез приняты к сведению тему, кому они были адресованы. На меня произвел глубокое впечатление тот факт, что за исключением нескольких ведущих политиков-лейбористов (которые — как бы в доказательство правоты моих замечаний о националистических тенденциях в социализме — выступили против книги на том основании, что она написана иностранцем) люди, чьи убеждения вступали в резкое противоречие с моими выводами, отнеслись к ним вдумчиво и внимательно[1]. То же самое можно сказать и о других европейских странах, где была напечатана «Дорога к рабству»; непредвиденную радость доставил мне необычайно теплый прием, оказанный моей книге в постнацистской Германии, когда туда, наконец, попали экземпляры перевода, опубликованного в Швейцарии.

Совершенно иначе была воспринята книга в Соединенных Штатах, где она была напечатана через несколько месяцев после британской публикации. Когда я писал эту книгу, я мало думал о том, какое впечатление она произведет на американских читателей. В последний раз я был в Америке за двадцать лет до того, еще аспирантом, и с тех пор не очень-то следил за развитием американской мысли. Я не имел понятия, насколько прямое отношение мои тезисы имеют к американской ситуации и совсем не удивился, когда оказалось, что три первых издательства, которым была предло-

1 Вероятно, наиболее показательный пример британской критики «Дороги к рабству» с левых позиций — это корректное и честное исследование г-жи Барбары Вуттон «Свобода при плановом хозяйстве» (*Wootton B.* Freedom under Planning. London: George Allen & Unwin, 1946). В Соединенных Штатах эту работу цитируют как пример успешного опровержения моих идей, но, как мне представляется, у многих читателей осталось впечатление, что (воспользуемся словами одного американского рецензента) «в основном [книга Вуттон] подтверждает тезисы Хайека» (*Barnard C.I.* // Southern Economic Journal. 1946. January).

жена книга, ее отвергли[2]. Никто, разумеется, даже не предполагал, что после того, как книга будет выпущена ее нынешними издателями, она начнет расходиться со скоростью, практически беспрецедентной для для такого рода литературы, не предназначенной для массового потребления[3]. В еще большей степени я был поражен бурной реакцией обоих политических лагерей — чрезмерными похвалами, доносившимися из одного стана, и жгучей ненавистью, веявшей от представителей другого.

В отличие от Англии, в Америке читатели, которым была в первую очередь адресована книга, отвергли ее, усмотрев в ней злобные и коварные нападки на свои высшие идеалы; на рассмотрение аргументации они, судя по всему, даже не стали тратить времени. И язык, которым пользовались самые недоброжелательные критики, и эмоции, которые они выражали, — это было нечто особенное[4]. Нисколько не меньше поразили меня восторги тех, от кого меньше всего ожидаешь услышать, что они прочли такого рода книжку, и многих таких, которые ее навряд ли читали. Хочу добавить, что иногда то, как это все происходило, в очередной раз доказывало справедливость слов лорда Актона о том, что «во все времена истинные друзья свободы были редки, и своими триумфами она была обязана меньшинству, которое одерживало победу, объединяясь с другими, чьи цели часто отличались от их собственных; и это объединение, всегда опасное, подчас приводило к катастрофе».

2 Я не знал тогда, что, как мне объяснил потом советник одной компании, это произошло не из-за сомнений в коммерческом успехе издания, а вследствие политического предубеждения, настолько сильного, что книга казалась «недостойной для публикации в приличном издательстве» (см. по этому поводу высказывание Уильяма Миллера, процитированное в статье: *Couch W. T.* The Sainted Book Burners // The Freeman. 1955. P. 423; см. также книгу: *Miller W.* The Book Industry: A Report of the Public Library Inquiry of the Social Science Research Council. N.Y.: Columbia University Press, 1949. P. 12).

3 Этому немало поспособствовала публикация резюме моей книги в Reader's Digest, и я хотел бы публично выразить свою признательность редакторам этого журнала за мастерство, с которым это резюме было составлено без моего участия. Сокращение текста, содержащего сложную систему аргументации, до размера малой доли исходного текста, неминуемо приводит к некоторому упрощению; но то, что такое сокращение было проведено без ущерба для содержания и что сам я вряд ли сумел справится с этим лучше, — большое достижение.

4 Рекомендую любопытствующим читателям образчик оскорблений и поношений, не имеющий, вероятно, аналогов в практике современной академической дискуссии, — книгу профессора Германа Файнера «Дорога к реакции» (*Finer H.* Road to Reaction. Boston: Little Brown & Co., 1945).

Маловероятно, что столь несхожий прием по разные стороны Атлантики был оказан книге лишь по причине несходства национальных характеров. Со временем я все больше проникаюсь убеждением, что объяснение следует искать в отличие американской интеллектуальной ситуации от европейской. В Англии и в Европе в целом затронутые мной проблемы давно перестали быть пустой абстракцией. К тому времени идеалы, которые я подверг исследованию, уже спустились на грешную землю, и даже самые рьяные их сторонники увидели воочию и конкретные трудности, возникающие на пути осуществления этих идеалов, и непредвиденные последствия. Таким образом, почти все мои европейские читатели были на собственном опыте знакомы с явлениями, о которых я писал, а я лишь систематически изложил то, что они и без того ощущали интуитивно. Разочарование в левых идеалах возникало подспудно, а их критическое рассмотрение лишь проявляло и проясняло уже существовавшее разочарование.

Напротив, в Соединенных Штатах эти идеалы были еще внове и действовали заразительнее. Прошло всего десять или пятнадцать лет (а не сорок — пятьдесят, как в Англии), с тех пор как широкие круги интеллигенции подхватили эту инфекцию. И, несмотря на эксперимент Рузвельта — Новый курс, — их энтузиазм по поводу рационально организованного общества еще не был запятнан практическим опытом. То, что большинство европейцев воспринимали как «старую песню», для американских интеллектуалов являло собой заманчивую мечту о лучшем мире, которую они взростили и взлелеяли за годы Великой депрессии.

Мнение в Соединенных Штатах меняется быстро, и сегодня уже непросто вспомнить, что относительно незадолго до появления «Дороги к рабству» люди, которым вскоре предстояло сыграть значительную роль в публичной жизни, всерьез защищали самую крайнюю форму экономического планирования и брали за образец Россию. Легко было бы дать здесь точные ссылки, но сейчас было несправедливо задевать ту или иную конкретную личность. Достаточно упомянуть, что в 1934 году новообразованный Национальный совет по планированию уделил немало внимания примерам ведения планового хозяйства в четырех странах — Германии, Италии, России и Японии. Конечно, через десять лет мы стали называть те же самые страны «тоталитарными», провели против трех из них тяжелую многолетнюю войну, а с четвертой вскоре начали другую войну — «холодную». Однако мое утверждение, что политическое

развитие этих стран как-то связано с их экономической политикой, вызывало тогда негодующие возражения американских сторонников экономического планирования. Вдруг стало модным отрицать, что идея планирования пришла из России, и отстаивать, подобно одному моему именитому критику, «тот очевидный факт, что Италия, Россия, Япония и Германия пришли к тоталитаризму совершенно разными путями».

В момент выхода «Дороги к рабству» интеллектуальная атмосфера в Соединенных Штатах была такова, что книга была просто обречена либо сильно шокировать, либо приводить в полное восхищение членов двух непримиримых группировок. Как следствие этого, книга, несмотря на свой видимый успех, не произвела того воздействия, на которое я мог рассчитывать и которое она произвела в других странах. Действительно, сегодня ее главные выводы широко признаны. Если двадцать лет назад многим казалось чуть ли не святотатством утверждение, что фашизм и коммунизм суть две разновидности тоталитаризма, создаваемого централизованным контролем всей экономической деятельности, то сегодня это почти общее место. Более того, сегодня широко признается, что демократический социализм — это крайне ненадежное и нестабильное образование, раздираемое внутренними противоречиями и порождающее результаты, не приемлемые для многих его сторонников.

Это отрезвление было в гораздо большей степени вызвано не моей книгой, а уроками реальных событий и более популярными обсуждениями тех же проблем[5]. Кроме того, главный тезис книги не был оригинален уже в тот момент, когда она была опубликована. Хотя подобные предостережения, высказывавшиеся ранее, сейчас в основном забыты, на опасности, порождаемые политикой, ставшей объектом моей критики, указывалось неоднократно. Если моя книга чем-то ценна, так это не очередным повторением того же тезиса, а скрупулезным и детальным анализом причин, по которым экономическое планирование приводит к непредвиденным результатам, и происходящих при этом процессов.

Вот почему мне кажется, что сейчас настало более благоприятное время для того, чтобы Америка более серьезно отнеслась к моей аргументации, чем это было сделано, когда моя книга впервые увидела свет. Я полагаю, что то, что в ней есть важного, еще может

5 Самым действенным был, без сомнения, роман Джорджа Оруэлла «1984». Ранее автор выступил благосклонным рецензентом моей книги.

сослужить хорошую службу, хотя я понимаю, что «горячий» социализм, против которого она направлена (организованное движение к рассчитанному обустройству экономической жизни под эгидой государства — главного собственника средств производства) в западном мире уже почти умер. Век социализма, понимаемого в указанном смысле, видимо, кончился где-то около 1948 года. От многих связанных с ним иллюзий отказались даже его лидеры, и в Соединенных Штатах, как и во всем мире, само это слово во многом потеряло свою привлекательность. Несомненно, будут предприниматься попытки спасти это слово для движений менее догматических, менее доктринерских и систематических. Но аргументы, обращенные исключительно против таких прямолинейных концепций социальных реформ, сегодня могут показаться борьбой с ветряными мельницами.

Однако успокаиваться рано: хотя «горячий» социализм, по всей видимости, ушел в прошлое, некоторые его понятия слишком глубоко проникли в саму структуру современной мысли. Если в западном мире осталось мало людей, готовых переделать общество снизу доверху по какому-то идеальному плану, многие до сих пор верят в меры, которые хотя и не призваны полностью перестроить экономику, но могут в своей совокупности ненароком привести к этому результату. И в еще большей степени, чем в те годы, когда я писал эту книгу, поддержка политики, которая в дальней перспективе оказывается несовместимой с делом сохранения свободного общества, перестала быть всего лишь партийным вопросом. Следует еще хорошенько разобраться с этой мешаниной из взаимопротиворечивых и во многом непоследовательных идеалов, которые под маркой «государства всеобщего благосостояния» в основном заменили социализм в качестве цели, которую ставят перед собой реформаторы, и понять, не будут ли результаты «государства всеобщего благосостояния» очень похожи на те, к которым ведет обычный социализм. Я не хочу сказать, что никакая цель такого государства практически не осуществима или что ни одна из них не заслуживает похвал. Однако существует много разных способов достижения одной и той же цели, и сейчас видится опасность того, что нетерпеливое стремление к быстрым результатам может принудить нас выбрать инструменты, которые, может быть, и более эффективны при решении практических задач, но при этом, как я уже сказал, несовместимы с делом сохранения свободного общества. Возрастающая тенденция к использованию административного

давления и дискриминации в тех случаях, когда незначительное изменение общих норм законности могло бы, хотя и медленнее, дать те же самые результаты, тенденция к использованию прямого государственного контроля и к созданию монополистических институтов в тех случаях, когда рациональное распределение финансовых средств могло бы организовать спонтанные усилия, все это — тяжелое наследство социалистического периода, которое еще долгое время будет продолжать оказывать влияние на политику.

Именно потому, что в ближайшие годы политическая идеология вряд ли будет выдвигать ясно определенные цели, но будет ориентироваться на постепенные перемены, исключительно важное значение приобретает глубокое понимание процессов, благодаря которым определенные меры могут могут разрушить фундамент рыночной экономики и постепенно свести на нет творческий потенциал свободной цивилизации. И только когда мы поймем, по какой причине и каким образом некоторые виды экономического контроля парализуют движущие силы свободного общества, а также какого рода меры особенно опасны в этом отношении, — только тогда сможем надеяться, что социальное экспериментаторство не будет создавать ситуаций, в которых никто из нас не хотел бы оказаться.

Как раз такую задачу и ставит перед собой эта книга. Я надеюсь, что хотя бы в более спокойной атмосфере сегодняшнего дня она будет воспринята не как призыв к сопротивлению всякому улучшению и эксперименту, а как настоятельное предупреждение, что любые изменения в наших установлениях должны пройти определенную проверку (как это описано в центральных главах книги, посвященных правозаконности), прежде чем мы примем курс, сойти с которого окажется очень непросто.

Тот факт, что исходно книга была написана с расчетом только на британскую аудиторию, вряд ли делает ее малопонятной для американского читателя. Но в ее фразеологии есть один момент, который я хотел бы прояснить сразу же, чтобы избегнуть каких-либо недоразумений в дальнейшем. В моей книге термин «либеральный» используется в своем первоначальном смысле, в традиции употребления, сложившейся в Англии в XIX веке и сохранившейся там и поныне. В Америке словом «либерализм» сегодня часто называют нечто диаметрально противоположное. Оно стало частью камуфляжа американских левых движений (чему немало способствует бестолковость многих людей, действительно верящих в свободу) и стало означать

поддержку любой формы государственного контроля. Меня до сих пор поражает, почему те американцы, которые искренне верят в либеральные ценности позволили левым присвоить этот практически незаменимый термин, но даже помогли им сделать это, начав использовать его как бранное слово. Об этом особенно стоит пожалеть, если мы вспомним, что многие настоящие либералы начали из-за этого называть себя консерваторами.

Конечно, в борьбе со сторонниками всесильного государства либералы должны иногда объединяться с консерваторами, а в некоторых ситуациях, как, например, в современной Великобритании, у них просто нет других способов эффективно добиваться осуществления своих идеалов. Тем не менее подлинный либерализм отличается от консерватизма, и смешивать эти два направления не стоит. Хотя консерватизм — это необходимый элемент любого стабильного общества, он не является социальной программой; по своим патерналистским и националистическим тенденциям, по своему преклонению перед сильной властью консерватизм гораздо ближе к социализму, чем к подлинному либерализму. Консерваторы с их традиционализмом, антиинтеллектуализмом, а подчас и мистицизмом никогда, кроме разве редких периодов разочарования, не обращаются к молодежи и ко всем тем, кто считает, что для того, чтобы мир стал лучше, нужны какие-то перемены. Консервативное движение по самой своей природе вынуждено отстаивать утвержденные привилегии и опираться на государственную власть, их защищающую. Однако сущность либеральной позиции заключается в отрицании любой привилегии, если привилегия понимается в своем собственном и в своем первоначальном смысле — как право, которое государство защищает и предоставляет одним, не предоставляя его на тех же условиях другим.

Наверное, следует сказать несколько слов в оправдание того, что по истечении двенадцати лет моя книга выходит без каких-либо изменений. Я несколько раз пытался ее отредактировать, поскольку есть целый ряд тезисов, которые я хотел бы разъяснить подробнее, или сформулировать более осторожно, или усилить при помощи иллюстрирующих примеров и доказательств. Но все попытки редактуры лишь показали, что мне больше не удастся написать столь же короткую книгу, покрывающую столь же масштабное проблемное поле; а мне кажется, что каких бы достоинств не было у этой книги, главное ее достоинство — ее относительная краткость. Поэтому я вынужден был прийти к заключению, что для того, чтобы развить

тот или иной аспект аргументации, я должен предпринимать отдельные исследования. И я начал делать это в разных статьях, где более подробно обсуждаются некоторые философские и экономические проблемы, лишь вскользь затронутые в настоящей книге[6]. Вопросу о происхождении критикуемых здесь идей и их взаимосвязи с некоторыми другими могущественными и влиятельными интеллектуальными движениями эпохи специально посвящена моя книга «Контрреволюция науки»[7]. И я давно уже хочу дополнить слишком короткую центральную главу «Дороги к рабству» специальным исследованием отношения между равенством и правосудием[8].

Есть, однако, еще одна тема, относительно которой читатель вправе был бы потребовать разъяснений, но которую также не смогу развить адекватно, не написав новую книгу. Меньше чем через год после публикации «Дороги к рабству» к власти в Великобритании пришло социалистическое правительство, продержавшееся шесть лет. И я попытаюсь хотя бы кратко ответить на вопрос о том, в какой мере этот опыт подтвердил или опроверг мои опасения. Этот опыт прежде всего усилил мое беспокойство, а кроме того, продемонстрировал тем, кого не убеждают никакие абстрактные аргументы, реальность затруднений, о которых я писал. Действительно, вскоре после того, как лейбористы пришли к к власти, многие вопросы, отметенные моими американскими критиками как не имеющие никакого отношения к реальности, встали на повестку дня в британских политических дискуссиях. Вскоре даже в официальных документах был поставлен вопрос об опасности тоталитаризма, вызванной политикой экономического планирования. Трудно найти более яркую иллюстрацию того, как внутренняя логика такой политики заставила социалистическое правительство невольно принять чуждые ему формы принуждения, чем следующий пассаж из «Экономического обзора за 1947 год» (Economic Survey for 1947), представленного премьер-министром парламенту в феврале указанного года, и то, что за эти последовало:

6 См.: Individualism and Economic Order. Chicago, 1948 [рус. пер.: *Хайек Ф.А.* Индивидуализм и экономический порядок. М., 2000].

7 The Counter Revolution of Science. Glencoe, Ill., 1952 [рус. пер.: *Хайек Ф.А.* Контрреволюция науки: Этюды о злоупотреблениях разумом. М., 2003].

8 Развернутый набросок такого исследования был опубликован при поддержке Национального банка Египта в форме четырех лекций, озаглавленных «Политический идеал правозаконности» (The Political Rule of Law. Cairo, 1955).

> Есть существенная разница между тоталитарным и демократическим планированием. При тоталитарном планировании все индивидуальные стремления и предпочтения подчинены требованиям государства. Для этой цели используются различные методы насилия над отдельной личностью, лишающие ее свободы выбора. В демократической стране такие методы допустимы только в экстремальных условиях большой войны. Так, британский народ уполномочил свое военное правительство управлять трудовыми процессами. Но в обычное время народ демократической страны не откажется от свободы выбора в пользу правительства. Поэтому демократическое правительство должно вести экономическое планирование таким образом, чтобы в максимальной степени сохранить за отдельными гражданами свободу выбора.

Самое интересное в процитированной декларации о похвальных намерениях — то, что всего через полгода то же самое правительство сочло необходимым в мирное время вернуть в свод законов трудовую повинность. Значение этого вряд ли уменьшается от того, что в действительности сила так и не было применена, поскольку, если известно, что власти имеют право использовать административное принуждение, мало кто будет дожидаться осуществления этого права. Но довольно непросто понять, как правительство могло упорствовать в своих заблуждениях, утверждая в том же самом документе, что теперь «государство должно сказать, каково наилучшее использование ресурсов в национальных интересах» и «дать нации экономическое задание: оно должно сказать, что именно обладает наибольшей важностью и какими должны быть цели политики».

Конечно, шестилетнее социалистическое правление в Англии не произвело ничего подобного тоталитарному государству. Но те, кто заявляют, что этим фактом опровергается главный тезис «Дороги к рабству», не поняли одного из основных утверждений: самое важное изменение, которое происходит в ситуации широкого правительственного контроля, — это изменение психологическое; изменяется человеческий характер. Такое всегда происходит медленно; этот процесс занимает не пару-тройку лет, а, может быть, охватывает одно-два поколения. Важно то, что политические идеалы народа и его отношение к власти являются не только следствием, но и причиной формирования политических институтов, при

которых он живет. Помимо прочего, это значит, что даже прочная традиция политических свобод не является панацеей, поскольку опасность как раз в том и заключается, что новые учреждения и новая политика постепенно подрывают и разрушают свободный дух. Разумеется, последствия можно предотвратить, если этот дух сохраняется и народ не только отвергает партию, которая вела его все дальше по опасному пути, но также осознает природу опасности и решительно меняет курс. Пока нет достаточных оснований полагать, что в Англии это уже произошло.

Однако изменения, которые претерпел характер британского народа — не только при правительстве лейбористов, но и на протяжении гораздо более долгого периода, когда он пользовался благодеяниями патерналистского «государства всеобщего благосостояния», — вряд ли можно с чем-то спутать. Эти изменения непросто продемонстрировать, но их легко ощутить, когда живешь в этой стране. В качестве иллюстрации я могу привести несколько примечательных пассажей из социологического обзора проблемы того, как чрезмерное регулирование воздействует на молодежную ментальность. Речь здесь идет о ситуации, которая сложилась до прихода лейбористского правительства, то есть в то время, когда была впервые опубликована «Дорога к рабству»; имеются в виду последствия установлений военного времени, которые лейбористы сделали постоянными:

> Прежде всего именно в городе область факультативного сходит на нет. В школе, на работе, в поездках туда и обратно, даже в самом процессе оборудования и снабжения домашнего хозяйства многие виды деятельности, доступные человеку, либо запрещены, либо, напротив, предписаны. Образованы специальные агентства, или гражданские консультации (Citizen's Advice Bureaus), цель которых — провести озадаченных граждан через лес правил и указать особо настойчивым на те редкие поляны, где частное лицо еще может сделать выбор... [Городской парень] поставлен в такие условия, что он не может пальцем шевельнуть, не вспомнив сначала о предписаниях. Распорядок обычного дня обычного городского юноши показывает, что он тратит огромное количество своего дневного времени, выполняя то, что предписано директивами, в составлении которых он не принимал никакого участия, целей которых он,

> как правило, не понимает и об уместности которых он не способен судить.... Наблюдая за своими родителями, за своими старшими братьями и сестрами, он обнаруживает, что они так же связаны предписаниями, как и он. Он видит, что они настолько привыкли к этому состоянию дел, что очень редко планируют и осуществляют по собственному почину какие-либо новые социальные действия или начинания. Поэтому он не готовится к какому-то будущему, когда ему самому или кому-то другому пригодится способность брать на себя ответственность... [Молодежь] вынуждена сносить так много внешнего и, на ее взгляд, бессмысленного контроля, что начинает искать выход в настолько полном отсутствии дисциплины, насколько они только могут себе это позволить[9].

Нужно ли считать слишком пессимистичным опасение, что поколение, выросшее в таких условиях, вряд ли сбросит привычные оковы? И разве это описание не подтверждает полностью предсказание Токвиля о новом виде рабства, когда,

> после того как все граждане поочередно пройдут через крепкие объятия правителя и он вылепит из них то, что ему необходимо, он простирает свои могучие длани на общество в целом. Он покрывает его сетью мелких, витиеватых, единообразных законов, которые мешают наиболее оригинальным умам и крепким душам вознестись над толпой. Он не сокрушает волю людей, но размягчает ее, сгибает и направляет; он редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе; он ничего не разрушает, но препятствует рождению нового; он не тиранит, но мешает, подавляет, нервирует, гасит, оглупляет и превращает в конце коцов весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство. Я всегда был уверен, что подобная форма рабства, тихая, размеренная и мирная, картину которой я только что изобразил, могла бы сочетаться, хоть это

9 *Barnes L. J.* Youth Service in an English County: A Report Prepared for King George's Jubilee Trust. London, 1945.

и трудно себе представить, с некоторыми внешними атрибутами свободы и что она вполне может установиться даже в тени народной свободы[10].

Токвиль не сказал, однако, о том, как долго власть будет оставаться в руках благонамеренных деспотов, если любая бандитская группировка сможет без труда навсегда остаться у власти, презрев все традиционные приличия политической жизни.

Может быть, мне также имеет смысл напомнить читателям, что я никогда не обвинял социалистические партии в преднамеренном стремлении построить тоталитарный режим и даже не подозревал лидеров старых социалистических движений в таких наклонностях. Мысль, которую я излагал в своей книге и в правоте которой меня еще больше укрепил опыт Британии, заключается в том, что непредвиденные, но неизбежные последствия социалистического планирования создают состояние дел, при котором, если мы будем продолжать эту политику, тоталитарные силы непременно возьмут верх. Я прямо говорю, что «социализм можно осуществить на практике только с помощью методов,отвергаемых большинством социалистов», а затем добавляю, что пользоваться этими методами «старым социалистическим партиям не хватало безжалостности, необходимой для практического решения поставленных ими задач», и что «им мешали их демократические идеалы». Боюсь, после правления лейбористов возникло впечатление, что британские социалисты отказываются от этих демократических идеалов с еще большей легкостью, чем за четверть века до того делали их сотоварищи — немецкие социалисты. Действительно, немецкие социал-демократы в 1920-е годы при аналогичных и даже более тяжелых экономических условиях ни разу не подошли к тоталитарному планированию так же близко, как правительство британских лейбористов.

Поскольку я не могу подробно рассмотреть здесь последствия этой полититики, я процитирую обобщающие суждения других наблюдателей, которых труднее заподозрить в предвзятости их мнений. Самая убийственная критика произвучала, что характер-

10 *Токвиль А. де*. Демократия в Америке. Кн. II. Ч. IV. Гл. VI [М., 2000. С. 497; пер. Б.Н. Ворожцова]. Нужно прочесть всю главу, чтобы понять, насколько прозорливо Токвиль предсказал психологические последствия современного «государства всеобщего благосостояния». Между прочим, частым упоминанием «нового рабства» у Токвиля подсказано заглавие настоящей книги.

но, из уст бывших членов лейбористской партии. Так, г-н Айвор Томас в своей книге, призванной, очевидно, объяснить, почему он покинул ряды партии, приходит к выводу, что «с точки зрения фундаментальных человеческих свобод коммунизм, социализм и национал-социализм мало чем разнятся друг от друга. Все они являются примерами коллективистского или тоталитарного государства... По своей сути настоящий социализм — тоже самое, что коммунизм и мало чем отличается от фашизма»[11].

Причины серьезного роста административного произвола и последующего разрушения правозаконности — заботливо построенного основания британских свобод — обсуждаются в 6-й главе. Этот процесс начался, разумеется, задолго до прихода к власти последнего правительства лейбористов и обострился во время войны. Однако попытки экономического планирования, предпринятые лейбористами, довели процесс до той точки, когда уже нельзя сказать с уверенностью, по-прежнему ли господствует в Британии законность. «Новый деспотизм», о котором лорд главный судья предупреждал Британию четверть века тому назад, из опасности, по мнению журнала The Economist, превратился в установленный факт[12]. Это деспотизм, осуществляемый добросовестной и честной бюрократией во имя того, что ей искренне представляется благом страны. Тем не менее это произвол власти, практически свободной от парламентского контроля, и механизм ее осуществления может быть эффективно использован для любой другой цели, помимо тех благонамеренных целей, для достижения которых он используется сейчас. Я не думаю, что выступавший недавно видный британский юрист сильно преувеличивал, анализируя эти тенденции, когда пришел к заключению, что «сегодня в Британии мы живем на грани диктатуры. Переход к ней будет простым, быстрым и может быть совершен на совершенно законных основаниях. В этом направлении было уже сделано немало шагов, чему способствует полнота власти, которой обладает сегодняшнее правительство, и отсутствие настоящего контроля, такого, как условия письменной конституции

11 *Thomas I.* The Socialist Tragedy. London: Latimer House Ltd., 1949. P. 241–242.

12 См. статью, опубликованную в номере от 19 июня 1954 года, где обсуждается доклад по поводу официального расследования, проведенного по запросу Министерства сельского хозяйства (Report on the Public Inquiry Ordered by the Minister of Agriculture into the Disposal of Land at Crichel Down. Cmd 9176. London: H. M. Staionery Office, 1954) — этот документ заслуживает самого внимательного изучения всеми, кто интересуется психологией бюрократического планирования.

или существование эффективно действующей палаты общин, так что количество шагов, которое осталось предпринять, сравнительно невелико»[13].

Более детальный анализ экономической политики британских лейбористов и ее последствий читатель найдет в книге профессора Джона Джюикса «Испытание планированием»[14]. Это лучшее из известных мне обсуждений конкретных явлений, рассматриваемых в моей книге на теоретическом уровне. «Испытание планированием» является лучшим дополнением к «Дороге к рабству», которое только можно себе представить, и преподносит урок, значение которого выходит далеко за пределы Великобритании.

Сейчас представляется маловероятным, что если в Великобритании к власти придет еще одно лейбористское правительство, то оно возобновит эксперименты с широкомасштабной национализацией и планированием. Но в Британии, так же как в других странах, поражение систематического социализма дало тем, кто озабочен сохранением свободы, лишь временную передышку, в продолжение которой необходимо критически пересмотреть наши амбиции и отказаться от части социалистического наследства, представляющей опасность для свободного общества. Без такого пересмотра концепции нашего социального развития и его целей мы будем по-прежнему плыть по течению в том же направлении, в котором, только чуть быстрее, повел бы нас настоящий социализм.

13 *Keeton G. W.* The Passing of Parliament. London, 1952.

14 *Jewkes J.* Ordeal by Planning. London: Macmillan & Co., 1948.

Предисловие к изданию 1944 года

Когда профессионал, занимающийся общественными науками, пишет политическую книгу, его долг — прямо об этом сказать. Это политическая книга, и я не хочу делать вид, что речь идет о чем-то другом, хотя мог бы обозначить ее жанр каким-нибудь более изысканным термином, скажем, социально-философское эссе. Впрочем, каким бы ни было название книги, все, что я в ней пишу, вытекает из моей приверженности определенным фундаментальным ценностям. И мне кажется, что я исполнил и другой свой не менее важный долг, полностью прояснив в самой книге, каковы же те ценности, на которые опираются все высказанные в ней суждения.

К этому остается добавить, что, хотя это и политическая книга, я абсолютно уверен, что изложенные в ней убеждения не являются выражением моих личных интересов. Я не вижу причин, по которым общество того типа, который я, очевидно, предпочитаю, давало бы мне какие-то привилегии по сравнению с большинством моих сограждан. В самом деле, как утверждают мои коллеги-социалисты, я как экономист занимал бы гораздо более заметное место в обществе, против которого я выступаю (если, конечно, сумел бы принять их взгляды). Я точно так же уверен, что мое несогласие с этими взглядами не является следствием воспитания, поскольку именно их я придерживался в юном возрасте и именно они заставили меня посвятить себя профессиональным занятиям экономикой. Для тех же, кто, как это теперь принято, готов в любом изложении политической позиции усматривать корыстные мотивы, позволю себе добавить, что у меня есть все причины, чтобы не писать и не публиковать эту книгу. Она, без сомнения, заденет многих, с кем я хотел бы сохранить дружеские отношения. Из-за нее мне пришлось отложить другую работу, которую я, по большому счету, считаю более важной и чувствую себя к ней лучше подготовленным. Наконец, она повредит восприятию результатов моей в собственном смысле исследовательской деятельности, к которой я чувствую подлинную склонность.

Если, несмотря на это, я все же счел публикацию этой книги своим долгом, то только в силу странной и чреватой непредсказуемыми последствиями ситуации (вряд ли заметной для широкой публики), сложившейся ныне в дискуссиях о будущей экономической политике. Дело в том, что большинство экономистов были в последнее время втянуты в военные разработки и сделались немы благодаря занимаемому ими официальному положению. В результате общественное мнение по этим вопросам формируют сегодня в основном дилетанты, любители ловить рыбку в мутной воде или сбывать по дешевке универсальное средство от всех болезней. В этих обстоятельствах тот, у кого еще есть время для литературной работы, вряд ли имеет право держать про себя опасения, которые, наблюдая современные тенденции, многие разделяют, но не могут высказать. В иных обстоятельствах я бы с радостью предоставил вести спор о национальной политике людям и более авторитетным, и более сведущим в этом деле.

Основные положения этой книги были впервые кратко изложены в статье «Свобода и экономическая система», опубликованной в апреле 1938 года в журнале Contemporary Review, а в 1939 году перепечатанной в расширенном варианте в одной из общественно-политических брошюр, которые выпускало под редакцией проф. Г. Д. Гидеонса издательство Чикагского университета. Я благодарю издателей обеих этих публикаций за разрешение перепечатать из них некоторые отрывки.

Дорога к рабству

Социалистам всех партий

Свобода, в чем бы она ни заключалась, теряется,
как правило, постепенно.
Давид Юм

Думаю, я любил бы свободу во все времена,
но в нынешнее время я готов преклоняться перед ней.
Алексис де Токвиль

Введение

Больше всего раздражают те исследования,
которые вскрывают родословную идей.
Лорд Актон

События современности тем отличаются от событий исторических, что мы не знаем, к чему они ведут. Оглядываясь назад, мы можем понять события прошлого, прослеживая и оценивая их последствия. Но текущая история для нас не история. Она устремлена в неизвестность, и мы почти никогда не можем сказать, что нас ждет впереди. Все было бы иначе, будь у нас возможность прожить во второй раз одни и те же события, зная заранее, каков будет их результат. Мы бы смотрели тогда на вещи совсем другими глазами, и в том, что ныне едва замечаем, усматривали бы предвестие будущих перемен. Быть может, это и к лучшему, что такой опыт для человека закрыт, что он не ведает законов, которым подчиняется история.

И все же, хотя история и не повторяется буквально и, с другой стороны, никакое развитие событий не является неизбежным, мы можем извлекать уроки из прошлого, чтобы предотвращать повторение каких-то процессов. Не обязательно быть пророком, чтобы сознавать надвигающуюся опасность. Иногда сочетание опыта и заинтересованности вдруг позволяет одному человеку увидеть вещи под таким углом, под которым другие этого еще не видят.

Последующие страницы являются результатом моего личного опыта. Дело в том, что мне дважды удалось как бы прожить один и тот же период, по крайней мере дважды наблюдать очень схожую эволюцию идей. Такой опыт вряд ли доступен человеку, живущему все время в одной стране, но если жить подолгу в разных странах, то при определенных обстоятельствах он оказывается достижимым. Дело в том, что мышление большинства цивилизованных наций подвержено в основном одним и тем же влияниям, но проявляются они в разное время и с различной скоростью. Поэтому, переезжая из одной страны в другую, можно иногда дважды стать свидетелем одной и той же стадии интеллектуального развития.

Чувства при этом странным образом обостряются. Когда слышишь во второй раз мнения или призывы, которые уже слышал двадцать или двадцать пять лет назад, они приобретают второе значение, воспринимаются как симптомы определенной тенденции, как знаки, указывающие если не на неизбежность, то во всяком случае на возможность такого же, как и в первый раз, развития событий.

Пожалуй, настало время сказать истину, какой бы она ни показалась горькой: страна, судьбу которой мы рискуем повторить, — это Германия. Правда, опасность еще не стоит у порога, и ситуация в Англии и США еще достаточно далека от того, что мы наблюдали в последние годы в Германии. Но хотя нам предстоит еще долгий путь, надо отдавать себе отчет, что с каждым шагом будет все труднее возвращаться назад. И если по большому счету мы являемся хозяевами своей судьбы, то в конкретной ситуации выступаем как заложники идей, нами самими созданных. Только вовремя распознав опасность, мы можем надеяться справиться с ней.

Современные Англия и США не похожи на гитлеровскую Германию, какой мы узнали ее в ходе этой войны. Но всякий, кто станет изучать историю общественной мысли, вряд ли пройдет мимо отнюдь не поверхностного сходства между развитием идей, происходившим в Германии во время и после Первой мировой войны, и нынешними веяниями, распространившимися в демократических странах. Здесь созревает сегодня такая же решимость сохранить организационные структуры, созданные в стране для целей обороны, чтобы использовать их впоследствии для мирного созидания. Здесь развиваются такое же презрение к либерализму XIX века, такой же лицемерный «реализм», такая же фаталистическая готовность принимать «неотвратимые тенденции». И по крайней мере девять из каждых десяти уроков, которые наши горластые реформаторы призывают нас извлечь из этой войны, — это в точности те уроки, которые извлекли из прошлой войны немцы и благодаря которым была создана нацистская система. У нас еще не раз возникнет в этой книге возможность убедиться, что и во многих других отношениях мы идем по стопам Германии, отставая от нее на пятнадцать — двадцать пять лет. Об этом не любят вспоминать, но не так уж много минуло с тех пор, когда прогрессисты рассматривали социалистическую политику Германии как пример для подражания, так же как в недавнем времени все взоры сторонников прогресса были устремлены на Швецию. А если углубляться в прошлое дальше, нельзя не вспомнить, насколько глубоко повлияли немецкая по-

литика и идеология на идеалы целого поколения англичан и отчасти американцев накануне Первой мировой войны.

Более половины своей сознательной жизни автор провел у себя на родине, в Австрии, в тесном соприкосновении с немецкой интеллектуальной средой, а вторую половину — в США и Англии. В этот второй период в нем постоянно росло убеждение, что силы, уничтожившие свободу в Германии, действуют и здесь, хотя бы отчасти, причем характер и источники опасности осознаются здесь хуже, чем в свое время в Германии. Здесь до сих пор не увидели в полной мере трагедии, происшедшей в Германии, где люди доброй воли, считавшиеся образцом и вызывавшие восхищение в демократических странах, открыли дорогу силам, которые теперь воплощают все самое для нас ненавистное. Наши шансы избежать такой судьбы зависят от нашей трезвости, от нашей готовности подвергнуть сомнению взращиваемые сегодня надежды и устремления и отвергнуть их, если они заключают в себе опасность. Пока же все говорит о том, что у нас недостает интеллектуального мужества, необходимого для признания своих заблуждений. Мы до сих пор не хотим видеть, что расцвет фашизма и нацизма был не реакцией на социалистические тенденции предшествовавшего периода, а неизбежным продолжением и развитием этих тенденций. Многие не желают признавать этого факта даже после того, как сходство худших проявлений режимов в коммунистической России и фашистской Германии выявилось со всей отчетливостью. В результате многие, отвергая нацизм как идеологию и искренне не приемля любые его проявления, руководствуются при этом в своей деятельности идеалами, воплощение которых открывает прямую дорогу к ненавистной им тирании.

Любые параллели между путями развития различных стран, конечно, обманчивы. Но мои доводы строятся не только на таких параллелях. Не настаиваю я и на неизбежности того или иного пути. (Если бы дело обстояло так фатально, не было бы смысла все это писать.) Я утверждаю, что можно обуздать определенные тенденции, если вовремя дать людям понять, на что реально направлены их усилия. До недавнего времени надежда быть услышанным была, однако, невелика. Теперь же, на мой взгляд, момент для серьезного обсуждения всей этой проблемы в целом созрел. И дело не только в том, что серьезность ее сегодня признают все больше людей; появились еще и дополнительные причины, заставляющие взглянуть правде в глаза.

Кто-то, быть может, скажет, что сейчас не время поднимать вопрос, вызывающий такое острое столкновение мнений. Но соци-

ализм, о котором мы здесь говорим, — это не партийная проблема, и то, что мы обсуждаем, не имеет ничего общего с дискуссиями, которые идут между политическими партиями. То, что одни группы хотят иметь больше социализма, а другие меньше, что одни призывают к нему исходя из интересов одной части общества, а другие — другой, — все это не касается сути дела. Случилось так, что люди, имеющие возможность влиять на ход развития страны, все в той или иной мере социалисты. Потому и стало немодным подчеркивать ныне приверженность социалистическим убеждениям, что факт этот стал всеобщим и очевидным. Едва ли кто-нибудь сомневается в том, что мы должны двигаться к социализму, и все споры касаются лишь деталей такого движения, необходимости учитывать интересы тех или иных групп.

Мы движемся в этом направлении, потому что такова воля большинства, таковы преобладающие настроения. Но объективных факторов, делающих движение к социализму неизбежным, не было и нет. (Мы еще коснемся ниже мифа о «неизбежности» планирования.) Главный вопрос — куда приведет нас это движение. И если люди, чья убежденность является опорой этого движения, начнут разделять сомнения, которые сегодня высказывает меньшинство, разве не отшатнутся они в ужасе от мечты, волновавшей умы в течение полувека, не откажутся от нее? Куда заведут нас мечты всего нашего поколения — вот вопрос, который должна решать не одна какая бы то ни была партия, а каждый из нас. Можно ли представить себе большую трагедию, если мы, пытаясь сознательно решить вопрос о будущем и ориентируясь на высокие идеалы, невольно создадим в реальности полную противоположность того, к чему стремимся?

Есть и еще одна насущная причина, заставляющая нас сегодня серьезно задуматься, какие силы породили национал-социализм. Мы таким образом сможем лучше понять, против какого врага мы воюем. Вряд ли надо доказывать, что мы пока еще плохо знаем, каковы те позитивные идеалы, которые мы отстаиваем в этой войне. Мы знаем, что мы защищаем свободу строить нашу жизнь, руководствуясь собственными идеями. Это много, но не все. Этого недостаточно, чтобы сохранять твердость убеждений при столкновении с врагом, использующим в качестве одного из основных видов оружия пропаганду, причем не только грубую, но порой и весьма утонченную. И этого будет тем более недостаточно, когда после победы мы столкнемся с необходимостью противостоять последствиям этой пропаганды, которые, несомненно, будут еще долго давать о се-

бе знать как в самих странах оси, так и в других государствах, которые испытывают ее влияние. Мы не сможем таким образом ни убедить других воевать на нашей стороне из солидарности с нашими идеалами, ни строить после победы новый мир, заведомо безопасный и свободный.

Это прискорбно, но это факт: весь опыт взаимодействия демократических стран с диктаторскими режимами в довоенный период, так же как впоследствии их попытки вести собственную пропаганду и формулировать задачи войны, обнаружили внутреннюю невнятность, неопределенность собственных целей, которую можно объяснить только непроясненностью идеалов и непониманием природы глубинных различий, существующих между ними и их врагом. Мы сами себя ввели в заблуждение, ибо, с одной стороны, верили в искренность деклараций противника, а с другой — отказывались верить, что враг искренно исповедует некоторые убеждения, которые исповедуем и мы. Разве не обманывались и левые, и правые партии, считая, что национал-социалисты выступают в защиту капитализма и противостоят социализму во всех его формах? Разве не предлагали нам в качестве образца то одни, то другие элементы гитлеровской системы так, будто они не являются интегральной частью единого целого и могут безболезненно и безопасно сочетаться с формами жизни свободного общества, на страже которого мы хотели бы стоять? Мы совершили множество очень опасных ошибок как до, так и после начала войны только потому, что не понимали как следует своего противника. Складывается впечатление, что мы попросту не хотим понимать, каким путем возник тоталитаризм, потому что это понимание грозит разрушить некоторые дорогие нашему сердцу иллюзии.

Мы до тех пор не сможем успешно взаимодействовать с немцами, покуда не дадим себе отчета, какими они движимы ныне идеями и каково происхождение этих идей. Рассуждения о внутренней порочности немцев как нации, которые можно услышать в последнее время довольно часто, не выдерживают никакой критики и звучат не слишком убедительно даже для тех, кто их выдвигает. Не говоря уже о том, что они дискредитируют целую плеяду английских мыслителей, постоянно обращавшихся на протяжении последнего столетия к немецкой мысли и черпавших из нее все лучшее (впрочем, не только лучшее). Вспомним, к примеру, что когда Джон Стюарт Милль писал восемьдесят лет назад свое блестящее эссе «О свободе», он вдохновлялся прежде всего идеями двух немцев — Гёте

и Вильгельма фон Гумбольдта[1]. С другой стороны, двумя наиболее влиятельными предтечами идей национал-социализма были шотландец и англичанин — Томас Карлейль и Хьюстон Стюарт Чемберлен. Одним словом, такие рассуждения не делают чести их авторам, ибо, как легко заметить, они являют собой весьма грубую модификацию немецких расовых теорий.

Проблема вовсе не в том, почему немцы порочны (наверное, сами по себе они не лучше и не хуже других наций), а в том, каковы условия, благодаря которым в течение последних семидесяти лет в немецком обществе набрали силу и стали доминирующими определенные идеи, и почему в результате этого к власти в Германии пришли определенные люди. И если мы будем испытывать ненависть просто ко всему немецкому, а не к этим идеям, овладевшим сегодня умами немцев, мы вряд ли поймем, с какой стороны нам грозит реальная опасность. Такая установка — это чаще всего просто попытка убежать от реальности, закрыть глаза на процессы, происходящие отнюдь не только в Германии, попытка, которая объясняется неготовностью пересмотреть идеи, заимствованные у немцев и вводящие нас не меньше, чем самих немцев, в заблуждение. Сводить нацизм к испорченности немецкой нации опасно вдвойне, ибо под этим предлогом легко навязывать нам те самые институты, которые и являются реальной причиной этой испорченности.

Интерпретация событий в Германии и Италии, предлагаемая в этой книге, существенно отличается от взглядов на эти события, высказываемых большинством зарубежных наблюдателей и политических эмигрантов из этих стран. И если моя точка зрения является правильной, то она одновременно позволит объяснить, почему эмигранты и корреспонденты английских и американских газет, в большинстве своем исповедующие социалистические воззрения, не могут увидеть эти события в их подданном виде. Поверхностная и в конечном счете неверная теория, сводящая национал-социализм просто к реакции, сознательно спровоцированной группами, привилегиям и интересам которых угрожало наступление социализма, находит поддержку у всех, кто в свое время активно участвовал в идеологическом движении, закончившемся победой

1 Тем, кто в этом сомневается, могу порекомендовать обратиться к свидетельству лорда Морли, который в своих «Воспоминаниях» называет «общепризнанным» тот факт, что «основные идеи эссе „О свободе“ не являются оригинальными, но пришли к нам из Германии».

национал-социализма, но в определенный момент вступил в конфликт с нацистами и вынужден был покинуть свою страну. Но то, что эти люди составляли единственную сколько-нибудь заметную оппозицию нацизму, означает лишь, что в широком смысле практически все немцы стали социалистами и что либерализм в первоначальном его понимании полностью уступил место социализму. Я попробую показать, что конфликт между «левыми» силами и «правыми» национал-социалистами в Германии — это неизбежный конфликт, всегда возникающий между соперничающими социалистическими фракциями. И если моя точка зрения верна, то из этого следует, что эмигранты-социалисты, продолжающие придерживаться своих убеждений, в действительности способствуют, пусть с лучшими намерениями, вступлению страны, предоставившей им убежище, на путь, пройденный Германией.

Я знаю, что многих моих английских друзей шокируют полуфашистские взгляды, высказываемые нередко немецкими беженцами, которые по своим убеждениям являются несомненными социалистами. Англичане склонны объяснять это немецким происхождением эмигрантов, на самом же деле причина в их социалистических воззрениях. Просто у них была возможность продвинуться в развитии своих взглядов на несколько шагов дальше по сравнению с английскими или американскими социалистами. Разумеется, немецкие социалисты получили у себя на родине значительную поддержку благодаря особенностям прусской традиции. Внутреннее родство пруссачества и социализма, бывших в Германии предметом национальной гордости, только подчеркивает мою основную мысль[2]. Но было бы ошибкой считать, что национальный дух, а не социализм привел к развитию тоталитарного режима в Германии. Ибо вовсе не пруссачество, но доминирование социалистических убеждений роднит Германию с Италией и Россией. И национал-социализм родился не из привилегированных классов, где царили прусские традиции, а из толщи народных масс.

---

2 Определенное родство между социализмом и организацией прусского государства несомненно. Оно признавалось уже первыми французскими социалистами. Еще задолго до того, как идеал управления целой страной по принципу управления фабрикой стал вдохновлять социалистов XIX столетия, прусский поэт Новалис жаловался, что «ни одна страна никогда не управлялась настолько по образцу фабрики, как Пруссия после смерти Фридриха Вильгельма» (см.: *Novalis* [*Hardenberg F. von*]. Glauben und Liebe, oder der Konig und die Konigin [1798]).

I. Отвергнутый путь

Главный тезис данной программы вовсе не в том,
что система свободного предпринимательства,
ставящего целью получение прибыли,
потерпела фиаско в этом поколении, но в том,
что ее осуществление еще не началось.
Франклин Рузвельт

Когда цивилизация делает в своем развитии неожиданный поворот, когда вместо ожидаемого прогресса мы вдруг обнаруживаем, что нам со всех сторон грозят опасности, как будто возвращающие нас к эпохе варварства, мы готовы винить в этом кого угодно, кроме самих себя. Разве мы не трудились в поте лица, руководствуясь самыми светлыми идеалами? Разве не бились самые блестящие умы над тем, как сделать этот мир лучше? Разве не с ростом свободы, справедливости и благополучия были связаны все наши надежды и упования? И если результат настолько расходится с целями, если вместо свободы и процветания на нас надвинулись рабство и нищета, разве не является это свидетельством того, что дело вмешались темные силы, исказившие наши намерения, что мы стали жертвами какой-то злой воли, которую, прежде чем мы выйдем вновь на дорогу к счастливой жизни, нам предстоит победить? И как бы по-разному ни звучали наши ответы на вопрос «кто виноват?» — будь то злонамеренный капиталист, порочная природа какой-то нации, глупость старшего поколения или социальная система, с которой мы тщетно боремся вот уже в течение полувека, — все мы абсолютно уверены (по крайней мере, были до недавнего времени уверены) в одном: основные идеи, которые были общепризнанными в предыдущем поколении и которыми до сих пор руководствовались люди доброй воли, осуществляя преобразования в нашей общественной жизни, не могут оказаться ложными. Мы готовы принять любое объяснение кризиса, переживаемого нашей цивилизацией, но не можем допустить мысли, что этот кризис является следствием принципиальной ошибки,

допущенной нами самими, что стремление к некоторым дорогим для нас идеалам приводит совсем не к тем результатам, на которые мы рассчитывали.

Сегодня, когда вся наша энергия направлена к достижению победы, мы с трудом вспоминаем, что и до начала войны ценности, за которые мы теперь сражаемся, находились под угрозой в Англии и разрушались в других странах. Будучи участниками и свидетелями смертельного противоборства различных наций, отстаивающих в этой борьбе разные идеалы, мы должны помнить, что данный конфликт был первоначально борьбой идей, происходившей в рамках единой европейской цивилизации, и те тенденции, кульминацией которых стали нынешние тоталитарные режимы, не были напрямую связаны со странами, ставшими затем жертвами идеологии тоталитаризма. И хотя сейчас главная задача — выиграть войну, надо понять, что победа даст нам лишь дополнительный шанс разобраться в кардинальных для нашего развития вопросах и найти способ избежать судьбы, постигшей родственные цивилизации.

В наши дни оказывается довольно трудно думать о Германии и Италии или же о России не как о других мирах, а как о ветвях общего древа идей, в развитие которого мы тоже внесли свою лепту. Во всяком случае, поскольку речь идет о противниках, проще и удобнее считать их иными, отличными от нас и пребывать в уверенности, что то, что случилось там, не могло произойти здесь. Однако история этих стран до установления в них тоталитарных режимов в основном содержит хорошо знакомые нам реалии. Внешний конфликт явился результатом трансформации общеевропейской мысли — процесса, в котором другие страны продвинулись существенно дальше, чем мы, и потому вступили в противоречие с нашими идеалами. Но вместе с тем эта трансформация не могла не затронуть и нас.

Пожалуй, англичанам особенно трудно понять, что идеи и человеческая воля сделали этот мир таким, каков он есть (хотя люди и не рассчитывали на такие результаты, но, даже сталкиваясь с реальностью фактов, не склонны были пересматривать свои представления), именно потому, что в этом процессе трансформации английская мысль, по счастью, отстала от мысли других народов Европы. Мы до сих пор думаем об идеалах как только об идеалах, которые нам еще предстоит реализовать, и не отдаем себе отчета в том, насколько существенно за последние двадцать пять

лет они уже изменили и весь мир, и нашу собственную страну. Мы уверены, что до последнего времени жили по принципам, туманно называемым идеологией XIX столетия, или *laissez-faire*. И если сравнивать Англию с другими странами или исходить из позиции сторонников ускорения преобразований, такая уверенность отчасти имеет под собой основания. Но хотя вплоть до 1931 года Англия, как и США, очень медленно продвигалась по пути, уже пройденному другими странами, даже в то время мы зашли уже так далеко, что только те, кто помнит времена до Первой мировой войны, знают, как выглядел мир в эпоху либерализма[1].

Однако главное — и в этом мало кто отдает себе сегодня отчет — это не масштабы перемен, происходивших при жизни предыдущего поколения, но тот факт, что перемены эти знаменуют кардинальную смену направления эволюции наших идей и нашего общественного устройства. На протяжении двадцати пяти лет, пока призрак тоталитаризма не превратился в реальную угрозу, мы неуклонно удалялись от фундаментальных идей, на которых было построено здание европейской цивилизации. Путь развития, на который мы ступили с самыми радужными надеждами, привел нас прямо к ужасам тоталитаризма. И это было жестоким ударом для целого поколения, представители которого до сих пор отказываются усматривать связь между двумя этими фактами. Но такой результат только подтверждает правоту основоположников философии либерализма, последователями которых мы все еще склонны себя считать. Мы последовательно отказались от экономической свободы, без которой свобода личная и политическая в прошлом никогда не существовала. И хотя величайшие политические мыслители XIX века — де Токвиль и лорд Актон — совершенно недвусмысленно утверждали, что социализм означает рабство, мы медленно, но верно продвигались в направлении к социализму. Теперь же, когда буквально у нас на глазах появились новые формы рабства, оказа-

1 В самом деле, уже в 1931 году в «Отчете Макмиллана» можно было прочитать о «наблюдающейся в последние годы перемене в самом подходе правительства к своим функциям и усилении тенденции кабинета министров независимо от партийной принадлежности все более активно управлять жизнью граждан». И далее: «Парламент проводит все больше законодательных актов, непосредственно регулирующих повседневные занятия населения, и вмешивается в дела, прежде считавшиеся не входящими в его компетенцию». И это написано еще до того, как в конце того же года Англия наконец решилась на кардинальный поворот и в период 1931–1939 годов до неузнаваемости преобразовала свою экономику.

лось, что мы так прочно забыли эти предостережения, что не можем увидеть связи между этими двумя вещами[2].

Современные социалистические тенденции означают решительный разрыв не только с идеями, родившимися в недавнем прошлом, но и со всем процессом развития западной цивилизации. Это становится совершенно ясно, если рассматривать нынешнюю ситуацию в более масштабной исторической перспективе. Мы демонстрируем удивительную готовность расстаться не только со взглядами Кобдена и Брайта, Адама Смита и Юма или даже Локка и Мильтона, но и с фундаментальными ценностями нашей цивилизации, восходящими к античности и христианству. Вместе с либерализмом XVIII–XIX веков мы отметаем принципы индивидуализма, унаследованные от Эразма и Монтеня, Цицерона и Тацита, Перикла и Фукидида.

Нацистский лидер, назвавший национал-социалистическую революцию «контрренессансом», быть может, и сам не подозревал, в какой степени он прав. Это был решительный шаг на пути разрушения цивилизации, создававшейся начиная с эпохи Возрождения и основанной прежде всего на принципах индивидуализма. Слово «индивидуализм» приобрело сегодня негативный оттенок и ассоциируется с эгоизмом и самовлюбленностью. Но противопоставляя индивидуализм социализму и иным формам коллективизма, мы говорим совсем о другом качестве, смысл которого будет проясняться на протяжении всей этой книги. Пока же достаточно будет сказать, что индивидуализм, уходящий корнями в христианство и античную философию, впервые получил полное выражение в период Ренессанса и положил начало той целостности, которую мы называем теперь западной цивилизацией. Его основной чертой является уважение к личности как таковой, т.е. признание абсолютного суверенитета взглядов и наклонностей человека в сфере его жизнедеятельности, какой бы специфической она ни была, и убеждение в том, что каждый человек должен развивать присущие ему даро-

2 Почти полностью забыты сегодня и гораздо более поздние предостережения, сбывшиеся с ужасающей точностью. Не прошло и тридцати лет с тех пор, как Хилэр Беллок писал в книге, объясняющей события, происшедшие с тех пор в Германии, лучше, чем любое исследование, написанное постфактум: «Воздействие социалистического учения на капиталистическое общество приведет к появлению новообразования, не сводимого к породившим его источникам, — назовем его государством всеобщего порабощения» (*Belloc H.* The Servile State. [London; Edinburgh,] 1913. P. XIV).

вания. Я не хочу употреблять слово «свобода» для обозначения ценностей, господствующих в эту эпоху: значение его сегодня слишком размыто от частого и не всегда уместного употребления. «Терпимость» — вот, может быть, самое точное слово. Оно вполне передает смысл идеалов и ценностей, находившихся в течение этих столетий в зените и лишь недавно начавших клониться к закату, чтобы совсем исчезнуть с появлением тоталитарного государства.

Постепенная трансформация жестко организованной иерархической системы — преобразование ее в систему, позволяющую людям по крайней мере пытаться самим выстраивать свою жизнь и дающую им возможность выбирать из многообразия различных форм жизнедеятельности те, которые соответствуют их склонностям, — такая трансформация тесно связана с развитием коммерции. Новое мировоззрение, зародившееся в торговых городах северной Италии, распространялось затем по торговым путям на запад и на север, через Францию и юго-западную Германию в Нидерланды и на Британские острова, прочно укореняясь всюду, где не было политической деспотии, способной его задушить. В Нидерландах и Британии оно расцвело пышным цветом и впервые смогло развиваться свободно в течение долгого времени, становясь постепенно краеугольным камнем общественной и политической жизни этих стран. Именно отсюда в конце XVII — XVIII веке оно начало распространяться вновь, уже в более развитых формах, на запад и на восток, в Новый Свет и в Центральную Европу, где опустошительные войны и политический гнет не дали в свое время развиться росткам этой новой идеологии[3].

На протяжении всего этого периода новой истории Европы генеральным направлением развития было освобождение индивида от разного рода норм и установлений, сковывающих его повседневную жизнедеятельность. И только когда этот процесс набрал достаточную силу, стало расти понимание, что спонтанные и неконтролируемые усилия индивидов могут составить фундамент сложной системы экономической деятельности. Обоснование принципов экономической свободы следовало, таким образом, за развитием экономической деятельности, ставшей незапланированным и неожиданным побочным продуктом свободы политической.

3 Так, поистине фатальные и до сих пор дающие о себе знать последствия имели для Европы подчинение и частичное уничтожение немецкой буржуазии владетельными князьями в XV–XVI веках.

Быть может, самым значительным результатом высвобождения индивидуальных энергий стал поразительный расцвет науки, сопровождавший шествие идеологии свободы из Италии в Англию и дальше. Конечно, и в другие периоды истории человеческая изобретательность была не меньшей. Об этом свидетельствуют искусные автоматические игрушки и другие механические устройства, созданные в то время, когда промышленность еще практически не развивалась (за исключением таких отраслей, как горное дело или производство часов, которые почти не подвергались контролю и ограничениям). Но в основном попытки внедрить в промышленность механические изобретения, в том числе и весьма перспективные, решительно пресекались, как пресекалось и стремление к знанию, ибо всюду должно было царить единомыслие. Взгляды большинства на то, что должно и что не должно, что правильно и что неправильно, прочно закрывали путь индивидуальной инициативе. И только когда свобода предпринимательства открыла дорогу использованию нового знания, все стало возможным — лишь бы нашелся кто-нибудь, кто готов действовать на свой страх и риск, вкладывая свои деньги в те или иные затеи. Лишь с этих пор начинается бурное развитие науки (поощряемое, заметим, вовсе не теми, кто был официально уполномочен заботиться о науке), изменившее за последние сто пятьдесят лет облик нашего мира.

Как это часто случается, характерные черты нашей цивилизации более зорко отмечали ее противники, а не друзья. «Извечная болезнь Запада: бунт индивида против вида» — так определил силу, действительно создавшую нашу цивилизацию, известный тоталитарист XIX века Огюст Конт. Вкладом XIX столетия в развитие индивидуализма стало осознание принципа свободы всеми общественными классами и систематическое распространение новой идеологии, развивавшейся до этого лишь там, где складывались благоприятные обстоятельства. В результате она вышла за пределы Англии и Нидерландов, захватив весь европейский континент.

Процесс этот оказался поразительно плодотворным. Всюду, где рушились барьеры, стоявшие на пути человеческой изобретательности, люди получали возможность удовлетворять свои потребности, диапазон которых все время расширялся. И поскольку по мере роста жизненных стандартов в обществе обнаруживались темные стороны, с которыми люди уже не хотели мириться, процесс этот приносил выгоду всем классам. Было бы неверно подходить к событиям этого бурного времени с сегодняшними мерками, оценивать его

достижения сквозь призму наших стандартов, которые сами являются отдаленным результатом этого процесса и, несомненно, позволят обнаружить там много дефектов. Чтобы на самом деле понять, что означало это развитие для тех, кто стал его свидетелем и участником в тот период, надо соотносить его результаты с чаяниями и надеждами предшествовавших ему поколений. И с этой точки зрения успех превзошел все самые дерзкие мечты: к началу XX века рабочий человек достиг на Западе такого уровня материального благополучия, личной независимости и уверенности в завтрашнем дне, который за сто лет перед этим казался просто недостижимым.

Если рассматривать этот период в масштабной исторической перспективе, то, может быть, наиболее значительным последствием всех этих достижений следует считать совершенно новое ощущение власти человека над своей судьбой и убеждение в неограниченности возможностей совершенствования условий жизни. Успехи рождали новые устремления, а по мере того, как многообещающие перспективы становились повседневной реальностью, человек хотел двигаться вперед все быстрее. И тогда принципы, составлявшие фундамент этого прогресса, вдруг стали казаться скорее тормозом, препятствием, требующим немедленного устранения, чем залогом сохранения и развития того, что уже было достигнуто.

Сама природа принципов либерализма не позволяет превратить его в догматическую систему. Здесь нет однозначных, раз и навсегда установленных норм и правил. Основополагающий принцип заключается в том, что, организуя ту или иную область жизнедеятельности, мы должны максимально опираться на спонтанные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению. Принцип этот применим в бессчетном множестве ситуаций. Одно дело, например, целенаправленно создавать системы, предусматривающие механизм конкуренции, и совсем другое — принимать социальные институты такими, какие они есть. Наверное, ничто так не повредило либерализму, как настойчивость некоторых его приверженцев, твердолобо защищавших какие-нибудь эмпирические правила, прежде всего *laissez-faire*. Впрочем, это было в определенном смысле неизбежно. В условиях, когда при столкновении множества заинтересованных, конкурирующих сторон каждый предприниматель готов был продемонстрировать эффективность тех или иных мер, в то время как негативные стороны этих мер были не всегда очевидны и зачастую проявлялись лишь косвенно, — в таких усло-

виях требовались именно четкие правила. А поскольку принцип свободы предпринимательства в то время уже не подвергался сомнению, искушение представить его в виде железного правила, не знающего исключений, было просто непреодолимым.

В такой манере излагали либеральную доктрину большинство ее популяризаторов. Уязвимость этого подхода очевидна: стоит опровергнуть какой-нибудь частный тезис, и все здание тотчас обрушится. В то же время позиции либерализма оказались ослаблены из-за того, что процесс совершенствования институциональной структуры свободного общества шел очень медленно. Процесс этот непосредственно зависит от того, насколько хорошо мы понимаем природу и соотношение различных социальных сил и представляем себе условия, необходимые для наиболее полной реализации потенциала каждой из них. Этим силам нужны были содействие, поддержка, но прежде всего надо было понять, каковы они. Либерал относится к обществу, как садовник, которому надо знать как можно больше о жизни растения, за которым он ухаживает.

Любой здравомыслящий человек должен согласиться, что строгие формулы, которые использовались в XIX веке для изложения принципов экономической политики, были только первой попыткой, поиском жанра, что нам предстояло еще многое узнать и многому научиться и что путь, на который мы ступили, таил множество неизведанных возможностей. Но дальнейшее продвижение зависело от того, насколько хорошо мы представляли себе природу сил, с которыми имеем дело. Некоторые задачи были предельно ясны, например регулирование денежной системы или контроль монополий. Другие, может быть, менее очевидны, но не менее важны. Часть из них относилась к областям, где правительство имело огромное влияние, которое могло быть использовано во благо или во зло. И у нас были все основания ожидать, что, научившись разбираться в этих проблемах, мы сможем когда-нибудь использовать это влияние во благо.

Но поскольку движение к тому, что принято называть «позитивными» мерами, было по необходимости медленным, а при осуществлении таких мер либералы могли рассчитывать только на постепенное увеличение благосостояния, которое обеспечивает свобода, им приходилось все время бороться с проектами, угрожавшими самому этому движению. Мало-помалу либерализм приобрел славу «негативного» учения, ибо все, что он мог предложить конкретным людям, — это доля в общем прогрессе. При этом сам прогресс воспринимался уже не как результат политики свободы,

а как нечто само собой разумеющееся. Можно сказать поэтому, что именно успех либерализма стал причиной его заката. Человек, живущий в атмосфере прогресса и достижений, уже не мог мириться с несовершенством, которое стало казаться невыносимым.

Медлительность либеральной политики вызывала растущее недовольство. К этому добавлялось справедливое возмущение теми, кто, прикрываясь либеральными фразами, отстаивал антиобщественные привилегии. Все это, плюс стремительно растущие запросы общества, привело к тому, что к концу XIX века доверие к основным принципам либерализма стало стремительно падать. То, что было к этому времени достигнуто, воспринималось как надежная собственность, приобретенная раз и навсегда. Люди с жадностью устремляли взор к новым соблазнам, требовали немедленного удовлетворения растущих потребностей и были уверены, что только приверженность старым принципам стоит на пути прогресса. Все более широкое распространение получала точка зрения, что дальнейшее развитие невозможно на том же фундаменте, что общество требует коренной реконструкции. Речь шла при этом не о совершенствовании старого механизма, а о том, чтобы полностью его демонтировать и заменить другим. И поскольку надежды нового поколения сфокусировались на новых вещах, его представители уже не испытывали интереса к принципам функционирования существующего свободного общества, перестали понимать эти принципы и сознавать, гарантией чего они являются.

Я не буду обсуждать здесь в деталях, как повлиял на эту смену воззрений некритический перенос в общественные науки методов и интеллектуальных привычек, выработанных в науках технических и естественных, и каким образом представители этих дисциплин пытались дискредитировать результаты многолетнего изучения процессов, происходящих в обществе, которые не укладывались в прокрустово ложе их предвзятых представлений, и применять свое понятие об организации в области, совершенно для этого не подходящей[4].

В соответствии с доминирующими сегодня представлениями вопрос о том, как лучше использовать потенциал спонтанных

4 Этот процесс я попытался проанализировать в двух сериях статей: «Сциентизм и изучение общества» и «Контрреволюция науки», опубликованных в журнале Economica в 1941–1944 годах [см.: *Хайек Ф.А.* Контрреволюция науки: Этюды о злоупотреблениях разумом. М., 2003].

сил, заключенных в свободном обществе, вообще снимается с повестки дня. Мы фактически отказываемся опираться на эти силы, результаты деятельности которых непредсказуемы, и стремимся заменить анонимный, безличный механизм рынка коллективным и «сознательным» руководством, направляющим движение всех социальных сил к заранее заданным целям. Лучшей иллюстрацией этого различия может быть крайняя позиция, изложенная на страницах нашумевшей книги д-ра Карла Манхейма. К его программе так называемого «планирования во имя свободы» мы будем обращаться еще не раз. «Нам никогда не приходилось, — пишет К. Манхейм, — управлять всей системой природных сил, но сегодня мы вынуждены делать это по отношению к обществу... Человечество все больше стремится к регуляции общественной жизни во всей ее целокупности, хотя оно никогда не пыталось создать вторую природу»[5].

Примечательно, что эта смена умонастроений совпала с переменой направления, в котором идеи перемещались в пространстве. В течение более чем двух столетий английская общественная мысль пробивала себе дорогу на Восток. Принцип свободы, реализованный в Англии, был, казалось, самой судьбой предназначен распространиться по всему свету. Но где-то около 1870 года экспансии английских идей на Восток был положен предел. С этих пор началось их отступление, и иные идеи (впрочем, вовсе не новые и даже весьма старые) начали наступать с Востока на Запад. Англия перестала быть интеллектуальным лидером в политической и общественной жизни Европы и превратилась в страну, импортирующую идеи. В течение следующих шестидесяти лет центром, где рождались идеи, распространявшиеся на Восток и на Запад, стала Германия. И был ли это Гегель или Маркс, Лист или Шмоллер, Зомбарт или Манхейм, был ли это социализм, принимавший радикальные формы, или просто «организация» и «планирование», — немецкая мысль всюду оказывалась ко двору, и все с готовностью начали воспроизводить у себя немецкие общественные установления.

Большинство этих новых идей, в том числе идея социализма, родились не в Германии. Однако именно на немецкой почве они были отшлифованы и достигли своего наиболее полного раз-

5 *Mannheim K.* Man and Society in an Age of Reconstruction. [London,] 1940. P. 175.

вития в последней четверти XIX — первой четверти XX века. Теперь часто забывают, что в этот период Германия была лидером в развитии теории и практики социализма и что задолго до того, как в Англии всерьез заговорили о социализме, в немецком парламенте была уже крупная социалистическая фракция. До недавнего времени теория социализма разрабатывалась почти исключительно в Германии и Австрии, и даже дискуссии, идущие сегодня в России, — это прямое продолжение того, на чем остановились немцы. Многие английские и американские социалисты не подозревают, что вопросы, которые они теперь только поднимают, уже давно и подробно обсуждены немецкими социалистами.

Интенсивное влияние, которое оказывали все это время в мире немецкие мыслители, подкреплялось не только колоссальным прогрессом Германии в области материального производства, но, и даже в большей степени, огромным авторитетом немецкой философской и научной школы, завоеванным на протяжении последнего столетия, когда Германия вновь стала полноправным и, пожалуй, ведущим членом европейской цивилизации. Однако именно такая репутация стала вскоре способствовать распространению идей, разрушающих основы этой цивилизации. Сами немцы — по крайней мере те, кто в этом распространении участвовал, — прекрасно отдавали себе отчет в том, что происходит. Еще задолго до нацизма общеевропейские традиции стали именоваться в Германии «западными», что означало прежде всего «к западу от Рейна». «Западными» были либерализм и демократия, капитализм и индивидуализм, свобода торговли и любые формы интернационализма, т.е. миролюбия.

Но, несмотря на плохо скрываемое презрение все большего числа немцев к «пустым» западным идеалам, а может быть, и благодаря этому, народы Запада продолжали импорт германских идей. Больше того, они искренне поверили, что их прежние убеждения были всего лишь оправданием эгоистических интересов, что принцип свободы торговли был выдуман для укрепления позиций Британской империи и что американские и английские политические идеалы безнадежно устарели и сегодня их можно только стыдиться.

II. Великая утопия

Что всегда превращало государство в ад на земле,
так это попытки человека сделать его земным раем.
Фридрих Гельдерлин

Итак, социализм вытеснил либерализм и стал доктриной, которой придерживаются сегодня большинство прогрессивных деятелей. Но это произошло не потому, что были забыты предостережения великих либеральных мыслителей о последствиях коллективизма, а потому, что людей удалось убедить, что последствия будут прямо противоположными. Парадокс заключается в том, что тот самый социализм, который всегда воспринимался как угроза свободе, и открыто проявил себя в качестве реакционной силы, направленной против либерализма Французской революции, завоевал всеобщее признание как раз под флагом свободы. Теперь редко вспоминают, что вначале социализм был откровенно авторитарным. Французские мыслители, заложившие основы современного социализма, ни минуты не сомневались, что их идеи можно воплотить только с помощью диктатуры. Социализм был для них попыткой «довести революцию до конца» путем сознательной реорганизации общества на иерархической основе и насильственного установления «духовной власти». Что же касается свободы, то основатели социализма высказывались о ней совершенно недвусмысленно. Корнем всех зол общества XIX столетия они считали свободу мысли. А предтеча нынешних адептов планирования Сен-Симон предсказывал, что с теми, кто не будет повиноваться указаниям предусмотренных его теорией плановых советов, станут обходиться «как со скотом».

Лишь под влиянием мощных демократических течений, предшествовавших революции 1848 года, социализм начал искать союза со свободолюбивыми силами. Но обновленному «демократическому социализму» понадобилось еще долгое время, чтобы развеять подозрения, вызываемые его прошлым. А кроме того, демократия, будучи по своей сути индивидуалистическим институ-

том, находилась с социализмом в непримиримом противоречии. Лучше всех сумел разглядеть это де Токвиль. «Демократия расширяет сферу индивидуальной свободы, — говорил он в 1848 году, — социализм ее ограничивает. Демократия утверждает высочайшую ценность каждого человека, социализм превращает человека в простое средство, в цифру. Демократия и социализм не имеют между собой ничего общего, кроме одного слова: равенство. Но посмотрите, какая разница: если демократия стремится к равенству в свободе, то социализм — к равенству в рабстве и принуждении»[1].

Чтобы усыпить эти подозрения и продемонстрировать причастность к сильнейшему из политических мотивов — жажде свободы, социалисты начали все чаще использовать лозунг «новой свободы». Наступление социализма стали толковать как скачок из царства необходимости в царство свободы. Оно должно принести «экономическую свободу», без которой уже завоеванная политическая свобода «ничего не стоит». Только социализм способен довести до конца многовековую борьбу за свободу, в которой обретение политической свободы является лишь первым шагом.

Следует обратить особое внимание на едва заметный сдвиг в значении слова «свобода», который понадобился, чтобы рассуждения звучали убедительно. Для великих апостолов политической свободы слово это означало свободу человека от насилия и произвола других людей, избавление от пут, не оставляющих индивиду никакого выбора, принуждающих его повиноваться власть имущим. Новая же обещанная свобода — это свобода от необходимости, избавление от пут обстоятельств, которые, безусловно, ограничивают возможность выбора для каждого из нас, хотя для одних — в большей степени, для других — в меньшей. Чтобы человек стал по-настоящему свободным, надо победить «деспотизм физической необходимости», ослабить «оковы экономической системы».

Свобода в этом смысле — это, конечно, просто другое название для власти или богатства[2]. Но хотя обещание этой новой свободы

---

1 *Tocqueville A. de.* Discours prononcé a assemblée constituante le 12 Septembre 1848 sur la question du droit au travail // Oeuvres complètes d'Alexis de Tocqueville. [Paris,] 1866. Vol. IX. P. 546.

2 Характерное смешение свободы и власти, с которым мы еще будем встречаться неоднократно, — слишком сложный предмет, чтобы останавливаться на нем здесь подробно. Это смешение старо, как социализм, и настолько тесно с ним связано, что еще семьдесят лет назад один французский исследователь, изучавший его на примере трудов Сен-Симона, вынужден был признать, что такая

часто сопровождалось безответственным обещанием неслыханного роста в социалистическом обществе материального благосостояния, источник экономической свободы усматривался все же не в этой победе над природной скудостью нашего бытия. На самом деле обещание заключалось в том, что исчезнут резкие различия в возможностях выбора, существующие ныне между людьми. Требование новой свободы сводилось, таким образом, к старому требованию равного распределения богатства. Но новое название позволило ввести в лексикон социалистов еще одно слово из либерального словаря, а уж из этого они постарались извлечь все возможные выгоды. И хотя представители двух партий употребляли это слово в разных значениях, редко кто-нибудь обращал на это внимание, и еще реже возникал вопрос, совместимы ли в принципе два рода свободы.

Обещание свободы стало, несомненно, одним из сильнейших орудий социалистической пропаганды, посеявшей в людях уверенность, что социализм принесет освобождение. Тем более жестокой будет трагедия, если окажется, что обещанный нам Путь к Свободе есть в действительности Столбовая Дорога к Рабству. Именно обещание свободы не дает увидеть непримиримого противоречия между фундаментальными принципами социализма и либерализма. Именно оно заставляет все большее число либералов переходить на стезю социализма и нередко позволяет социалистам присваивать себе само название старой партии свободы. В результате бóльшая часть интеллигенции приняла социализм, так как увидела в нем продолжение либеральной традиции. Сама мысль о том, что социализм ведет к несвободе, кажется им поэтому абсурдной.

Однако в последние годы доводы о непредвиденных последствиях социализма, казалось бы давно забытые, зазвучали вдруг с новой силой, причем с самых неожиданных сторон. Наблюдатели один за другим стали отмечать поразительное сходство условий, порождаемых фашизмом и коммунизмом. Факт этот вынуждены были признать даже те, кто первоначально исходил из прямо противопо-

теория свободы «сама по себе уже содержит весь социализм» (*Janet P.* Saint-Simon et le Saint-Simonisme. [Paris,] 1878. P. 26, примеч.). Примечательно, что наиболее явным апологетом этого смешения является ведущий американский философ левого крыла Джон Дьюи. «Свобода, — пишет он, — есть реальная власть делать определенные вещи». Поэтому «требование свободы — это требование власти» (*Dewey J.* Liberty and Social Control // The Social Frontier. 1935. November. P. 41).

ложных установок. И пока английские и иные «прогрессисты» продолжали убеждать себя в том, что коммунизм и фашизм — полярно противоположные явления, все больше людей стали задумываться, не растут ли эти новоявленные тирании из одного корня. Выводы, к которым пришел Макс Истмен, старый друг Ленина, ошеломили даже самих коммунистов. «Сталинизм, — пишет он, — не только не лучше, но хуже фашизма, ибо он гораздо более беспощаден, жесток, несправедлив, аморален, антидемократичен и не может быть оправдан ни надеждами, ни раскаянием». И далее: «Было бы правильно определить его как сверхфашизм». Но еще более широкое значение приобретают заключения Истмена, когда мы читаем, что «сталинизм — это и есть социализм в том смысле, что он представляет собой неизбежный, хотя и непредвиденный, результат национализации и коллективизации, являющихся составными частями плана перехода к социалистическому обществу»[3].

Свидетельство Истмена является весьма примечательным, но далеко не единственным случаем, когда наблюдатель, благосклонно настроенный к русскому эксперименту, приходит к подобным выводам. Несколькими годами ранее У. Чемберлин, который за двенадцать лет, проведенных в России в качестве американского корреспондента, стал свидетелем крушения всех своих идеалов, так суммирует свои наблюдения, сопоставляя русский опыт с опытом итальянским и немецким: «Вне всякого сомнения, социализм, по крайней мере на первых порах, является дорогой не к свободе, но к диктатуре и к смене одних диктаторов другими в ходе борьбы за власть и жесточайших гражданских войн. Социализм, достигаемый и поддерживаемый демократическими средствами, — это, безусловно, утопия»[4]. Ему вторит голос британского корреспондента Ф. Войта, много лет наблюдавшего события в Европе: «Марксизм привел к фашизму и национал-социализму, потому что во всех своих существенных чертах он и является фашизмом и национал-социализмом»[5]. А. Уолтер Липпман приходит к выводу, что «наше поколение узнает теперь на собственном опыте, к чему приводит отступление от свободы во имя принудительной организации. Рассчитывая на изобилие, люди в действительности его лишаются. По мере усиления организованного руководства разнообразие уступает место еди-

3 *Eastman M.* Stalin's Russia and the Crisis of Socialism. [N.Y.,] 1940. P. 82.

4 *Chamberlin W.H.* A False Utopia. [London,] 1937. P. 202–203.

5 *Voigt F.A.* Unto Caesar. [London,] 1938. P. 95.

нообразию. Такова цена планируемого общества и авторитарной организации человеческих дел»[6].

В публикациях последних лет можно найти множество подобных утверждений. Особенно убедительны свидетельства тех, кто, будучи гражданами стран, ступивших на путь тоталитарного развития, сам пережил этот период трансформации и был вынужден пересмотреть свои взгляды. Приведем еще только одно высказывание, принадлежащее немецкому автору, который выражает ту же самую мысль, но, может быть, даже более глубоко проникает в суть дела. «Полный крах веры в достижимость свободы и равенства по Марксу, — пишет Питер Друкер, — вынудил Россию избрать путь построения тоталитарного, запретительного, неэкономического общества, общества несвободы и неравенства, по которому шла Германия. Нет, коммунизм и фашизм — не одно и то же. Фашизм — это стадия, которая наступает, когда коммунизм доказал свою иллюзорность, как это произошло в сталинской России и в догитлеровской Германии»[7].

Не менее показательна и интеллектуальная эволюция многих нацистских и фашистских руководителей. Всякий, кто наблюдал зарождение этих движений в Италии[8] или в Германии, не мог не быть поражен количеством их лидеров (включая Муссолини, а также Лаваля и Квислинга), начинавших как социалисты, а закончивших как фашисты или нацисты. Еще более характерна такая биография для рядовых участников движения. Насколько легко было обратить молодого коммуниста в фашиста, и наоборот, было хорошо известно в Германии, особенно среди пропагандистов обеих партий. А преподаватели английских и американских университетов помнят, как в 30-е годы многие студенты, возвращаясь из Европы, не знали твердо, коммунисты они или фашисты, но были абсолютно убеждены, что они ненавидят западную либеральную цивилизацию.

Нет ничего удивительного в том, что в Германии до 1933 года, а в Италии до 1922-го коммунисты и нацисты (соответственно фашисты) чаще вступали в столкновение друг с другом, чем с иными партиями. Они боролись за людей с определенным типом созна-

6 Atlantic Monthly. November. 1936. P. 552.

7 *Drucker P.* The End of the Economic Man. [N.Y.,] 1939. P. 230.

8 Весьма поучительную картину эволюции идей многих фашистских лидеров можно найти в сочинении Р. Михельса (вначале — марксиста, затем — фашиста): *Michels R.* Sozialismus und Faszismus. Münich, 1925. Bd. II. S. 264–266, 311–312.

ния и ненавидели друг друга так, как ненавидят еретиков. Но их дела показывали, насколько они были в действительности близки. Главным врагом, с которым они не могли иметь ничего общего и которого не надеялись переубедить, был для обеих партий человек старого типа, либерал. Если для коммуниста нацист, для нациста коммунист и для обоих социалист были потенциальными рекрутами, т.е. людьми, неправильно ориентированными, но обладающими нужными качествами, то с человеком, который по-настоящему верит в свободу личности, ни у кого из них не могло быть никаких компромиссов.

Чтобы у читателей, введенных в заблуждение официальной пропагандой какой-нибудь из этих сторон, не оставалось на этот счет сомнений, позволю себе процитировать один авторитетный источник. Вот что пишет в статье с примечательным заглавием «Второе открытие либерализма» профессор Эдуард Хейнманн, один из лидеров немецкого религиозного социализма: «Гитлеризм заявляет о себе как о подлинно демократическом и подлинно социалистическом учении, и, как это ни ужасно, в этом есть зерно истины, — совсем микроскопическое, но достаточное для таких фантастических подтасовок. Гитлеризм идет еще дальше, объявляя себя защитником христианства, и, как это ни противоречит фактам, это производит на кого-то впечатление. Среди всего этого тумана и передержек только одно не вызывает сомнений: Гитлер никогда не провозглашал себя сторонником подлинного либерализма. Таким образом, на долю либерализма выпала честь быть доктриной, которую более всего ненавидит Гитлер»[9]. К этому необходимо добавить, что у Гитлера не было возможности проявить свою ненависть на практике, поскольку к моменту его прихода к власти либерализм в Германии был уже практически мертв. Его уничтожил социализм.

Для тех, кто наблюдал за эволюцией от социализма к фашизму с близкого расстояния, связь этих двух доктрин проявлялась со все большей отчетливостью. И только в демократических странах большинство людей по-прежнему считают, что можно соединить социализм и свободу. Я не сомневаюсь, что наши социалисты все еще ис-

9 Social Research. 1941. Vol. VIII. № 4. November. В связи с этим можно вспомнить, что в феврале 1941 года Гитлер посчитал целесообразным заявить в одном из публичных выступлений, что «национал-социализм и марксизм в основе своей — одно и то же» (см.: The Bulletin of International News. [1942.] Vol. XVIII. № 5. P. 269).

поведуют либеральные идеалы и готовы будут отказаться от своих взглядов, если увидят, что осуществление их программы равносильно потере свободы. Но проблема пока осознается очень поверхностно. Многие несовместимые идеалы каким-то образом легко сосуществуют в сознании, и мы до сих пор слышим, как всерьез обсуждаются заведомо бессмысленные понятия, такие, как «индивидуалистический социализм». Если в таком состоянии ума мы рассчитываем заняться строительством нового мира, то нет задачи более насущной, чем серьезное изучение того, как развивались события в других странах. И пускай наши выводы будут только подтверждением опасений, которые высказывались другими, — все равно, чтобы убедиться, что такой ход событий является не случайным, надо всесторонне проанализировать попытки трансформации общественной жизни. Пока все связи между фактами не будут выявлены с предельной ясностью, никто не поверит, что демократический социализм — эта великая утопия последних поколений — не только недостижим, но и что действия, направленные на его осуществление, приведут к результатам неожиданным и совершенно неприемлемым для его сегодняшних сторонников.

III. Индивидуализм и коллективизм

Социалисты верят в две вещи, совершенно различные
и, наверное, даже несовместимые, — в свободу и в организацию.
Эли Халеви

Прежде чем мы сможем двигаться дальше, надлежит прояснить одно недоразумение, которое в значительной степени повинно в том, что в нашем обществе происходят вещи, ни для кого не желательные. Недоразумение это касается самого понятия «социализм». Это слово нередко используют для обозначения идеалов социальной справедливости, большего равенства, социальной защищенности, т.е. конечных целей социализма. Но социализм — это ведь еще и особые методы, с помощью которых большинство сторонников этой доктрины надеются этих целей достичь, причем, как считают многие компетентные люди, методы эффективные и незаменимые. Социализм в этом смысле означает упразднение частного предпринимательства, отмену частной собственности на средства производства и создание системы «плановой экономики», где вместо предпринимателя, работающего для получения прибыли, будут созданы централизованные планирующие органы.

Многие люди, называющие себя социалистами, имеют в виду только первое значение термина, т.е. они искренне верят в необходимость достижения конечных целей, но им все равно или они не понимают, каким образом цели эти могут быть достигнуты. Но для тех, для кого социализм — это не только надежда, но и область политической деятельности, современные методы, характерные для этой доктрины, столь же важны, как и цели. С другой стороны, существуют люди, которые верят в цели социализма не меньше, чем сами социалисты, но тем не менее отказываются их поддерживать, поскольку усматривают в социалистических методах угрозу другим человеческим ценностям. Таким образом, спор идет скорее о средствах, чем о целях, хотя вопрос о том, могут ли быть одновременно достигнуты различные цели социализма, тоже иногда становится предметом дискуссий.

Этого уже достаточно, чтобы возникло недоразумение, но оно усугубляется еще и тем, что людей, отвергающих средства, часто обвиняют в пренебрежении к целям. А если мы вспомним, что одни и те же средства, например «экономическое планирование», являющееся ключевым инструментом социалистических реформ, могут использоваться для достижения различных целей, то поймем, насколько в действительности запутана ситуация. Конечно, мы должны направлять экономическую деятельность, если хотим, чтобы распределение доходов шло в соответствии с современными представлениями о социальной справедливости. Следовательно, все, кто мечтает, чтобы производство развивалось не «во имя прибыли», а «на благо человека», должны начертать на своем знамени лозунг «планирование». Однако то же самое планирование может быть использовано и для несправедливого по нашим теперешним представлениям распределения доходов. Хотим ли мы, чтобы основные блага в этом мире доставались представителям расовой элиты или людям нордиче-ского типа, членам партии или аристократии, — мы должны будем использовать те же методы, что и при уравнительном рас-пределении.

Быть может, ошибка заключается в использовании термина «социализм» для описания конкретных методов, в то время как для многих людей он обозначает прежде всего цель, идеал. Наверное, лучше обозначить методы, которые можно использовать для достижения различных целей, термином «коллективизм» и рассматривать социализм как одну из его многочисленных разновидностей. И хотя для большинства социалистов только один тип коллективизма является подлинным социализмом, мы будем помнить, что социализм — это частный случай коллективизма и поэтому все, что верно для коллективизма, будет также применимо и к социализму. Практически все пункты, по которым расходятся социалисты и либералы, касаются коллективизма вообще, а не конкретных целей, во имя которых социалисты предполагают этот коллективизм использовать. И все вопросы, которые мы будем поднимать в этой книге, связаны с последствиями применения коллективистских методов безотносительно к целям. Не следует также забывать, что социализм — самая влиятельная на сегодняшний день форма коллективизма или «планирования», под воздействием которой многие либерально настроенные люди вновь обратились к идее регламентации экономической жизни, отброшенной в свое время, ибо, если воспользоваться словами Адама Смита, она ставит правительство в по-

ложение, в котором, «чтобы удержаться, оно должно прибегать к произволу и угнетению»[1].

Однако, даже если мы согласимся использовать для обозначения всей совокупности типов «плановой экономики», независимо от их целей, термин «коллективизм», мы еще не преодолеем всех затруднений, связанных с употреблением расхожих, но не очень внятных политических понятий. Можно внести уточнение, сказав, что речь идет о планировании, необходимом для осуществления того или иного (в принципе любого) идеала распределения. Но поскольку идея централизованного экономического планирования привлекательна в основном благодаря своей рас-плывчатости, то, чтобы двигаться дальше, надо вполне прояснить ее смысл.

Популярность идеи «планирования» связана прежде всего с совершенно понятным стремлением решать наши общие проблемы по возможности рационально, чтобы удавалось предвидеть последствия наших действий. В этом смысле каждый, кто не является полным фаталистом, мыслит «планово». И всякое политическое действие — это акт планирования (по крайней мере, должно быть таковым), хорошего или плохого, умного или неумного, прозорливого или недальновидного, но планирования. Экономист, который по долгу своей профессии призван изучать человеческую деятельность, неразрывно связанную с планированием, не может иметь ничего против этого понятия. Но дело заключается в том, что наши энтузиасты планового общества используют этот термин совсем в другом смысле. Они не ограничиваются утверждением, что, если мы хотим распределять доходы или блага в соответствии с определенными стандартами, мы должны прибегать к планированию. Как следует из современных теорий планирования, недостаточно однажды создать рациональную систему, в рамках которой будут протекать различные процессы деятельности, направляемые индивидуальными планами ее участников. Такое либеральное планирование авторы подобных теорий вовсе не считают планированием, и действительно здесь нет никакого плана, который бы в точности предусматривал, кто и что получит. Но наши адепты планирования требуют централизованного управления всей экономической деятельностью, осуществляемой по такому единому плану, где однозначно расписано,

1 Из заметок Адама Смита 1755 года, цитируемых Дугалдом Стюартом: *Stewart D*. Biografical memoirs of Adam Smith. [Edinburgh, 1811].

как будут «сознательно» использоваться общественные ресурсы, чтобы определенные цели достигались определенным образом.

Этот спор между сторонниками планирования и их оппонентами не сводится, следовательно, ни к тому, должны ли мы разумно выбирать тип организации общества, ни к вопросу о необходимости применения прогнозирования и систематического мышления в планировании наших общих дел. Речь идет только о том, как осуществлять все это наилучшим образом: должен ли субъект, наделенный огромной властью, заботиться о создании условий, мобилизующих знания и инициативу индивидов, которые сами осуществляют планирование своей деятельности, или же рациональное использование наших ресурсов невозможно без централизованной организации и управления всеми процессами деятельности в соответствии с некоторой сознательно сконструированной программой. Социалисты всех партий считают планированием только планирование второго типа, и это значение термина является сегодня доминирующим. Разумеется, это вовсе не означает, что такой способ рационального управления экономической жизнью является единственным. Но в этом пункте сторонники планирования резко расходятся с либералами.

Несогласие с таким пониманием планирования не следует путать с догматической приверженностью принципу *laissez-faire*. Либералы говорят о необходимости максимального использования потенциала конкуренции для координации деятельности, а не призывают пускать вещи на самотек. Их доводы основаны на убеждении, что конкуренция, если ее удается создать, — лучший способ управления деятельностью индивидов. И они вовсе не отрицают, а, наоборот, всячески подчеркивают, что для создания эффективной конкуренции нужна хорошо продуманная система законов, но как нынешнее законодательство, так и законодательство прошлого в этом отношении далеки от совершенства. Не отрицают они и того, что там, где не удается создать условий для эффективной конкуренции, надо использовать другие методы управления экономической деятельностью. Но либералы решительно возражают против замены конкуренции координацией сверху. Они предпочитают конкуренцию не только потому, что она обычно оказывается более эффективной, но прежде всего по той причине, что она позволяет координировать деятельность внутренним образом, избегая насильственного вмешательства. В самом деле, разве не является сильнейшим аргументом в пользу конкуренции то,

что она позволяет обойтись без «сознательного общественного контроля» и дает индивиду шанс самому принимать решения, взвешивая успех и неудачу того или иного предприятия?

Эффективное применение конкуренции исключает одни виды принудительного вмешательства в экономическую жизнь, но допускает другие, способствующие развитию конкуренции и требующие иногда определенных действий со стороны правительства. Но надо обратить особое внимание, что существуют ситуации, полностью исключающие возможность насильственного вмешательства. Прежде всего необходимо, чтобы все присутствующие на рынке стороны имели полную свободу покупать и продавать товары по любой цене, на которую найдутся желающие, и чтобы каждый был волен производить, продавать и покупать все, что в принципе может быть произведено и продано. Существенно также, чтобы доступ к любым отраслям был открыт всем на равных основаниях и чтобы закон пресекал всякие попытки индивидов или групп ограничить этот доступ открыто или тайно. Кроме того, всякие попытки контролировать цены или количество товаров отнимают у конкуренции способность координировать усилия индивидов, поскольку колебания цен в этих случаях перестают отражать изменения конъюнктуры и не могут служить надежным ориентиром для индивидуальной деятельности.

Впрочем, это не всегда верно. Возможны меры, ограничивающие допустимые технологии производства, если ограничения касаются всех потенциальных предпринимателей и не являются косвенным способом контроля цен или количества товаров. И хотя такой контроль за методами производства приводит обычно к дополнительным затратам (так как требует использования большего количества ресурсов для производства того же объема продукции), он может оказаться оправданным. Запрещение применять вредные вещества или требование применять в таких случаях меры предосторожности, ограничение рабочего дня и установление санитарных правил — все это не может отрицательно повлиять на конкуренцию. Вопрос только в том, окупают ли в каждом таком случае полученные преимущества социальные затраты. Совместима конкуренция и с разветвленной сетью социального обслуживания, если только сама эта сеть не организована так, чтобы снизить эффективность конкуренции в какой-то широкой области.

К сожалению (хотя это и объяснимо), в прошлом запретительным мерам уделяли гораздо больше внимания, чем мерам позитивным, стимулирующим развитие конкуренции. Ведь действие

конкуренции требует не только правильной организации таких институтов, как деньги, рынок и каналы информации (причем в некоторых случаях частное предпринимательство в принципе не может этого обеспечить), но и прежде всего соответствующей правовой системы. Законодательство должно быть специально сконструировано для охраны и развития конкуренции. Недостаточно, чтобы закон просто признавал частную собственность и свободу контрактов. Важно еще, чтобы права собственности получили дифференцированное определение по отношению к различным ее видам. Мы до сих пор очень мало знаем о влиянии на эффективность конкуренции разных форм правовых институтов. Вопрос этот требует пристального изучения, ибо серьезные недостатки в этой области (в особенности в законодательстве о корпорациях и о патентах) не только снижают эффективность конкуренции, но и ведут к ее полному угасанию во многих сферах.

Наконец, существуют области, в которых никакие правовые установления не могут создать условий для функционирования частной собственности и конкуренции, а именно гарантировать владельцу выгоду от полезного для общества использования его собственности и убыток от использования вредного. К примеру, там, где отсутствует зависимость качества услуг от платы за них, конкуренция ничем не поможет. Точно так же неэффективной оказывается система цен, если с владельца собственности нельзя взыскать за ущерб, нанесенный кому-либо в результате ее использования. Во всех таких случаях можно наблюдать расхождение между показателями, фигурирующими в личных расчетах, и показателями, отражающими общественное благосостояние. Если такое расхождение налицо, необходимо использовать иные методы, отличные от конкуренции. Например, каждый индивидуальный потребитель не может платить за оборудование магистралей дорожными знаками, а чаще всего — и за строительство самих дорог. А ущерб, причиняемый последствиями вырубки лесов, некоторыми методами возделывания земли, вредными производственными выбросами или шумом, нельзя возместить путем прямых расчетов между владельцем вредоносной собственности и теми, кто готов от нее страдать при условии выплаты компенсации. В таких ситуациях механизм регуляции деятельности с помощью цен надо чем-то заменить. Но наша готовность применять власть там, где нельзя создать условий для конкуренции, вовсе не равносильна призыву подавлять конкуренцию в тех случаях, когда она может быть эффективной.

Таким образом, перед государством открывается довольно широкое поле деятельности. Это и создание условий для развития конкуренции, и замена ее другими методами регуляции там, где это необходимо, и развитие услуг, которые, по словам Адама Смита, «хотя и могут быть в высшей степени полезными для общества в целом, но по природе своей таковы, что прибыль от них не сможет окупить затрат отдельного лица или небольшой группы предпринимателей». Никакая рациональная система организации не обрекает государство на бездействие. И система, основанная на конкуренции, нуждается в разумно сконструированном и непрерывно совершенствуемом правовом механизме. А он еще очень далек от совершенства, даже в такой важной для функционирования конкурентной системы области, как предотвращение обмана и мошенничества, и в частности злоупотребления неосведомленностью.

Работа по созданию правовой системы, способствующей развитию конкуренции, была еще только в самом начале, когда во всех государствах вдруг наметился резкий поворот в сторону иного принципа, не совместимого с принципом конкуренции. Речь шла уже не о стимулировании и не о дополнении конкуренции, а об ее полной замене. Здесь важно расставить все точки над «i»: современное движение, отстаивающее принцип планирования, — это движение, направленное против конкуренции как таковой, новый лозунг, под которым собрались все старые враги конкурентной системы. И хотя различные группировки пытаются сейчас, пользуясь случаем, вернуть себе привилегии, с которыми было покончено в эпоху либерализма, но именно социалистическая пропаганда планирования вернула позиции, направленной против конкуренции, определенную респектабельность в глазах либерально настроенных людей, усыпив здоровую подозрительность, всегда возникающую при попытках устранить конкуренцию[2]. Единственное, что объединя-

2 Правда, в последнее время некоторые кабинетные социалисты под влиянием критики и из опасений потерять в планируемом обществе свободу изобрели новую концепцию — «конкурентный социализм», которая, как они надеются, позволит избежать опасностей централизованного планирования и соединить уничтожение частной собственности с сохранением всех свобод. И хотя в некоторых ученых журналах завязалась какая-то дискуссия об этой новой разновидности социализма, практических политиков она вряд ли заинтересует. А если бы и заинтересовала, то нетрудно показать (и автор уже пытался это сделать; см.: [*Hayek F.A.* Socialist Calculation: The Competitive “Solution”] // Economica. 1940. [Vol. 7. May. P. 125–149]), что концепция эта абсолютно иллюзорна и внутренне

ет социалистов левого и правого толка, это ненависть к конкуренции и желание заменить ее директивной экономикой. И хотя термины «капитализм» и «социализм» все еще широко употребляются для обо-значения прошлого и будущего состояния общества, они не проясняют, а, скорее, затемняют сущность переживаемого нами периода.

И все же, хотя тенденция к всеобщей централизации управления экономикой является совершенно очевидной, на первых порах борьба против конкуренции обещает породить нечто еще более неприемлемое, не устраивающее ни сторонников планирования, ни либералов, — что-то вроде синдикалистской или «корпоративной» формы организации экономики, при которой конкуренция более или менее подавляется, но планирование оказывается в руках у независимых монополий, контролирующих отдельные отрасли. Это неизбежный результат, к которому придут люди, объединенные ненавистью к конкуренции, но не согласные по всем остальным вопросам. Политика последовательного разрушения конкуренции во всех отраслях отдает потребителя на милость промышленных монополий, объединяющих капиталистов и рабочих наилучшим образом организованных предприятий. Такая ситуация уже существует в обширных областях нашей экономики, и именно за нее агитируют многие введенные в заблуждение (и все корыстно заинтересованные) сторонники планирования. Однако ее правомерность не сможет найти рационального оправдания, и она вряд ли продлится долго. Независимое планирование, осуществляемое монополиями, приведет к последствиям, прямо противоположным тем, на которые уповают адепты плановой экономики. Когда эта стадия будет достигнута, придется либо возвращаться к конкуренции, либо переходить к государственному контролю над деятельностью монополий, который может стать эффективным лишь при условии, что он будет все более и более полным и детальным. И это ждет нас в самом недалеком будущем. Еще перед самой войной один еженедельник отмечал, что британские лидеры, судя по всему, все больше привыкают рассуждать о будущем страны в терминах контролируемых монополий. Уже тогда такая оценка была достаточно точной, но война значитель-

противоречива. Невозможно установить контроль над всеми производственными ресурсами, не определяя, кто и для кого будет эти ресурсы использовать. И хотя при «конкурентном социализме» планирование должно идти окольными путями, результаты его будут теми же самыми, а элемент конкуренции останется не более чем бутафорией.

но ускорила этот процесс, и недалек тот час, когда скрытые опасности такого подхода станут совершенно очевидными.

Идея полной централизации управления экономикой все еще не находит отклика у многих людей, и не столько из-за чудовищной сложности этой задачи, сколько из-за ужаса, внушаемого мыслью о руководстве всем и вся из единого центра. И если мы, несмотря ни на что, все-таки стремительно движемся в этом направлении, то только в силу бытующего убеждения, что найдется некий срединный путь между «атомизированной» конкуренцией и централизованным планированием. На первый взгляд идея эта кажется и привлекательной, и разумной. Действительно, может быть, не стоит стремиться ни к полной децентрализации и свободной конкуренции, ни к абсолютной централизации и тотальному планированию? Может быть, лучше поискать какой-то компромиссный метод? Но здесь здравый смысл оказывается плохим советчиком. Хотя конкуренция и допускает некоторую долю регулирования, ее никак нельзя соединить с планированием, не ослабляя ее как фактор организации производства. Планирование, в свою очередь, тоже не является лекарством, которое можно принимать в малых дозах, рассчитывая на серьезный эффект. И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в урезанном виде. Это альтернативные принципы решения одной и той же проблемы, и их смешение приведет только к потерям, т.е. к результатам более плачевным, чем те, которые можно было бы получить, последовательно применяя один из них. Можно сказать и иначе: планирование и конкуренция соединимы лишь на пути планирования во имя конкуренции, но не на пути планирования против конкуренции.

Эта мысль является для меня принципиальной. Я хочу, чтобы читатель все время помнил, что планирование, критикуемое на страницах этой книги, — это прежде всего и исключительно планирование, направленное против конкуренции, долженствующее ее подменить. И это тем более принципиально, что мы не можем здесь углубляться в обсуждение другого, действительно необходимого планирования, целью которого является повышение эффективности конкуренции. Но, поскольку в наши дни термин «планирование» употребляется почти исключительно в первом значении, мы тоже будем дальше для краткости говорить просто о «планировании», отдавая на откуп нашим противникам это слово, заслуживающее лучшей участи.

IV. Является ли планирование неизбежным?

> Мы были первыми, кто сказал, что чем более сложные формы принимает цивилизация, тем более ограниченной становится свобода личности.
> *Бенито Муссолини*

Редко услышишь сегодня, что планирование является желательным. В большинстве случаев нам говорят, что у нас просто нет выбора, что обстоятельства, над которыми мы не властны, заставляют заменять конкуренцию планированием. Сторонники централизованного планирования старательно культивируют миф об угасании конкуренции в результате развития новых технологий, добавляя при этом, что мы не можем и не должны пытаться поворачивать вспять этот естественный процесс. Это утверждение обычно никак не обосновывают. Оно кочует из книги в книгу, от автора к автору и благодаря многократному повторению считается уже как бы установленным фактом. А между тем оно не имеет под собой никаких оснований. Тенденция к монополии и планированию является вовсе не результатом каких бы то ни было «объективных обстоятельств», а продуктом пропаганды определенного мнения, продолжавшейся в течение полувека и сделавшей это мнение доминантой нашей политики.

Из всех аргументов, призванных обосновать неизбежность планирования, самым распространенным является следующий: поскольку технологические изменения делают конкуренцию невозможной все в новых и новых областях, нам остается только выбирать, контролировать ли деятельность частных монополий или управлять производством на уровне правительства. Это представление восходит к марксистской концепции «концентрации производства», хотя, как и многие другие марксистские идеи, употребляется, в результате многократного заимствования, без указания на источник.

Происходившее в течение последних пятидесяти лет усилие монополий и одновременное ограничение сферы действия свободной конкуренции является несомненным историческим фактом, против которого никто не станет возражать, хотя масштабы

этого процесса иногда сильно преувеличивают[1]. Но важно понять, следствие ли это развития технологий или результат политики, проводимой в большинстве стран. Как мы попытаемся показать, факты свидетельствуют в пользу второго предположения. Но прежде попробуем ответить на вопрос, действительно ли современный технический прогресс делает рост монополий неизбежным.

Главной причиной роста монополий считается техническое превосходство крупных предприятий, где современное массовое производство оказывается более эффективным. Нас уверяют, что благодаря современным методам в большинстве отраслей возникли условия, в которых крупные предприятия могут наращивать объем производства, снижая при этом себестоимость единицы продукции. В результате крупные фирмы повсюду вытесняют мелкие, предлагая товары по более низким ценам, и по мере развития этого процесса в каждой отрасли скоро останется одна или несколько фирм-гигантов. В этом рассуждении принимается во внимание только одна тенденция, сопутствующая техническому прогрессу, и игнорируются другие, противоположно направленные. Неудивительно поэтому, что при серьезном изучении фактов оно не находит подтверждения. Не имея возможности анализировать здесь этот вопрос в деталях, обратимся лишь к одному, но весьма красноречивому свидетельству. В США глубокий анализ всей совокупности фактов, имеющих отношение к этой проблеме, был осуществлен Временным национальным комитетом по вопросам экономики в исследовании, носившем название «Концентрация экономической мощи». Отчет об этом исследовании (которое вряд ли можно заподозрить в либеральном уклоне) утверждает совершенно недвусмысленно, что точка зрения, в соответствии с которой эффективность крупного производства является причиной исчезновения конкуренции, «не подтверждается фактами, которыми мы сегодня располагаем»[2]. А вот как подводит итог обсуждению данного вопроса специальная монография, подготовленная для этого комитета.

«Более высокая эффективность крупных предприятий не подтверждается фактами; соответствующие преимущества, якобы уничтожающие конкуренцию, во многих областях, как

1 Более подробно этот вопрос обсуждается в очерке профессора Л. Роббинса «Неизбежность монополий» (см.: *Robbins L.Ch.* Economic Basis of Class Conflict. [London,] 1939. P. 45–80).

2 Final Report and Recommendations of the Temporary National Economic Committee / 77th Congress, 1st Session, Senate Document. 1941. № 35. P. 89.

выяснилось, отсутствуют. Там же, где существуют крупные экономические структуры, они не обязательно ведут к монополии. ...Оптимальные показатели эффективности могут быть достигнуты задолго до того, как основная часть выпускаемой продукции будет находиться под контролем монополии. Нельзя согласиться с тем, что преимущества крупномасштабного производства обусловливают исчезновение конкуренции. Более того, монополии чаще всего возникают под действием совершенно иных факторов, чем низкие цены и крупные размеры производства. Они образуются в результате тайных соглашений и поощряются политикой государства. Объявив такие соглашения вне закона и кардинально пересмотрев государственную политику, можно восстановить условия, необходимые для развития конкуренции»[3].

Изучение английской ситуации привело бы к таким же выводам. Каждый, кто наблюдал, как стремятся монополисты заручиться поддержкой государства и как часто они получают эту поддержку, необходимую для удержания контроля над рынком, ни на минуту не усомнится в том, что в таком развитии событий нет ровным счетом ничего «неизбежного».

Этот вывод подтверждается и тем, в какой исторической последовательности происходили в разных странах упадок конкуренции и рост монополий. Если бы это был результат технического прогресса или необходимый этап развития «капитализма», то можно было бы ожидать, что в странах с развитой экономикой это будет происходить раньше. На самом деле этот процесс начался впервые в последней трети XIX века в относительно «молодых» индустриальных странах — в США и в особенности в Германии, которую стали рас-сматривать как модель, блестяще демонстрирующую закономерности развития капитализма. Здесь начиная с 1878 года государство сознательно поддерживало развитие картелей и синдикатов. И не только протекционизм, но и прямое стимулирование и даже принуждение использовались разными правительствами для ускорения создания монополий, позволявших регулировать цены и сбыт. Именно в Германии при участии государства был предпринят первый крупномасштабный эксперимент по «научному планированию» и «сознательной организации производства», завершившийся созданием гигантских моно-

3 *Wilcox C.* Competition and Monopoly in American Industry. [Washington,] 1940 (= Temporary National Economic Committee. Monograph. № 21). P. 314.

полий, которые были объявлены «необходимостью экономического развития» еще за пятьдесят лет до того, как это было сделано в Великобритании. Концепция неизбежного перерастания экономической системы, основанной на конкуренции, в «монополистический капитализм» была разработана немецкими социалистами, прежде всего Зомбартом, обобщившим опыт своей страны, и уже затем распространилась по всему миру. Во многом аналогичное развитие экономики США, где протекционистская политика правительства была вполне отчетливой, казалось бы, подтверждало эту концепцию. Но примером классического развития капитализма стала считаться все-таки Германия (в меньшей степени — США), и стало общим местом говорить (процитирую, например, широко известное до войны политическое эссе) о том, что в Германии все социальные и политические силы современной цивилизации достигли своего расцвета[4].

Насколько мало было во всем этом «неизбежности» и много сознательной политики, можно увидеть, проследив за развитием событий в Великобритании после 1931 года, знаменующего для нашей страны переход к политике протекционизма. Всего каких-нибудь двенадцать лет назад британская промышленность (за исключением нескольких отраслей, уже находившихся к тому времени под опекой правительства) была в такой степени конкурентной, как, пожалуй, еще никогда в истории. И хотя в 20-е годы она сильно пострадала от последствий двух несовместимых друг с другом программ (денежно-кредитной и регулирования заработной платы), тем не менее весь этот период (по крайней мере, до 1929 года) показатели занятости населения и общей экономической активности были совсем не хуже, чем в 30-е годы. И только с момента, когда произошел поворот к протекционизму и иным сопутствующим изменениям в экономической политике, в стране начался стремительный рост монополий, изменивший британскую промышленность в такой степени, которую широкой публике еще предстоит осознать. Утверждать, что эти события находятся в какой-то зависимости от происходившего в то время технического прогресса, что «необходимость», сработавшая в Германии в 1880–1890-х годах, вдруг дала о себе знать здесь в 1930-х, не менее абсурдно, чем повторять вслед за Муссолини, что Италия должна была раньше других стран уничтожить свободу личности, потому что ее цивилизация обогнала цивилизацию всех остальных народов!

4 *Niebuhr R.* Moral Man and Immoral Society. [N.Y.; London,] 1932.

Что же касается Англии, долгое время стоявшей в стороне от интеллектуальных процессов, захвативших другие страны, то может возникнуть впечатление, что здесь изменение мнений и политики следует за развитием реальных, в определенном смысле неизбежных событий. Да, монополистическая организация промышленности возникла у нас под действием внешних влияний, вопреки общественному мнению, которое отдавало предпочтение конкуренции. Но чтобы подлинное соотношение между теорией и практикой стало окончательно ясным, надо посмотреть на Германию, ибо прототипом нашего развития была как раз она. И уж там-то подавление конкуренции проводилось вполне сознательно, во имя идеала, который мы сегодня зовем «планированием». Последовательно продвигаясь к плановому обществу, немцы и другие народы, берущие с них пример, следуют курсом, проложенным мыслителями XIX века, в основном немецкими. Таким образом, интеллектуальная история последних шестидесяти–восьмидесяти лет может служить блестящей иллюстрацией к тезису, что в общественном развитии нет ничего «неизбежного» и только мышление делает его таковым.

Утверждение, что современный технический прогресс делает неизбежным планирование, можно истолковать и по-другому. Оно может означать, что наша сложная индустриальная цивилизация порождает новые проблемы, которые без централизованного планирования неразрешимы. В каком-то смысле это так, но не в таком широком, какой сегодня обычно имеют в виду. Например, всем хорошо известно, что многие проблемы больших городов, как и другие проблемы, обусловленные неравномерностью расселения людей в пространстве, невозможно решать с помощью конкуренции. Но те, кто говорят сегодня о сложности современной цивилизации, пытаясь обосновать необходимость планирования, имеют в виду вовсе не коммунальные услуги и т.п. Они ведут речь о том, что становится все труднее наблюдать общую картину функционирования экономики и, если мы не введем центральный координирующий орган, общественная жизнь превратится в хаос.

Это свидетельствует о полном непонимании действия принципа конкуренции. Принцип этот применим не только и не столько к простым ситуациям, но прежде всего как раз к ситуациям сложным, порождаемым современным разделением труда, когда только с помощью конкуренции и можно достигать подлинной координации.

Легко контролировать или планировать несложную ситуацию, когда один человек или небольшой орган в состоянии учесть все существующие факторы. Но если таких факторов становится настолько много, что их невозможно ни учесть, ни интегрировать в единой картине, тогда единственным выходом является децентрализация. А децентрализация сразу же влечет за собой проблему координации, причем такой, которая оставляет за автономными предприятиями право строить свою деятельность в соответствии с только им известными обстоятельствами и одновременно согласовывать свои планы с планами других. И так как децентрализация была продиктована невозможностью учитывать многочисленные факторы, зависящие от решений, принимаемых большим числом различных индивидов, то координация по необходимости должна быть не «сознательным контролем», а системой мер, обеспечивающих индивида информацией, которая нужна для согласования его действий с действиями других. А поскольку никакой мыслимый центр не в состоянии всегда быть в курсе всех обстоятельств постоянно меняющихся спроса и предложения на различные товары и оперативно доводить эту информацию до сведения заинтересованных сторон, нужен какой-то механизм, автоматически регистрирующий все существенные последствия индивидуальных действий и выражающий их в универсальной форме, которая одновременно была бы и результатом прошлых, и ориентиром для будущих индивидуальных решений.

Именно таким механизмом является в условиях конкуренции система цен, и никакой другой механизм не может его заменить. Наблюдая движение сравнительно небольшого количества цен, как наблюдает инженер движение стрелок приборов, предприниматель получает возможность согласовывать свои действия с действиями других. Существенно, что эта функция системы цен реализуется только в условиях конкуренции, т.е. лишь в том случае, если отдельный предприниматель должен учитывать движение цен, но не может его контролировать. И чем сложнее оказывается целое, тем бóльшую роль играет это разделение знания между индивидами, самостоятельные действия которых скоординированы благодаря безличному механизму передачи информации, известному как система цен.

Можно сказать без преувеличения, что, если бы в ходе развития нашей промышленности мы полагались на сознательное централизованное планирование, она бы никогда не стала столь

дифференцированной, сложной и гибкой, какой мы видим ее сейчас. В сравнении с методом решения экономических проблем путем децентрализации и автоматической координации метод централизованного руководства, лежащий на поверхности, является топорным, примитивным и весьма ограниченным по своим результатам. И если разделение общественного труда достигло уровня, делающего возможным существование современной цивилизации, этим мы обязаны только тому, что оно было не сознательно спланировано, а создано методом, такое планирование исключающим. Поэтому и всякое дальнейшее усложнение этой системы вовсе не повышает акций централизованного руководства, а, наоборот, заставляет нас больше, чем когда бы то ни было, полагаться на развитие, не зависящее от сознательного контроля.

Существует еще одна теория, связывающая рост монополий с техническим прогрессом. Ее доводы прямо противоположны тем, которые мы только что рассмотрели. И хотя изложение ее бывает обычно невнятным, она оказывается довольно влиятельной. Главный тезис этой теории заключается не в том, что развитие технологии разрушает конкуренцию, но, наоборот, в том, что мы не сможем применять современной техники, пока не примем меры против конкуренции, т.е. не установим монополии. От этой теории нельзя просто отмахнуться, несмотря на то что возражение, казалось бы, очевидно: если новая техника действительно является более эффективной, то она, несомненно, выдержит любую конкуренцию. Но, оказывается, существуют примеры, для которых этот аргумент не проходит. Правда, заинтересованные авторы часто придают этим примерам слишком обобщенное звучание. И несомненно, путают при этом техническое совершенство с общественной пользой.

Речь идет вот о чем. Допустим, что британская промышленность могла бы выпускать автомобили, которые были бы и лучше, и дешевле американских, при условии, что все англичане ездили бы только на машинах одной марки. Или что можно было бы сделать электричество дешевле угля и газа, если бы все пользовались только электричеством. В примерах такого рода моделируется возможность улучшения благосостояния в результате нашей готовности в условиях выбора принять новую ситуацию. Но дело в том, что выбора-то как раз здесь и нет. В действительности перед нами встает совершенно иная альтернатива: либо всем ездить на одинаковых дешевых автомобилях (и пользоваться дешевой электроэнергией),

либо иметь возможность выбирать среди многих разновидностей одного товара, которые будут стоить дороже. Я не знаю, насколько это верно в каждом из приведенных примеров, но нельзя отрицать возможности путем принудительной стандартизации или запрета разнообразия достигать в некоторых областях изобилия, способного возместить отсутствие выбора. Можно даже предположить, что когда-нибудь будет сделано такое изобретение, которое принесет огромную выгоду обществу, но лишь при условии, если им будут одновременно пользоваться все или почти все.

Сколь бы убедительными ни были эти примеры, они, конечно, не дают нам права утверждать, что технический прогресс делает неизбежным централизованное планирование. Просто в таких ситуациях приходится выбирать — получать ли преимущества путем принуждения или отказываться от них (с тем чтобы, возможно, получить их позже, когда будут преодолены технические затруднения). Да, бывает, что мы приносим в жертву непосредственную выгоду во имя свободы, однако избегаем при этом зависимости дальнейшего пути развития от частного знания или изобретения. Проигрывая, быть может, в настоящем, мы сохраняем потенциал для развития в будущем. Ведь даже заплатив сегодня высокую цену за свободу выбора, мы создаем гарантии завтрашнего прогресса, в том числе материального, который находится в прямой зависимости от разнообразия, ибо никто не знает, какая линия развития может оказаться перспективной. Разумеется, нельзя быть уверенным, что сохранение свободы ценой отказа от каких-то сегодняшних преимуществ обязательно когда-нибудь окупится. Но главный довод в пользу свободы заключается в том, что мы должны всегда оставлять шанс для таких направлений развития, которые просто невозможно заранее предугадать. И этого принципа важно придерживаться, даже если нам кажется, что на определенном уровне развития знания принуждение обещает принести только очевидные преимущества, и даже если в какой-то момент оно действительно не приносит вреда.

В современных дискуссиях о техническом развитии прогресс часто трактуется таким образом, будто существует что-то вне нас находящееся, что заставляет по-новому использовать новые знания. Безусловно, различные изобретения значительно увеличили мощь нашей цивилизации, но было бы безумием использовать эти силы для разрушения ее величайшего достижения — свободы. И из этого со всей определенностью следует, что если мы хотим эту свободу

сберечь, мы должны охранять ее ревностно и быть всегда готовы к жертвам во имя свободы. Итак, нет ничего в современном техническом развитии, что толкало бы нас на путь экономического планирования, но в то же время в нем есть много такого, что делает появление высшей планирующей инстанции чрезвычайно опасным.

Теперь, когда мы вполне убедились, что движение к плановой экономике не вызвано какой-либо необходимостью, а является следствием сознательного интеллектуального выбора каких-то людей, стоит задуматься, почему среди сторонников планирования находится столько технических специалистов. Объяснение этого явления связано с важным обстоятельством, которое надо всегда иметь в виду, когда критикуешь планирование. Дело в том, что всякий технический замысел или идеал может быть воплощен в сравнительно короткое время, если на это будут направлены все силы человечества. На свете есть множество вещей, желанных для нас и даже возможных, но мы вряд ли вправе рассчитывать достичь всего в течение одной жизни. Поэтому лишь профессиональные амбиции технического специалиста заставляют его восставать против существующего порядка. Всем нам трудно мириться с незавершенными делами, особенно если направляющая их цель является и полезной, и достижимой. И то, что нельзя сделать все дела одновременно, что одно достижение дается ценой многих других, — это можно увидеть, только приняв во внимание факторы, которые сознание специалиста просто не принимает. Здесь требуется иное усилие мысли, и весьма мучительное, ибо мы должны увидеть вещи, на которые направлены наши труды, в широком контексте, позволяющем соотносить их с другими вещами, совершенно не интересующими нас в данный момент.

Каждая цель, достижение которой возможно на пути планирования, рождает множество энтузиастов, убежденных, что им удастся внедрить в сознание будущего руководства планового общества ощущение ценности именно этой цели. И надежды некоторых из них, несомненно, сбудутся, так как плановое общество станет продвигаться к каким-то целям, причем более энергично, чем это делает нынешнее. Было бы глупо отрицать, что в известных нам странах с плановой или частично планируемой экономикой население обеспечено некоторыми вещами только благодаря планированию. Часто приводят в пример великолепные автострады Германии и Италии, хотя они являются продуктом такого планирования, которое осуществимо и в либеральном обществе. Приводить

достижения в отдельных областях для доказательства общих преимуществ плановой экономики тоже достаточно глупо. Вернее было бы сказать, что технические достижения, если они выбиваются из общей, весьма скромной картины развития, являются как раз свидетельством неправильного использования ресурсов. Всякий, кто, путешествуя по знаменитым немецким автострадам, обнаружил, что движение на них меньше, чем на иных второстепенных дорогах Англии, наверняка согласится, что с точки зрения задач мирного времени строительство этих магистралей не имело смысла. Не будем судить, насколько планирующие инстанции действовали при этом в интересах «пушек», а насколько — в интересах «масла», но по нашим меркам оснований для энтузиазма здесь мало[5].

Иллюзия специалистов, что плановое общество будет уделять больше сил достижению целей, которые его волнуют, — явление, допускающее и более широкое истолкование. Ведь все мы в чем-то заинтересованы, что-то предпочитаем и в этом смысле подобны специалисту. И мы наивно думаем, что наша личная иерархия ценностей имеет значение не только для нас и что в свободной дискуссии с разумными людьми мы сможем убедить их в справедливости наших воззрений. Будь то любитель сельских пейзажей, ратующий за сохранение их в первозданной чистоте и за устранение из них всех следов, оставленных промышленностью, или ревнитель здорового образа жизни, считающий необходимым разрушить все эти живописные, но абсолютно антисанитарные сельские домики, или автомобилист, мечтающий, чтобы вся страна была покрыта сетью больших и удобных автострад, будь то фанатик повышения производительности труда, призывающий к специализации и механизации всего и вся, или идеалист, считающий, что во имя развития личности надо сохранить как можно больше независимых ремесленников, — все они твердо знают, что их цель может быть достигнута только с помощью планирования. И все они поэтому призывают к планированию. Однако нет никаких сомнений, что социальное планирование лишь обнаружит противоречия, существующие между их целями.

Современное движение в защиту планирования обязано своей силой тому, что, пока планирование остается мечтой, оно привлекает толпы идеалистов — всех, кто готов положить свою

5 Когда я уже читал корректуру этой книги, пришло известие, что работы по обслуживанию автомагистралей в Германии временно приостановлены!

жизнь на осуществление какой-то заветной цели. Надежды, которые они возлагают на планирование, — результат очень узкого понимания общественной жизни, воспринимаемой ими сквозь призму своих идеалов. Это не уменьшает ценности таких людей в свободном обществе вроде нашего, где они вызывают справедливое восхищение. Но именно те, кто больше всех призывает к планированию, станут самыми опасными, если им это разрешить. И самыми нетерпимыми к попыткам других людей осуществлять планирование. Потому что от праведного идеалиста до фанатика — всего один шаг. И хотя больше всех к планированию призывают сегодня неудовлетворенные специалисты, трудно представить себе более невыносимый (и более иррациональный) мир, чем тот, где крупнейшим специалистам в различных областях позволено беспрепятственно осуществлять свои идеалы. И что бы ни говорили некоторые сторонники планирования, никакая «координация» не сможет стать новой областью специализации. Экономисты лучше всех понимают, что они не обладают знаниями, необходимыми для «координатора», ибо их метод — это координация, не требующая диктатуры. Она предполагает свободу безличных и зачастую непостижимых усилий индивидов, которые вызывают протест специалистов.

V. Планирование и демократия

> Государственный деятель, пытающийся указывать частным лицам, как им распорядиться своими капиталами, не только привлек бы к себе совершенно ненужное внимание; он присвоил бы полномочия, которые небезопасны в руках любого совета и сената, но всего опасней в руках человека настолько безрассудного и самонадеянного, чтобы считать себя пригодным для осуществления этих полномочий.
> *Адам Смит*

Общая черта коллективистских систем может быть описана, выражаясь языком, принятым у специалистов всех школ, как сознательная организация производительных сил общества для выполнения определенной общественной задачи. Одной из основных претензий социалистических критиков нашей общественной системы было и остается то, что общественное производство не направляется «сознательно» избранной единой целью, а ставится в зависимость от капризов и настроений безответственных индивидов.

Сказав так, мы ясно и недвусмысленно определяем основную проблему. Одновременно мы выявляем ту точку, в которой возникает конфликтная ситуация между индивидуальной свободой и коллективизмом. Различные виды коллективизма, коммунизма, фашизма и пр. расходятся в определении природы той единой цели, к которой должны направляться все усилия общества. Но все они расходятся с либерализмом и индивидуализмом в том, что стремятся организовать общество в целом и все его ресурсы в подчинении одной конечной цели и отказываются признавать какие бы то ни было сферы автономии, в которых индивид и его воля являются конечной ценностью. Короче говоря, они тоталитарны в самом подлинном смысле этого нового слова, которое мы приняли для обозначения неожиданных, но тем не менее неизбежных проявлений того, что в теории называется коллективизмом.

«Социальные цели», «общественные задачи», определяющие направление общественного строительства, принято расплывчато именовать «общественным благом», «всеобщим благосостоянием»,

«общим интересом». Легко видеть, что все эти понятия не содержат ни необходимого, ни достаточного обозначения конкретного образа действий. Благосостояние и счастье миллионов не могут определяться по единой шкале «больше – меньше». Благоденствие народа, так же как и счастье одного человека, зависит от множества причин, которые слагаются в бесчисленное множество комбинаций. Его нельзя адекватно представить как единую цель: разве что как иерархию целей, всеобъемлющую шкалу ценностей, в которой всякий человек сможет найти место каждой своей потребности. Выстраивая всю нашу деятельность по единому плану, мы приходим к необходимости ранжировать все наши потребности и свести их в систему ценностей настолько полную, чтобы она одна давала основание для выбора. Это предполагало бы существование полного этического кодекса, в котором были бы представлены и должным образом упорядочены все человеческие ценности.

Само понятие «полного этического кодекса» нам незнакомо, и чтобы уяснить его содержание, требуется напрячь воображение. У нас нет привычки оценивать моральные кодексы с точки зрения их большей или меньшей полноты. В жизни мы постоянно и привычно совершаем ценностный выбор, и никакой социальный кодекс не указывает нам критерии такого выбора; мы не задумываемся о том, что наш моральный кодекс «неполон». Нет такой причины и нет такого обстоятельства, которые заставили бы людей в нашем обществе выработать общий подход к совершенствованию такого рода выбора. Однако там, где все средства являются собственностью общества, где ими можно пользоваться только во имя общества и в соответствии с единым планом, «общественный подход» начинает доминировать в ситуации принятия решения. В том мире мы бы очень скоро обнаружили, что наш моральный кодекс пестрит пробелами.

Нас здесь не интересует вопрос, желательно ли существование такого полного этического кодекса. Можно ограничиться указанием на то, что до сегодняшнего дня развитие цивилизации сопровождалось последовательным сокращением областей деятельности, в которых действия индивида ограничивались бы фиксированными правилами. Количество же правил, из которых состоит наш моральный кодекс, последовательно сокращалось, а содержание их принимало все более обобщенный характер. От сложнейших ритуалов и бесчисленных табу, которые связывали и ограничивали повседневное поведение первобытного человека, от

невозможности самой мысли, что можно делать что-то не так, как твои сородичи, мы пришли к морали, в рамках которой индивид может действовать по своему усмотрению. Приняв общий этический кодекс, соответствующий по масштабу единому экономическому плану, мы изменили бы этой тенденции.

Необходимо отметить, что полного этического кодекса и не существует. Попытка выстроить всю экономическую деятельность общества по единому плану породит много вопросов, ответы на которые могут отыскаться только в сфере морали, но существующая мораль на них ответов не дает и готовых решений не предлагает. Определенного мнения по этим вопросам у нас нет, суждения случайны и противоречивы. В том свободном обществе, в котором мы жили до сих пор, у нас не было случая задуматься над ними, прийти к общему мнению на их счет.

Итак, всеобъемлющей шкалой ценностей мы не располагаем; более того, ни один ум не был в состоянии охватить все бесчисленное разнообразие человеческих нужд, соревнующихся из-за источников удовлетворения потребностей, определить вес каждой из них на общей шкале. Для нас несущественно, стремится человек к достижению цели для удовлетворения личной потребности, бьется за благо ближнего или воюет за счастье многих, т.е. нам не интересно, альтруист он или эгоист. Но вот неспособность человека охватить больше, чем доступное ему поле деятельности, неспособность одновременно принимать во внимание неограниченное количество необходимостей — вот что важно, вот что существенно для нашего дальнейшего рассуждения. Будут ли интересы одного человека сосредоточены на удовлетворении его физических потребностей, будет ли он принимать деятельное участие в благоустройстве каждого, кого знает, — та задача, которая поглотит все его внимание, будет лишь ничтожной частицей потребностей всех.

Это фундамент, и на нем строится вся философия индивидуализма. Мы не исходим из того, что человек по природе эгоистичен и себялюбив или должен стать таковым, что нам часто приписывают. Наше рассуждение отталкивается от того, что способности человеческого воображения, бесспорно, ограничены, что поэтому любая частная шкала ценностей является малой частицей во множестве всех потребностей общества и что, поскольку, грубо говоря, сама по себе шкала ценностей может существовать только в индивидуальном сознании, постольку она является ограниченной и неполной. В силу этого индивидуальные ценностные шкалы различны

и находятся в противоречии друг с другом. Отсюда индивидуалист делает вывод, что индивидам следует позволить в определенных пределах следовать скорее своим собственным склонностям и предпочтениям, нежели чьим-то еще, и что в этих пределах склонности индивида должны иметь определяющий вес и не подлежать чьему-либо суду. Именно это признание индивида верховным судьей его собственных намерений и убеждений, признание, что постольку, поскольку это возможно, деятельность индивида должна определяться его склонностями, и составляет существо индивидуалистической позиции.

Такая позиция не исключает, конечно, признания существования общественных целей или скорее наличия таких совпадений в нуждах индивидов, которые заставляют их объединять усилия для достижения одной цели. Но она сводит подобную коллективную деятельность к тем случаям, когда склонности индивидов совпадают; то, что мы называем «общественной целью», есть просто общая цель многих индивидов, или, иначе, такая цель, для достижения которой работают многие и достижение которой удовлетворяет их частные потребности. Коллективная деятельность ограничивается, таким образом, сферой действия общей цели. Часто случается, что общая цель не является собственно целью деятельности индивида, а представляет собой средство, которое разными индивидами используется для достижения разных целей.

Когда индивиды начинают трудиться сообща для достижения объединившей их цели, институты и организации, которые создаются ими по ходу дела, например государство, получают свою собственную систему целей и средств. При этом любая созданная организация становится неким «лицом» среди прочих «лиц» (в случае государства — более мощным, чем остальные) и для нее строго выделяется и ограничивается та область, в которой ее цели и задачи становятся определяющими. Ограничения в этой области зависят от того, насколько полного единодушия достигнут индивиды при обсуждении конкретных задач; при этом, естественно, чем шире сфера деятельности, тем меньше вероятность достижения подобного согласия. Некоторые функции государства встречают неизменно единодушную поддержку граждан; относительно других достигается согласие подавляющего большинства; и так далее, вплоть до таких сфер, где каждый человек, хотя и станет ожидать услуг от государства, будет иметь свое собственное мнение относительно их характера и содержания.

Мы можем доверять тому, что государство в своей деятельности направляется исключительно общественным согласием, лишь постольку, поскольку это согласие существует. Когда государство начинает осуществлять прямой контроль в той области, в которой не было достигнуто общественного соглашения, это приводит к подавлению индивидуальных свобод. Но этот случай не единственный. Нельзя, к сожалению, бесконечно расширять сферу общественной деятельности и не задеть при этом области индивидуальной свободы. Как только общественный сектор, в котором государство контролирует распределение средств и их использование, начинает превышать определенную пропорцию по отношению к целому, результат его деятельности начинает сказываться на всей системе. Пусть государство непосредственно регулирует только часть (хотя и бóльшую часть) ресурсов — результат принимаемых им решений сказывается на всей экономике в такой степени, что косвенно контроль задевает все. В Германии уже в 1928 году столичные и местные власти контролировали напрямую больше половины национального дохода (по тогдашним официальным данным, до 53%), а косвенно — всю экономическую жизнь нации, и так было не только вГермании. При таких обстоятельствах не остается индивидуальной в цели, достижение которой не ставилось бы в зависимость от деятельности государства, и «общественная шкала ценностей», направляющая и регулирующая деятельность государства, должна учитывать все индивидуальные нужды.

Если допустить мысль, что демократия прибегает к планированию, осуществление которого требует большего общественного согласия, чем есть на самом деле, нетрудно представить себе и последствия такого шага. Люди, к примеру, могли пойти на введение системы управляемой экономики, поскольку считали, что она приведет к материальному процветанию. В дискуссиях, предварявших введение этих мер, цель планирования могла определяться как «общественное благосостояние», и этим словом прикрывалось отсутствие действительного согласия и ясного представления о цели планирования. Согласие, таким образом, достигается только относительно использования механизма планирования. Однако это все еще механизм, пригодный только для достижения общественного блага «вообще»; сам вопрос о конкретном содержании деятельности возникнет, когда исполнительной власти понадобится перевести требование единого плана в термины конкретного планирования. Тут-то и выясняется, что

согласие по поводу желательности введения планирования не опиралось на согласие по поводу целей планирования и его возможных результатов. Но, согласившись планировать нашу экономику и не поняв, что мы получим в результате, мы уподобимся путешественникам, идущим, чтобы идти, — можно прийти в такое место, куда никто не собирался. Для планирования характерно, что оно создает такую ситуацию, в которой мы вынуждены достигать согласия по гораздо большему числу вопросов, нежели мы привыкли это делать; при плановой системе мы не можем свести весь объем деятельности только к тем сферам, где согласие уже достигнуто, но должны искать и достигать согласия в каждом частном случае, иначе вся вообще деятельность становится неосуществимой.

Единодушным волеизъявлением народ может потребовать от парламента подготовки всеобъемлющего экономического плана — к сожалению, ни народ, ни его представители в парламенте тем самым еще не обязываются прийти к согласию относительно конкретного конечного результата. Неспособность же представительных органов выполнять прямую волю избирателей с неизбежностью вызывает недовольство демократическими институтами. К парламентам начинают относиться как к бездеятельной «говорильне», считая, что они не могут в силу или неспособности, или некомпетентности исполнить прямую функцию, для которой были избраны. В народе начинает расти убеждение, что для создания системы эффективного планирования необходимо «отобрать власть» у политиков и отдать ее в руки экспертов — профессиональных чиновников или независимых специалистов.

Возникает трудность, хорошо известная социалистам. Уже более полувека назад Уэббы жаловались на «возрастающую неспособность палаты общин справляться со своей работой»[1]. Несколько позже это было с большей определенностью выражено профессором Ласки: «Всем известно, что нынешняя парламентская машина совершенно не годится для быстрого рассмотрения большого количества законопроектов. Это практически признает само правительство страны, проводя в жизнь мероприятия в области экономической и таможенной политики путем оптовой передачи законодательных полномочий, минуя этап подробного обсуждения в палате общин. Лейбористское правительство, как я полагаю, еще более расширит подобную практику. Оно ограничит деятель-

1 *Webb S., Webb B.* Industrial Democracy. [London; N.Y., 1920]. P. 800.

ность палаты общин двумя функциями, которые та сможет осуществлять: рассмотрением жалоб и обсуждением общих принципов, на которых основываются соответствующие мероприятия. Выдвигаемые законопроекты примут вид общих юридических формул, наделяющих широкими полномочиями соответствующие министерства и правительственные органы, а полномочия эти будут осуществляться с помощью правительственных декретов, одобренных монархом и не требующих рассмотрения в парламенте, принятию которых палата сможет при желании противодействовать путем постановки на голосование вотума недоверия правительству. Необходимость и ценность передачи законодательных полномочий недавно была подтверждена Комитетом Дономора, и расширение этой практики неизбежно, если мы не хотим разрушить процесс социалистических преобразований в обществе обычными помехами и препонами, чинимыми существующей парламентской процедурой».

И чтобы окончательно закрепить мысль, что социалистическое правительство не должно дать себя связать демократическими процедурами, профессор Ласки ставит в конце статьи вопрос: «Может ли лейбористское правительство в период перехода к социализму рисковать тем, что все начатые им мероприятия окажутся сведенными на „нет“ в результате следующих всеобщих выборов?» — и многозначительно оставляет его без ответа[2].

Важно правильно оценить причины этого признания неэффективности парламентской деятельности в управлении экономической жизнью страны. Ни отдельные представители, ни все парламентское учреждение в целом в этом не повинны — самой задаче, которую перед ними ставят, присуще внутреннее противоречие. Их задача не в том, чтобы действовать там, где они могут прийти

2 *Laski H.J.* Labour and the Constitution // The New Statesman and Nation. 1932. № 81 (New Series). P. 277. В книге, где проф. Ласки впоследствии развил свои идеи более подробно, его убежденность в том, что парламентской демократии нельзя позволить превратиться в препятствие на пути социализма, выражена еще более прямо: социалистическое правительством «возьмет в свои руки широкие полномочия и будет править с помощью декретов и распоряжений, имеющих силу закона», а также «приостановит действие классических процедурных правил, предусматривающих формы протеста или оспаривания действий правительства», и даже само «сохранение парламентской формы правления будет зависеть от получения им (т.е. лейбористским правительством) от консервативной партии гарантий того, что результаты его реформаторской деятельности не будут аннулированы в случае поражения на выборах» (*Laski H.J.* Democracy in Crisis. [Chapel Hill,] 1933)!

к согласию, а в том, чтобы достигать согласия по любому вопросу, осуществлять полное руководство ресурсами страны. Но такая задача не решается большинством голосов. При необходимости сделать выбор из числа ограниченных возможностей большинство может принять правильное решение; но неверно думать, что по каждому пункту должно быть принято решение большинством голосов. Если существует множество позитивных курсов, непонятно, почему большинство должно быть собрано одним из них. Каждый член законодательного органа может проголосовать в поддержку того или иного конкретного плана развития экономики и против бесплановое развития, однако большинство может предпочесть отсутствие какого бы то ни было плана тому набору альтернатив, который ему будет предложен.

С другой стороны, невозможно составить связный план путем голосования по пунктам. Демократическая процедура постатейного голосования и принятия поправок хороша в случае выработки обычного законодательства, в случае же обсуждения связного плана экономического развития она становится нонсенсом. Экономический план, дабы хоть оправдать свое название, должен исходить из единой концепции. Если бы парламент и выработал некую схему в результате поэтапного голосования, она никого бы не удовлетворила. Сложное целое, все части которого должны быть аккуратнейшим образом прилажены одна к другой, не создается путем компромисса между конфликтующими точками зрения. Создать таким образом экономический план еще труднее, чем организовать при помощи демократической процедуры военную кампанию. Стратегические соображения вынуждают нас оставить решение проблемы экспертам.

Разница в том, что генерал, ведущий кампанию, имеет перед собой ясную цель и может бросить на ее достижение все находящиеся в его распоряжении средства. У экономиста же ни цель не определена с такой ясностью, ни ресурсы не очерчены с полной определенностью. Генералу не приходится взвешивать и оценивать различные, не связанные друг с другом величины, он руководствуется единой ясной целью. Цели же экономического планирования и любой из его составляющих не могут быть оценены независимо от плана в целом. Составление экономического плана связано с выбором между конфликтующими, соперничающими задачами удовлетворения различных потребностей различных людей. Какие задачи вступают в конфликт, какими из них можно пожертвовать

для достижения других, короче, каковы те альтернативы, из которых нам предстоит выбирать, — это могут знать только те, кто знает все; только они, эксперты, имеют в конечном счете право решать, какой цели отдать предпочтение. Поэтому они неизбежно начинают навязывать свою шкалу приоритетов обществу, план развития которого составляют.

Возникающая проблема не всегда ясно осознается, и делегирование полномочий обычно оправдывают техническим характером самого задания. Но из этого вовсе не следует, что делегируется только прояснение технических деталей или что неспособность парламента понять именно технические детали послужила причиной передачи полномочий[3]. Внесение поправок в структуру гражданского законодательства — занятие не менее «техническое», отнюдь не менее ответственное по возможным своим последствиям, однако никто еще не предлагал передать законодательные полномочия экспертной комиссии. Причина здесь, видимо, в том, что в этой области законодательная деятельность не выходит за рамки общих правил, допускающих принятие решения

3 Поучительно в этой связи кратко рассмотреть правительственный документ, в котором в последние годы обсуждались эти вопросы. Еще тринадцать лет назад, т.е. до того, как Англия окончательно отказалась от экономического либерализма, процесс делегирования законодательных полномочий уже зашел так далеко, что было решено создать комитет, чтобы выяснить, «какие гарантии являются желательными или необходимыми для обеспечения верховной власти Закона». В своем докладе «Комитет Дономора» показал, что уже тогда парламент прибегал к «делегированию полномочий оптом и без разбора», но счел его (это было до того, как мы действительно заглянули в тоталитарную пропасть!) явлением неизбежным и относительно безобидным (Report of the Lord Chancellor's Committee on Minister's Powers. [London,] 1932). И действительно, передача полномочий как таковая не обязательно представляет опасность для свободы; интересно, почему она стала необходимой в таком масштабе. Среди причин, перечисленных в отчете, на первом месте стоит тот факт, что «парламент в наши дни принимает ежегодно столько законов» и «многие подробности носят настолько специальный характер, что не подходят для парламентского обсуждения». Но если все дело в этом, то непонятно, почему нельзя проработать технические подробности до, а не после принятия закона парламентом. Гораздо более важная причина того, почему во многих случаях «если бы парламент не прибегал к делегированию законодательных полномочий, то оказался бы не в состоянии принять именно такие и такое количество законодательных актов, сколько требует общественное мнение», наивно раскрыта следующей фразой: «Многие из законов столь сильно влияют на человеческую жизнь, что главное здесь — гибкость!» Что это означает, как не предоставление права принимать решения по своему усмотрению (так называемых «дискреционных полномочий»), т.е. власти, не ограниченной никакими закрепленными правом принципами, которая, по мнению парламента, не поддается ограничению твердыми и недвусмысленными правилами?

большинством голосов, в то время как в области руководства экономикой интересы, которые необходимо примирить, настолько расходятся, что демократическим путем достичь полного единодушия невозможно.

Необходимо признать, что главные возражения вызывает вовсе не делегирование законодательных полномочий. Бороться против этого означало бы бороться с симптомом, который может вызываться разными причинами, и упускать из виду саму причину. Пока делегированные полномочия — это полномочия устанавливать общие правила, такая практика возражений не вызывает; по вполне понятным причинам лучше, если общие правила устанавливают местные, а не центральные власти. Протест возникает тогда, когда к делегированию прибегают в случае невозможности рассмотреть данное дело в соответствии с общими правилами, когда оно требует тщательного рассмотрения и вынесения частного решения. В этом случае некая инстанция облекается полномочием принимать именем закона произвольные решения (обычно это квалифицируется как «решение по существу спора»).

Препоручение отдельных узкоспециальных задач специальным органам — частое явление, но оно же является и первым шагом на пути к тому, что демократия, опирающаяся на планирование, постепенно отказывается от своих завоеваний. Оно не устраняет тех причин, которые заставляют всех сторонников целостного планирования раздраженно говорить о «бессилии демократии». Передача отдельных полномочий частным инстанциям создает к тому же новое препятствие к разработке единого скоординированного плана. Даже если таким путем демократии удастся успешно спланировать каждый сектор экономической системы, перед ней тут же встанет задача интегрирования отдельных планов в единую систему. Множество отдельных планов не составляет единого целого; сами плановики должны бы признать, что это даже хуже отсутствия плана вообще. Но демократические законодательные органы долго еще будут колебаться, прежде чем сложат с себя право принимать решения по жизненно важным вопросам, и никто не сможет выработать единого плана, пока они не решатся на последний шаг. Однако признание необходимости планирования, с одной стороны, и неспособность демократического института выработать план — с другой, будут вызывать все более настоятельные требования дать правительству или отдельному лицу власть и право действовать на свою ответственность. Все шире распространя-

ется мнение, согласно которому, чтобы чего-то добиться, нужно развязать руки исполнительной власти, устранив бремя демократической процедуры.

Настоятельная потребность в экономической диктатуре — характерная черта развития общества в сторону планирования. Несколько лет назад один из наиболее проницательных исследователей Англии — Эли Халеви предположил: «Если сделать комбинированную фотографию лорда Юстаса Перси, сэра Освальда Мосли и сэра Стаффорда Криппса, то, как я полагаю, обнаружится одно общее для всех троих качество: окажется, что все они единодушно заявляют: „Мы живем среди экономического хаоса, и единственный выход из него — какой-то вид диктатуры“»[4]. Число влиятельных общественных деятелей, включение которых в «комбинированную фотографию» не изменило бы ее смысла ни на йоту, с тех пор значительно выросло.

В Германии еще до прихода к власти Гитлера эта тенденция проявилась значительно сильнее. Важно не забывать, что незадолго до 1933 года Германия пришла в такое состояние, когда диктатура ей казалась политически необходима. Тогда никто не сомневался, что демократия переживает полный распад и что даже такие искренние демократы, как Брюнинг, не более способны демократически управлять страной, чем Шлейхер или фон Папен. Гитлеру не нужно было убивать демократию — он воспользовался ее разложением и в критический момент заручился поддержкой тех, кому, несмотря на внушаемое им сильное отвращение, он казался единственной достаточно сильной личностью, способной восстановить порядок в стране.

Сторонники планирования стараются примирить нас с таким положением вещей, пытаясь доказать, что, пока демократия является политической силой в стране, ее ничто не одолеет. Например, Карл Манхейм пишет: «Плановое общество отличается от общества XX века только (sic!) в одном: в нем все больше и больше областей общественной жизни (а в конечном счете все и каждая из них) подвергаются контролю со стороны государства. Но если парламент своей верховной властью может сдерживать и контролировать вмешательство государства в нескольких областях, то он может сделать это и во многих... В демократическом государ-

4 *Halevy E.* Socialism and the Problems of Democratic Parlamentarism // International Affairs. [1934]. Vol. XIII. P. 501.

стве верховную власть можно безгранично усилить путем передачи полномочий, не отказываясь при этом от демократического контроля»[5].

Здесь упущено из виду одно существенное различие. Парламент может контролировать исполнение заданий там, где он определяет их содержание и направление, где он достиг уже согласия по поводу цели и препоручает только техническое исполнение. Но возникает противоположная ситуация, когда причиной передачи полномочий является отсутствие согласия по существу, когда органу, занимающемуся планированием, приходится рассматривать альтернативы, о существовании которых парламент едва осведомлен. В такой ситуации в лучшем случае представляется план, который нужно целиком принять либо целиком отвергнуть. Такой план наверняка вызовет много возражений; но, поскольку у большинства не будет под рукой альтернативного плана и поскольку те части плана, которые вызовут наибольшие нарекания, могут быть представлены как важнейшие части целого, возражения эти немногого будут стоить. Парламентскую дискуссию можно при этом сохранить как полезный предохранительный клапан и как удобный канал, по которому выдаются официальные ответы на запросы и жалобы. Парламент может предотвращать некоторые вопиющие злоупотребления, заниматься устранением частных недостатков. Но править он уже не может. Его роль в лучшем случае сводится к выбору лиц, которые облекаются практически абсолютной властью. Вся система принимает характер плебисцитарной диктатуры, при которой глава правительства время от времени подкрепляет свою позицию всенародным голосованием и при этом располагает достаточной властью, чтобы обеспечить себе желательный исход голосования.

Демократическое устройство требует, чтобы сознательный контроль осуществлялся только там, где достигнуто подлинное согласие, в остальном мы вынуждены полагаться на волю случая — такова плата за демократию. Но в обществе, построенном на центральном планировании, такой контроль нельзя поставить в зависимость от того, найдется ли большинство, готовое за него проголосовать. В таком обществе меньшинство будет навязывать народу свою волю, потому что меньшинство окажется самой многочисленной группой в обществе, способной достичь единодушия по каж-

5 *Mannheim K.* Man and Society in the Age of Reconstruction. [London,] 1940. P. 340.

дому вопросу. Демократические правительства успешно функционировали там, где их деятельность ограничивалась в соответствии с господствующими убеждениями теми областями общественной жизни, в которых мнение большинства проявлялось в процессе свободной дискуссии. Великое достоинство либерального мировоззрения состоит в том, что оно свело весь ряд вопросов, требующих единодушного решения, к одному, по которому уже наверняка можно было достичь согласия в обществе свободных людей. Теперь часто слышишь, что демократия не терпит «капитализма». Если «капитализм» значит существование системы свободной конкуренции, основанной на свободном владении частной собственностью, то следует хорошо уяснить, что только внутри подобной системы и возможна демократия. Если в обществе возобладают коллективистские настроения, демократии с неизбежностью приходит конец.

У нас не было намерения делать фетиш из демократии. Очень похоже на то, что наше поколение больше говорит и думает о демократии, чем о тех ценностях, которым она служит. К демократии неприложимо то, что лорд Актон сказал о свободе: что она «не средство достижения высших политических целей. Она сама по себе — высшая политическая цель. Она требуется не для хорошего управления государством, но в качестве гаранта, обеспечивающего нам право беспрепятственно стремиться к осуществлению высших идеалов общественной и частной жизни». Демократия по сути своей — средство, утилитарное приспособление для защиты социального мира и свободы личности. Как таковая, она ни безупречна, ни надежна сама по себе. Не следует забывать и того, что часто в истории расцвет культурной и духовной свободы приходится на периоды авторитарного правления, а не демократии и что правление однородного, догматичного большинства может сделать демократию более невыносимой, чем худшая из диктатур. Мы, однако, стремились доказать не то, что диктатура ведет к уничтожению свободы, а то, что планирование приводит к диктатуре, поскольку диктатура — идеальный инструмент насилия и принудительной идеологизации и с необходимостью возникает там, где проводится широкомасштабное планирование. Конфликт между демократией и планированием возникает оттого, что демократия препятствует ограничению свободы и становится таким образом главным камнем преткновения на пути развития плановой экономики. Однако если демократия откажется от своей роли гаранта личной свободы, она может спокойно сущест-

вовать и при тоталитарных режимах. Подлинная «диктатура пролетариата», демократическая по форме, осуществляя централизованное управление экономикой, подавляет и истребляет личные свободы не менее эффективно, чем худшие автократии.

Обращать внимание на то, что демократия находится под угрозой, стало модно, и в этом таится некоторая опасность. Отсюда происходит ошибочное и безосновательное убеждение, что, пока высшая власть в стране принадлежит воле большинства, это является верным средством от произвола. Противоположное утверждение было бы не менее ошибочно: вовсе не источник власти, а ее ограничение является надежным средством от произвола. Демократический контроль может помешать власти стать диктатурой, но для этого следует потрудиться. Если же демократия решает свои задачи при помощи власти, не ограниченной твердо установленными правилами, она неизбежно вырождается в деспотию.

VI. План и закон

Как подтвердили еще раз новейшие исследования по социологии права, принцип формального права, согласно которому решение по каждому делу должно приниматься в соответствии с общими рациональными предписаниями, предусматривающими минимальное количество исключений и позволяющими логически доказать, что данный случай подпадает под данное правило, — этот принцип применим только на либеральной, конкурентной стадии капитализма.
Карл Манхейм

Пожалуй, ничто не свидетельствует так ярко об особенностях жизни в свободных странах, отличающих их от стран с авторитарным режимом, как соблюдение великих принципов правозаконности. Если отбросить детали, это означает, что правительство ограничено в своих действиях заранее установленными гласными правилами, дающими возможность предвидеть с большой точностью, какие меры принуждения будут применять представители власти в той или иной ситуации. Исходя из этого индивид может уверенно планировать свои действия[1]. И хотя этот идеал полностью воплотить невозможно, ибо те, кто принимает законы, и те, кто их исполняет, — живые люди, которым свойственно ошибаться, но смысл принципа достаточно ясен: сфера, где органы исполнительной власти могут действовать по своему усмотрению, должна быть сведена к минимуму. Любой закон ограничивает в какой-то мере

1 По классическому определению А. Дайси, правозаконность — «это прежде всего абсолютный авторитет и главенство действующего законодательства, противопоставленные произвольным распоряжениям властей и исключающие не только произвол со стороны правительства, но и саму возможность действовать в каких-то ситуациях по своему усмотрению» (*Dicey A.V.* [Introduction to the study of] the law of the constitution / 8th ed. [London, 1927]. P. 198). В Англии этот термин приобрел ныне (в большей степени благодаря работе А. Дайси) более узкий и специальный смысл, который нас здесь интересовать не будет. Более широкое (и традиционное для Англии) значение понятия «правозаконность», или власти закона, выявилось в начале XIX века в Германии, когда там велись споры о природе правового государства.

индивидуальную свободу, сужая круг средств, которыми люди могут пользоваться для достижения своих целей. Но правозаконность ограничивает возможности правительства, не дает ему произвольно вмешиваться в действия индивидов, сводя на нет их усилия. Зная правила игры, индивид свободен в осуществлении своих личных целей и может быть уверен, что власти не будут ему в этом мешать.

Можно, таким образом, утверждать, что, противопоставляя систему постоянно действующих правил, в рамках которых индивиды принимают самостоятельные экономические решения, системе централизованного руководства экономикой сверху, мы обсуждали до сих пор частный случай, подпадающий под фундаментальное разграничение правозаконности и деспотического правления. Либо правительство ограничивается установлением правил использования имеющихся ресурсов, предоставляя индивидам решать вопрос о целях, либо оно руководит всеми экономическими процессами и берет на себя решение вопросов и о средствах производства, и о его конечных целях. В первом случае правила могут быть установлены заранее в виде формальных предписаний, никак не соотнесенных с интересами и целями конкретных людей. Их назначение — быть инструментом достижения индивидуальных целей. И они являются (по крайней мере, должны быть) долговременными, чтобы существовала уверенность, что одни люди не смогут использовать их с большей выгодой для себя, чем другие. Лучше всего определить их как особые орудия производства, позволяющие прогнозировать поведение тех, с кем приходится взаимодействовать предпринимателю, но ни в коем случае не как инструменты для достижения конкретных целей или удовлетворения частных потребностей.

Экономическое планирование коллективистского типа с необходимостью рождает нечто прямо противоположное. Планирующие органы не могут ограничиться созданием возможностей, которыми будут пользоваться по своему усмотрению какие-то неизвестные люди. Они не могут действовать в стабильной системе координат, задаваемой общими долговременными формальными правилами, не допускающими произвола. Ведь они должны заботиться об актуальных, постоянно меняющихся нуждах реальных людей, выбирать из них самые насущные, т.е. постоянно решать вопросы, на которые не могут ответить формальные принципы. Когда правительство должно определить, сколько выращивать свиней или сколько автобусов должно ездить по дорогам страны,

какие угольные шахты целесообразно оставить действующими или почем продавать в магазинах ботинки, — все такие решения нельзя вывести из формальных правил или принять раз и навсегда или на длительный период. Они неизбежно зависят от обстоятельств, меняющихся очень быстро. И, принимая такого рода решения, приходится все время иметь в виду сложный баланс интересов различных индивидов и групп. В конце концов кто-то находит основания, чтобы предпочесть одни интересы другим. Эти основания становятся частью законодательства. Так рождаются привилегии, возникает неравенство, навязанное правительственным аппаратом.

Обозначенное только что различие между формальным правом (или юстицией) и «постановлениями по существу дела», принимаемыми вне рамок процессуального права, является чрезвычайно важным и в то же время очень трудным в практическом применении. Между тем сам принцип довольно прост. Разница здесь такая же, как между правилами дорожного движения (или дорожными знаками) и распоряжениями, куда и по какой дороге людям ехать. Формальные правила сообщают людям заранее, какие действия предпримут власти в ситуации определенного типа. Они сформулированы в общем виде и не содержат указаний на конкретное время, место или на конкретных людей, а лишь описывают обстоятельства, в которых может оказаться в принципе каждый. И, попав в такие обстоятельства, каждый может найти их полезными с точки зрения своих личных целей. Знание, что при таких-то условиях государство будет действовать так-то или потребует от граждан определенного поведения, необходимо всякому, кто строит какие-то планы. Формальные правила имеют, таким образом, чисто инструментальный характер в том смысле, что их могут применять совершенно разные люди для совершенно различных целей и в обстоятельствах, которые нельзя заранее предусмотреть. И то, что мы действительно не знаем, каким будет результат их применения, какие люди найдут их полезными, заставляет нас формулировать их так, чтобы они были как можно более полезными для всех, как можно более универсальными. Это и есть самое важное свойство формальных правил. Они не связаны с выбором между конкретными целями или конкретными людьми, ибо мы заранее не знаем, кто будет их использовать.

В наш век с его страстью поставить все и вся под сознательный контроль может показаться парадоксальным утверждение,

провозглашающее достоинством системы то, что мы не будем ничего знать о последствиях ее действия. Действительно, в описанной ситуации нам не дано знать о конкретных результатах, к которым приведут меры, предпринятые правительством, и это выгодно отличает ее от других возможных систем. Мы подошли здесь к основам великого либерального принципа правозаконности. А кажущийся парадокс исчезнет, как только мы продвинемся в нашем рассуждении немного дальше.

Мы прибегнем к аргументам двоякого рода. Первый из них — экономический, и мы наметим его здесь лишь в самых общих чертах. Государство должно ограничиться разработкой общих правил, применимых в ситуациях определенного типа, предоставив индивидам свободу во всем, что связано с обстоятельствами места и времени, ибо только индивиды могут знать в полной мере эти обстоятельства и приспосабливать к ним свои действия. А чтобы индивиды могли сознательно строить планы, у них должна быть возможность предвидеть действия правительства, способные на эти планы влиять. Но коль скоро действия государства должны быть прогнозируемы, они неизбежно должны определяться правилами, сформулированными безотносительно к каким-либо непредсказуемым обстоятельствам. Если же государство стремится направлять действия индивидов, предусматривая их конечные результаты, его деятельность должна строиться с учетом всех наличествующих в данный момент обстоятельств и, следовательно, является непредсказуемой. Этим объясняется известный факт, что, чем больше государство «планирует», тем труднее становится планировать индивиду.

Второй аргумент — моральный или политический — имеет к обсуждаемой проблеме еще более непосредственное отношение. Если государство в самом деле предвидит последствия своих действий, это значит, что оно лишает права выбора тех, на кого эти действия направлены. Когда есть два пути, имеющие разные последствия для разных людей, то выбирает один из них — государство. Создавая новые возможности, равные для всех, мы не можем знать, как они будут реализованы: ситуация является принципиально открытой. Общие правила, т.е. подлинные законы, кардинально отличные от постановлений и распоряжений, должны, следовательно, создаваться так, чтобы они могли работать в неизвестных заранее обстоятельствах. А значит, и результаты их действия нельзя знать наперед. В этом, и только в этом смысле законодатель должен быть

беспристрастным. Быть беспристрастным означает не иметь ответов на вопросы, для решения которых надо подбрасывать монету. Поэтому в мире, где все заранее предсказано и известно, правительство всегда оказывается пристрастным.

Когда точно известно, какое действие на определенных людей окажет та или иная политика государства, когда правительство нацеливает свои меры на конкретные результаты, оно, конечно, знает все наперед и, следовательно, не может быть беспристрастным. Оно не может не принимать чью-либо сторону, навязывая всем гражданам свои оценки, и вместо того чтобы помогать им в достижении их собственных целей, заставляет их стремиться к целям, «спущенным сверху». Если в момент принятия закона известен его результат, такой закон уже не является инструментом, который свободный человек может использовать по своему усмотрению. Это инструмент, с помощью которого законодатель воздействует на людей, преследуя свои цели. И государство уже более не является в такой ситуации утилитарной машиной, призванной помогать индивидам в реализации их личных качеств и возможностей. Оно превращается в «моральный» институт не в том смысле, что мораль противопоставлена здесь чему-то аморальному, а просто оно навязывает людям свои суждения по моральным вопросам, могущие быть как моральными, так и в высшей степени аморальными. С этой точки зрения нацистское, как и всякое коллективистское, государство является моральным, а либеральное — нет.

Я предвижу возможное возражение, которое заключается в том, что экономист, осуществляющий планирование, будет опираться не на свои личные предрассудки, а на общие представления о разумном и справедливом. Такое мнение обычно находит поддержку у людей, имеющих опыт планирования на уровне отдельной отрасли, которые обнаружили, что найти решение, примиряющее различные интересы, не так уж трудно. Примеры эти, однако, ничего не доказывают. Дело в том, что «интересы», представленные в отдельной отрасли, — это совсем не то, что интересы общества в целом. Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть только один, но весьма типичный случай, когда капиталисты и рабочие одной отрасли ведут переговоры о политике рестрикций, грабительской по отношению к потребителю. В такой ситуации проблема получает обычно какое-нибудь простое решение, например «награбленное», т.е. дополнительный доход, делят в той же пропорции, что и прежние доходы. Но такое решение просто игнорирует интересы тысяч

и миллионов людей, которые реально терпят при этом убытки. Если мы хотим испытать на прочность принцип «справедливости» как орудие экономического планирования, надо попробовать применить его в такой ситуации, где налицо и прибыли, и потери. И тогда станет совершенно ясно, что никакой общий принцип, в том числе принцип «справедливости», проблемы не решает. В самом деле, поднять ли зарплату медицинским работникам или расширить круг услуг, оказываемых больным? Дать больше молока детям или улучшить условия сельским труженикам? Создать дополнительные рабочие места для безработных или повысить ставки уже работающим? Чтобы решать вопросы такого рода, надо иметь абсолютную и исчерпывающую систему ценностей, в которой любая потребность каждого человека или группы будет иметь свое четкое место.

Действительно, по мере того как планирование получает все большее распространение, количество ссылок на «разумность» и «справедливость» в законодательных актах неуклонно растет. Практически это означает, что возрастает число дел, решение которых оставлено на усмотрение судьи или какого-то органа власти. Сейчас уже настало время, когда можно приниматься писать историю упадка правозаконности и разрушения правового государства, основным содержанием которой будет проникновение такого рода расплывчатых формулировок в законодательные акты и в юриспруденцию, рост произвола, ненадежности суда и законодательства, а одновременно и неуважения к ним, ибо при таких обстоятельствах они не могут не стать политическими инструментами. В этой связи важно еще раз напомнить, что процесс перехода к тоталитарному планированию и разрушению правозаконности начался в Германии еще до прихода к власти Гитлера, который лишь довел до конца работу, начатую его предшественниками.

Нет никаких сомнений, что планирование неизбежно влечет сознательную дискриминацию, ибо, с одной стороны, оно поддерживает чьи-то устремления, а чьи-то подавляет, а с другой — позволяет кому-то делать то, что запрещено другим. Оно определяет законодательно, что могут иметь и делать те или иные индивиды и каким должно быть благосостояние конкретных людей. Практически это означает возврат к системе, где главную роль в жизни общества играет социальный статус, т.е. происходит поворот истории вспять, ибо, как гласит знаменитое изречение Генри Мейна, «развитие передовых обществ до сих пор всегда шло по пути от господства статуса к господству договора». Правозаконность в еще

большей степени, чем договор, может считаться противоположностью статусной системы. Потому что государство, в котором высшим авторитетом является формальное право и отсутствуют закрепленные законом привилегии для отдельных лиц, назначенных властями, гарантирует всеобщее равенство перед законом, являющее собой полную противоположность деспотическому правлению.

Из всего сказанного вытекает неизбежный, хотя на первый взгляд и парадоксальный, вывод: формальное равенство перед законом несовместимо с любыми действиями правительства, нацеленными на обеспечение материального равенства различных людей, и всякий политический курс, основанный на идее справедливого распределения, однозначно ведет к разрушению правозаконности. Ведь чтобы политика давала одинаковые результаты применительно к разным людям, с ними надо обходиться по-разному. Когда перед всеми гражданами открываются одинаковые объективные возможности, это не означает, что их субъективные шансы равны. Никто не будет отрицать, что правозаконность ведет к экономическому неравенству, однако она не содержит никаких замыслов или умыслов, обрекающих конкретных людей на то или иное положение. Характерно, что социалисты (и нацисты) всегда протестовали против «только» формального правосудия и возражали против законов, не содержащих указаний на то, каким должно быть благосостояние конкретных людей[2]. И они всегда призывали к «социализации закона», нападая на принцип независимости судей, и вместе с тем поддерживали такие направления юриспруденции, которые подобно «школе свободного права» подрывали основы правозаконности.

Можно утверждать, что с позиций правозаконности практика применения правила без всяких исключений является в определенном смысле более важной, чем содержание самого правила. Вновь обратимся к уже знакомому примеру: мы можем ездить и по левой, и по правой стороне дороги, это не имеет значения, существенно лишь то, что мы все делаем это одинаково. Данное правило позволяет нам предсказывать поведение других людей. А это возможно, если все выполняют его неукоснительно даже в тех случаях, когда оно может показаться несправедливым.

2 Поэтому нельзя сказать, что юридический теоретик нацизма Карл Шмитт совершенно не прав, противопоставляя либеральному правовому государству национал-социалистический идеал «справедливого государства». Правда, такая справедливость, противоположная формальному правосудию, неизбежно ведет к дискриминации.

Смешение принципов формального правосудия и равенства перед законом с принципами справедливости и принятия решений «по существу дела» часто приводит к неверной трактовке понятия «привилегии». Примером может служить приложение термина «привилегии» к собственности как таковой. Собственность была привилегией в прошлом, когда, например, земельная собственность могла принадлежать только дворянам. И она является привилегией в наше время, когда право производить или продавать определенные товары дается властями только определенным людям. Но называть привилегией всякую вообще частную собственность, которую по закону может получить каждый, и только потому, что кто-то преуспел в этом, а кто-то нет, — значит начисто лишать понятие «привилегии» смысла.

Отличительная особенность формальных законов — непредсказуемость конкретных результатов их действия — помогает прояснить еще одно заблуждение, которое состоит в том, что либеральное государство — это бездействующее государство. Вопрос, должно ли государство «действовать» или «вмешиваться», представляется бессмысленным, а термин «laissez-faire», как мне кажется, вводит в заблуждение, создавая неверное представление о принципах либеральной политики. Разумеется, всякое государство должно действовать, и всякое его действие является вмешательством во что-то. Действительная проблема состоит, однако, в том, может ли индивид предвидеть действия государства и уверенно строить свои планы, опираясь на это предвидение. Если это так, то государство не может контролировать конкретные пути использования созданного им аппарата, зато индивид точно знает, в каких пределах он защищен от посторонних вмешательств и в каких случаях государство может повлиять на осуществление его планов. Когда государство контролирует соблюдение стандартов мер и весов (или предотвращает мошенничество каким-то другим путем), оно, несомненно, действует. Когда же оно допускает насилие, например, со стороны забастовочных пикетов, оно бездействует. В первом случае оно соблюдает либеральные принципы, во втором — нет. Это относится к большинству постоянных установлений, имеющих общий характер, таких, как строительные нормы или правила техники безопасности: сами по себе они могут быть мудрыми или сомнительными, но, поскольку они являются постоянными и не ставят никого конкретно в привилегированное или в ущемленное положение, они не противоречат либеральным

принципам. Конечно, и такие законы могут иметь, кроме долговременных непредсказуемых последствий, также и непосредственные и вполне поддающиеся предвидению результаты, касающиеся конкретных людей. Но эти непосредственные результаты не являются (по крайней мере, не должны быть) для них главными ориентирами. Впрочем, когда предсказуемые последствия становятся важнее долговременных эффектов, мы приближаемся к той черте, у которой это различие, ясное в теории, на практике начинает стираться.

Концепция правозаконности сознательно разрабатывалась лишь в либеральную эпоху и стала одним из ее величайших достижений, послуживших не только щитом свободы, но и отлаженным юридическим механизмом ее реализации. Как сказал Иммануил Кант (а перед этим почти теми же словами Вольтер), «человек свободен, если он должен подчиняться не другому человеку, но закону». Проблески этой идеи встречаются по крайней мере еще со времен Древнего Рима, но за последние несколько столетий она еще ни разу не подвергалась такой опасности, как сейчас. Мнение, что власть законодателя безгранична, явившееся в какой-то степени результатом народовластия и демократического правления, укрепилось в силу убеждения, что правозаконности ничто не угрожает до тех пор, пока все действия государства санкционированы законом. Но такое понимание правозаконности совершенно неверно. Дело не в том, являются ли действия правительства законными в юридическом смысле. Они могут быть таковыми и все же противоречить принципам правозаконности. Тот факт, что кто-то действует на легальном основании, еще ничего не говорит о том, наделяет ли его закон правом действовать произвольно, или он предписывает строго определенный образ действий. Пусть Гитлер получил неограниченную власть строго конституционным путем, и, следовательно, все его действия являются легальными. Но решится ли кто-нибудь на этом основании утверждать, что в Германии до сих пор существует правозаконность?

Поэтому, когда мы говорим, что в плановом обществе нет места правозаконности, это не означает, что там отсутствуют законы или что действия правительства нелегальны. Речь идет только о том, что действия аппарата насилия, находящегося в руках у государства, никак не ограничены заранее установленными правилами. Закон может (а в условиях централизованного управления экономикой должен) санкционировать произвол. Если законодательно

установлено, что такой-то орган может действовать по своему усмотрению, то, какими бы ни были действия этого органа, они являются законными. Но не правозаконными. Наделяя правительство неограниченной властью, можно узаконить любой режим. Поэтому демократия способна привести к установлению самой жестокой диктатуры[3].

Если закон должен дать возможность властям управлять экономической жизнью, он должен наделить их полномочиями принимать и осуществлять решения в непредвиденных обстоятельствах, руководствуясь при этом причинами, которые нельзя сформулировать в общем виде. В результате по мере распространения планирования законодательные полномочия оказываются делегированы министерствам и другим органам исполнительной власти. Когда перед прошлой войной по делу, к которому недавно вновь привлек внимание ныне покойный лорд Хьюстон, судья Дарлинг заявил, что, «согласно прошлогоднему постановлению парламента министерство сельского хозяйства действует по своему усмотрению и его руководство не может быть привлечено к ответственности за свои действия, во всяком случае не больше, чем члены самого парламента», это заявление прозвучало тогда еще непривычно. Сегодня такие вещи происходят чуть ли не каждый день. Постоянно возникающие новые органы наделяются самыми широкими полномочиями и, не будучи связаны никакими четкими правилами, получают практически неограниченную власть в различных областях жизни.

Итак, принципы правозаконности накладывают определенные требования на характер самих законов. Они допускают общие правила, известные как формальное право, и исключают законы, прямо нацеленные на конкретные группы людей или позволяющие

3 Таким образом, вовсе не свобода и закон вступают в конфликт, как это считали в XIX веке. Уже Дж. Локк показал, что не может быть свободы без закона. Реальный конфликт — это противоречие между законами двух типов, настолько не похожими друг на друга, что не следовало бы для их обозначения употреблять один и тот же термин. К первому типу, соответствующему принципам правозаконности, относятся общие, заранее установленные «правила игры», позволяющие индивиду прогнозировать действия правительственных органов и знать наверняка, что позволено и что запрещено ему наряду с другими гражданами делать в тех или иных ситуациях. Ко второму типу относятся законодательно закрепленные полномочия властей действовать по своему усмотрению. Поэтому в условиях демократии, если она идет по пути разрешения конфликтов между различными интересами не по заранее установленным правилам, а «по существу спора», правозаконность может быть с легкостью уничтожена.

кому-то использовать для такой дискриминации государственный аппарат. Таким образом, закон регулирует вовсе не все, наоборот, он ограничивает область действия властей, однозначно описывая ситуации, в которых они могут и должны вмешиваться в деятельность индивидов. Поэтому возможны законодательные акты, нарушающие принципы правозаконности. Всякий, кто это отрицает, вынужден будет признать, что решение вопроса о наличии правозаконности в современной Германии, Италии или России определяется только тем, каким путем пришли к власти диктаторы — конституционным или неконституционным[4].

В некоторых странах основные принципы правозаконности сведены в Билль о правах или в Конституцию. В других они действуют просто в силу установившейся традиции. Это не так уж важно. Главное, что эти принципы, ограничивающие полномочия законодательной власти, какую бы форму они ни принимали, подразумевают признание неотъемлемых прав личности, прав человека.

Трогательным, но показательным примером неразберихи, к которой привела многих наших интеллектуалов вера в несовместимые идеалы, является пламенное выступление в защиту прав человека одного из ведущих сторонников централизованного планирования — Герберта Уэллса. Права личности, сохранить которые

4 Еще один пример, иллюстрирующий нарушение законодателями принципов правозаконности, — это известная в английской истории практика парламентского осуждения, — объявление человека вне закона за особо важные преступления. В уголовном праве принцип правозаконности выражен латинской фразой: nulla poena sine lege — не может быть наказания без закона, предусматривающего это наказание. Суть его заключается в том, что закон должен существовать в виде общего правила, принятого до возникновения случая, к которому он применим. Никто не станет утверждать, что Ричард Роуз, повар епископа Рочестерского, «сваренный заживо и без исповеди» по постановлению парламента в царствование Генриха VIII, был казнен в соответствии с принципами правозаконности. Однако ныне во всех либеральных странах правозаконность стала основой уголовного делопроизводства. Но в странах с тоталитарным устройством приведенная латинская фраза звучит, по меткому выражению Э.Б. Эштона, несколько иначе: nullum crimen sine poena — ни одно преступление не должно быть оставлено без наказания независимо от того, предусмотрено ли это законом. «Права государства не ограничиваются наказанием тех, кто преступил закон. Общество, защищающее свои интересы, имеет право на любые меры, и соблюдение закона является лишь одним из требований к его гражданам» (*Ashton E.B.* [*Basch E.*] The Fascist: His State and Mind. [N.Y.,] 1937. P. 119). А уж каковы «интересы общества» — это, конечно, решают власти.

призывает г-н Уэллс, будут неизбежно противоречить планированию, которого он вместе с тем так жаждет. В какой-то степени он, по-видимому, сознает эту дилемму, ибо положения созданной им «Декларации Прав Человека» пестрят оговорками, уничтожающими их смысл. Так, провозглашая право каждого человека «продавать и покупать без всяких ограничений все, что не запрещено продавать и покупать по закону», он тут же сводит на нет это замечательное заявление, добавляя, что оно касается купли и продажи «в таких количествах и на таких условиях, которые совместимы с общим благосостоянием». Если учесть, что все ограничения, когда-либо налагавшиеся на куплю и продажу, мотивировались соображениями «общего благосостояния», становится ясно, что данный пункт не предотвращает никакого произвола властей и, следовательно, не защищает никаких прав личности.

Или возьмем другое положение «Декларации», в котором говорится, что каждый человек «может выбирать любую профессию, не запрещенную законом», и что «он имеет право на оплаченный труд и на свободный выбор любой открытой перед ним возможности работы». Здесь ничего не сказано о том, кто решает, открыта для конкретного человека данная возможность или нет, однако приводимое далее разъяснение, что «он может предложить свою кандидатуру для определенной работы и его заявление должно быть публично рассмотрено, принято или отклонено», показывает, что г-н Уэллс исходит из представления о каком-то авторитетном органе, решающем, имеет ли этот человек право на эту должность, что, конечно, никак не может быть названо «свободным выбором». Есть и другие вопросы, возникающие при чтении «Декларации». Как, например, обеспечить в планируемом мире «свободу путешествий и передвижений», когда под контролем находятся не только средства сообщения и обмен валюты, но и размещение промышленных предприятий? Или как гарантировать свободу печати, когда поставки бумаги и все каналы распространения изданий находятся в ведении планирующих органов? Но г-н Уэллс, как и другие сторонники планирования, оставляет их без ответа.

Гораздо последовательнее в этом отношении многочисленные реформаторы, критикующие с первых шагов социалистического движения «метафизическую» идею прав личности и утверждающие, что в рационально организованном мире у индивида не будет никаких прав, а только обязанности. Эта мысль завладела теперь умами наших так называемых «прогрессистов», и лучший

способ быть сегодня записанным в реакционеры — это протестовать против каких-либо мер на том основании, что они ущемляют права личности. Даже такой либеральный журнал, как Economist, несколько лет назад привел в пример не кого-нибудь, а французов, которые поняли, что «демократическое правительство должно всегда <sic> иметь в потенции полномочия не меньшие диктаторских, сохраняя при этом свой демократический и представительский характер. В административных вопросах, решаемых правительством, ни при каких обстоятельствах не существует черты, охраняющей права личности, которую нельзя было бы перейти. Нет предела власти, которую может и должно применять правительство, свободно избранное народом и открыто критикуемое оппозицией».

Это могло быть оправдано во время войны, когда определенные ограничения накладываются, разумеется, даже на свободную и открытую критику. Но в приведенной цитате ясно сказано: «всегда». Из этого можно сделать вывод, что Economist не считает это печальной необходимостью военного времени. Закрепление такой точки зрения в общественных институтах, очевидно, несовместимо с правозаконностью. Но именно к этому стремятся те, кто считает, что правительство должно руководить экономической жизнью.

Мы могли видеть на примере стран Центральной Европы, насколько бессмысленно формальное признание прав личности или прав национальных меньшинств в государстве, ступившем на путь контроля над экономической жизнью. Оказалось, что можно проводить безжалостную дискриминационную политику, направленную против национальных меньшинств, не нарушая буквы закона, охраняющего их права, и используя вполне легальные экономические средства. В данном случае экономическое угнетение облегчалось тем обстоятельством, что некоторые отрасли почти целиком находились в руках национальных меньшинств. Поэтому многие меры правительства, направленные, по видимости, против какой-то отрасли или общественной группы, преследовали в действительности цель угнетения национальных меньшинств. Применение невинного на первый взгляд принципа «правительственного контроля над развитием промышленности» обнаружило поистине безграничные возможности дискриминации и угнетения. Однако это был хороший урок для всех, кто хотел удостовериться, как выглядят в реальности политические последствия планирования.

VII. Экономический контроль и тоталитаризм

Контроль над производством материальных благ —
это контроль над самой человеческой жизнью.
Хилэри Бэллок

Большинство сторонников планирования, серьезно изучивших практические аспекты своей задачи, не сомневаются, что управление экономической жизнью осуществимо только на пути более или менее жесткой диктатуры. Чтобы руководить сложной системой взаимосвязанных действий многих людей, нужна, с одной стороны, постоянная группа экспертов, а с другой — некий главнокомандующий, не связанный никакими демократическими процедурами и наделенный всей полнотой ответственности и властью принимать решения. Это очевидные следствия идеи централизованного планирования, и ее сторонники вполне отдают себе в этом отчет, утешая нас тем, что речь идет «только» об экономике. Например, Стюарт Чейз, один из ведущих представителей этого направления, заявляет, что в плановом обществе «может существовать политическая демократия во всем, что не касается экономической жизни». Такого рода высказывания сопровождаются обычно заверениями, что, расставшись со свободой в сфере, которая не так уж важна, мы обретем гораздо большую свободу в сфере высших ценностей. На этом основании многие, для кого неприемлема мысль о политической диктатуре, призывают тем не менее к диктатуре в области экономики.

Такие доводы, взывающие к нашим лучшим побуждениям, привлекают зачастую самые блестящие умы. Если планирование в самом деле освободит нас от низменных материальных забот и, наведя порядок в повседневной жизни, откроет дорогу высоким чаяниям и размышлениям, то разве это не цель, достойная приложения сил? И действительно, когда бы экономическая деятельность касалась только низких сторон нашей жизни, нам стоило бы сделать все, чтобы от нее не зависеть, чтобы работу по удовлетворению наших материальных потребностей выполняли

какие-нибудь машины, оставляя на нашу долю размышления о смысле жизни.

Однако вера в то, что власть над экономической жизнью — это власть над вещами несущественными и, следовательно, не надо принимать близко к сердцу потерю свободы в этой области, увы, не имеет под собой оснований. Ибо она вырастает из ошибочного представления, что есть какие-то чисто экономические задачи, изолированные от других жизненных задач. Но за исключением, быть может, случаев патологической скупости и стяжательства, таких задач просто не бывает. Конечные цели деятельности разумных существ всегда лежат вне экономической сферы. Строго говоря, нет никаких «экономических мотивов», ибо экономика — это только совокупность факторов, влияющих на наше продвижение к иным целям. А то, что именуется «экономическими мотивами», в обыденной речи означает лишь стремление к обретению потенциальных возможностей, средств для достижения каких-то еще не определившихся целей[1]. И если мы хотим заработать деньги, то только потому, что они дают нам свободу выбирать, какими будут плоды наших трудов. В современном обществе основной формой ограничения возможностей человека является ограниченность его доходов. Поэтому многие ненавидят деньги, усматривая в них символ этих ограничений, налагаемых нашей относительной бедностью. Но причина при этом смешивается со следствием. Было бы правильнее видеть в деньгах величайший из когда-либо изобретенных человеком инструментов свободы. Именно деньги открывают теперь перед бедными гораздо большие возможности, чем несколько поколений назад были открыты перед богатыми. Чтобы лучше понять значение денег, надо представить, что произойдет в действительности, если, как предлагают многие социалисты, на смену «экономическим мотивам» придут «внеэкономические стимулы». Когда вместо денежного вознаграждения люди будут получать общественные отличия, привилегии или влиятельные должности, лучшее жилье или пищу, возможности для путешествий или для получения образования, это будет означать, что они полностью лишатся свободы выбора. А те, кто станет все это распределять, будут принимать решения не только о размерах, но и о форме вознаграждения.

1 *Robbins L.* The Economic Causes of War. [London,] 1939. Appendix.

Если мы признаем, что не существует никаких особых экономических мотивов и что экономический успех или неудача оставляют нам свободу выбирать, что именно мы выиграли или потеряли, нам будет легче увидеть зерно истины в распространенном убеждении, что экономические проблемы связаны лишь с второстепенными жизненными задачами, и понять, почему, «чисто» экономические вопросы вызывают обычно пренебрежение. В каком-то смысле это пренебрежение оправдано, но только для свободной рыночной экономики. Пока мы вправе распоряжаться своими доходами и своим имуществом, экономическая неудача может заставить нас расстаться только с теми намерениями, которые мы считаем наименее важными. Поэтому «чисто» экономическая потеря отражается на наших второстепенных нуждах. Вот когда, теряя что-то важное, мы не можем выразить понесенный нами ущерб в экономических терминах и говорим, что вещь, которую мы потеряли, бесценна, тогда мы должны принять потерю такой, какая она есть. То же самое относится к экономическому выигрышу. Иными словами, колебания нашей экономической ситуации затрагивают лишь очень небольшую, «маргинальную» часть наших потребностей. Есть много вещей гораздо более важных, чем те, на которые влияют наши экономические успехи или неудачи, — вещей, которые мы ценим больше, чем экономический комфорт или даже предметы первой необходимости. В сравнении с ними «презренный металл» и наше экономическое благополучие представляются не слишком существенными. Это и заставляет многих людей думать, что планирование, затрагивающее только экономическую сторону дела, не может угрожать фундаментальным жизненным ценностям.

Но такое заключение ошибочно. Экономические ценности только потому не имеют для нас большого значения, что, решая экономические вопросы, мы имеем возможность выбирать, что для нас важно, а что — нет. Иначе говоря, потому, что в нашем обществе мы сами, лично решаем свои экономические проблемы. Если же наши экономические действия окажутся под контролем, то мы не сможем сделать и шага, не заявляя о своих намерениях и целях. Но, заявив о намерениях, надо еще доказать их правомерность, чтобы получить санкцию у властей. Таким образом, под контролем оказывается вся наша жизнь.

Поэтому проблема экономического планирования не ограничивается только вопросом, сможем ли мы удовлетворить свои потребности так, как мы этого хотим. Речь идет о том, будем ли мы сами решать, что для нас важно, или это будут решать за нас плани-

рующие инстанции. Планирование затронет не только те наши маргинальные нужды, которые мы обычно имеем в виду, говоря о «чистой» экономике. Дело в том, что нам как индивидам не будет позволено судить, что является для нас второстепенным.

Власти, управляющие экономической деятельностью, будут контролировать отнюдь не только материальные стороны жизни. В их ведении окажется распределение лимитированных средств, необходимых для достижения любых наших целей. И кем бы ни был этот верховный контролер, распоряжаясь средствами, он должен будет решать, какие цели достойны осуществления, а какие — нет. В этом и состоит суть проблемы. Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать и цели. Монопольное распределение средств заставит планирующие инстанции решать и вопрос о ценностях, устанавливать, какие из них являются более высокими, а какие — более низкими, а в конечном счете — определять, какие убеждения люди должны исповедовать и к чему они должны стремиться. Идея централизованного планирования заключается в том, что не человек, но общество решает экономические проблемы и, следовательно, общество (точнее, его представители) судит об относительной ценности тех или иных целей.

Так называемая экономическая свобода, которую обещают нам сторонники планирования, как раз и означает, что мы будем избавлены от тяжкой обязанности решать наши собственные экономические проблемы, а заодно и от связанной с ними проблемы выбора. Выбор будут делать за нас другие. И поскольку в современных условиях мы буквально во всем зависим от средств, производимых другими людьми, экономическое планирование будет охватывать практически все сферы нашей жизни. Вряд ли найдется что-нибудь — начиная от наших элементарных нужд и кончая нашими семейными и дружескими отношениями, от того, чем мы занимаемся на работе, до того, чем занимаемся в свободное время, — что не окажется так или иначе под недремлющим оком «сознательного контроля»[2].

---

2 То, что экономический контроль распространяется на все сферы жизни, хорошо видно на примере операций с иностранной валютой. На первый взгляд государственный контроль за обменом валюты никак не затрагивает личную жизнь граждан, и для большинства из них безразлично, существует он или нет. Однако опыт большинства европейских стран показал мыслящим людям, что введение такого контроля является решающим шагом на пути к тоталитаризму и подавлению свободы личности. Фактически эта мера означает полное подчинение индивида

Власть планирующих органов над нашей частной жизнью не будет ослаблена, если они откажутся от прямого контроля за нашим потреблением. Возможно, в плановом обществе и будут разработаны какие-то нормы потребления продуктов питания и промышленных товаров, но в принципе контроль над ситуацией определяется не этими мерами, и можно будет предоставить гражданам формальное право тратить свои доходы по своему усмотрению. Реальным источником власти государства над потребителем является его контроль над производственной сферой.

Свобода выбора в конкурентном обществе основана на том, что если кто-то отказывается удовлетворить наши запросы, мы можем обратиться к другому. Но, сталкиваясь с монополией, мы оказываемся в ее полной власти. А орган, управляющий всей экономикой, будет самым крупным монополистом, которого только можно себе представить. И хотя мы, вероятно, не должны бояться, что этот орган будет использовать свою власть так же, как и монополист-частник, т.е. задача получения максимальной финансовой прибыли не будет для него основной, все же он будет наделен абсолютным правом решать, что мы сможем получать и на каких условиях. Он будет не только решать, какие товары и услуги станут доступными для нас и в каком количестве, но будет также осуществлять распределение материальных благ между регионами и социальными группами, имея полную власть для проведения любой дискриминационной политики. И если вспомнить, почему большинство людей поддерживают планирование, то станет ясно, что эта власть будет использована для достижения определенных целей, одобряемых руководством, и пресечения всех иных устремлений, им не одобряемых.

Контроль над производством и ценами дает поистине безграничную власть. В конкурентном обществе цена, которую мы платим за вещь, зависит от сложного баланса, учитывающего множество других вещей и потребностей. Эта цена никем сознательно не устанавливается. И если какой-то путь удовлетворения наших потребностей оказывается нам не по карману, мы вправе испробовать другие пути. Препятствия, которые нам приходится при этом

тирании государства, пресечение всякой возможности бегства — как для богатых, так и для бедных. Когда людей лишают возможности свободно путешествовать, покупать иностранные журналы и книги, когда контакты с заграницей могут осуществляться только по инициативе или с одобрения официальных инстанций, общественное мнение оказывается под гораздо более жестким контролем, чем это было при любом абсолютистском режиме XVII или XVIII века.

преодолевать, возникают не потому, что кто-то не одобряет наших намерений, а потому только, что вещь, необходимая нам в данный момент, нужна где-то кому-то еще. В обществе с управляемой экономикой, где власти осуществляют надзор за целями граждан, они, очевидно, будут поддерживать одни намерения и препятствовать осуществлению других. И то, что мы сможем получить, будет зависеть не от наших желаний, а от чьих-то представлений о том, какими они должны быть. И поскольку власти смогут пресекать любые попытки уклониться от директивного курса в производственной сфере, они смогут контролировать и наше потребление так, будто мы тратим наши доходы не свободно, а по разнарядке.

Но власти будут руководить нами не только и не столько как потребителями. В еще большей степени это будет касаться нас как производителей. Два этих аспекта нашей жизни нераздельны. И поскольку большинство людей проводят значительную часть времени на работе, а место работы и профессия нередко определяют, где мы живем и с кем общаемся, то свобода в выборе работы часто оказывается более существенной для нашего ощущения благополучия, чем даже свобода тратить наши доходы в часы досуга.

Конечно, даже в лучшем из миров эта свобода будет существенно ограничена. Лишь очень немногие могут считать себя действительно свободными в выборе занятий. Важно, однако, чтобы у нас был хоть какой-то выбор, чтобы мы не были привязаны к конкретному месту работы, которого мы не выбирали или выбрали в прошлом, но теперь хотим от него отказаться; а если нас влечет другая работа, у нас должна быть возможность, пусть ценой какой-то жертвы, попробовать приложить свои силы в другом месте. Ничто в такой мере не делает условия невыносимыми, как уверенность, что мы не можем их изменить. И даже если нам никогда недостает смелости принести жертву, сознание, что мы могли бы изменить свою жизнь такой ценой, облегчало бы наше положение.

Я не хочу сказать, что в этом отношении мы достигли в нашем обществе совершенства или что дела обстояли лучше в прошлом, когда принципы либерализма соблюдались более последовательно. Надо еще многое сделать, чтобы перед людьми открылись действительно широкие возможности выбора. И у нас, как и всюду, в этом могло бы существенно помочь государство, организуя распространение информации и знаний, способствуя повышению мобильности населения. Но такие меры прямо противоположны пла-

нированию. Большинство сторонников планирования обещают, что в обществе нового типа свобода выбора занятий будет сохранена на нынешнем уровне и даже расширена. Но вряд ли они смогут выполнить это обещание. Планирование не может не ставить под контроль приток рабочей силы в те или иные отрасли, либо условия оплаты труда, либо и то и другое. Во всех известных случаях планирования эти ограничительные меры были в числе первоочередных. И если единый планирующий орган будет действовать таким образом по отношению к различным отраслям, легко представить, что останется от обещанной «свободы выбора занятий». Свобода эта станет чистой фикцией, декларативным обещанием не проводить дискриминацион- ной политики там, где она предполагается по существу дела и где можно только надеяться, что отбор будет производиться на основе критериев, которые власти сочтут объективными.

Результат будет по существу тот же, если планирующие органы пойдут по пути выработки твердых условий оплаты труда и будут пытаться регулировать число работников, изменяя эти условия. Уровень заработной платы станет тогда не менее эффективным препятствием для выбора многих профессий, чем прямой их запрет. В конкурентном обществе некрасивая девушка, мечтающая стать продавщицей, или слабый здоровьем юноша, стремящийся получить работу, требующую физической закалки, как и вообще люди, на первый взгляд не очень способные или не совсем подходящие для каких-то занятий, все же имеют шанс осуществить свои намерения: начиная часто с незаметной и малооплачиваемой должности, они постепенно выдвигаются благодаря своим скрытым достоинствам. Но когда власти устанавливают для какой-то категории работников единый уровень заработной платы, а отбор производится по формальным, анкетным данным, стремление человека именно к этой работе не играет никакой роли. Человек с необычной характеристикой или с необычным характером не может устроиться на работу, даже если работодатель лично готов его взять.

Например, тот, кто предпочитает ежедневной рутине ненормированный рабочий день и, может быть, нерегулярный заработок, не имеет в такой ситуации никаких шансов. Условия всюду будут созданы одни и те же, как в любой большой организации, и даже хуже, поскольку некуда будет уйти. И мы не будем иметь возможности проявлять на работе инициативу или смекалку, потому что наша деятельность должна будет соответствовать стандартам, облегчающим задачи властей. Ведь чтобы справиться с таким гран-

диозным делом, как планирование экономической жизни, власти должны будут свести все многообразие человеческих способностей и склонностей к нескольким простым категориям, обеспечивающим взаимозаменяемость кадров, сознательно игнорируя все тонкие личностные различия.

И хотя будет торжественно заявлено, что главная цель планирования — превратить человека из средства в цель, но, поскольку в процессе планирования в принципе невозможно учитывать склонности индивидов, конкретный человек более чем когда-либо будет выступать как средство, используемое властями для служения таким отвлеченным целям, как «всеобщее благо» или «общественное благосостояние».

В конкурентном обществе можно купить все (или почти все), заплатив определенную цену, иногда непомерно высокую. Значение этого факта трудно переоценить. Чем же нам предлагают это заменить? Нет, отнюдь не полной свободой выбора, а распоряжениями и запретами, которым нельзя не повиноваться, в лучшем случае — благосклонностью и поддержкой власть имущих.

Но какая путаница понятий должна царить в сознании, чтобы утверждать, как это делают сегодня многие, что возможность покупать все за определенную цену является пороком конкурентного общества. Если люди, протестующие против смешения высших жизненных ценностей с низменными экономическими вопросами, действительно считают, что нам нельзя позволить приносить материальные жертвы для сохранения высших ценностей или что такой выбор должен делать за нас кто-то другой, — это мнение, прямо скажем, несовместимо с представлениями о достоинстве личности. То, что жизнь и здоровье, добродетель и красоту, честь и совесть можно сохранить, зачастую лишь жертвуя материальным благополучием, — факт столь же непреложный, как и то, что все мы порой оказываемся не готовыми пойти на такую жертву.

Возьмем только один пример: мы могли бы, без сомнения, свести к нулю число автомобильных катастроф ценой каких-то материальных лишений, например полного отказа от автомобилей. И так во всем: мы постоянно рискуем и жизнью, и здоровьем, и духовными достоинствами — своими и наших близких, — чтобы поддерживать то, что мы презрительно называем материальным комфортом. Иначе и быть не может, поскольку наши средства не безграничны и мы должны выбирать, на достижение каких целей

их направить. И мы бы стремились к одним только высшим ценностям, если бы у нас не было этой возможности выбора.

Понятно, что во многих ситуациях люди хотят быть избавлены от тяжкой проблемы выбора. Но речь не идет о том, чтобы этот выбор делали за них другие. Они просто хотят, чтобы проблема выбора не была такой острой. И потому они с готовностью соглашаются, что проблема эта не так уж неизбежна, что она навязана нам нашей экономической системой. На самом же деле то, что выводит их из равновесия, — это ограниченность любых экономических возможностей.

Люди хотят верить, что эту экономическую проблему можно решить раз и навсегда. Поэтому они доверчиво воспринимают безответственные обещания «потенциального изобилия», которое, если бы оно вдруг возникло, действительно избавило бы их от необходимости выбирать. Но хотя эта пропагандистская уловка существует столько, сколько существует социализм, в ней за это время не прибавилось ни грана истины. До сих пор ни один человек, готовый подписаться под этим обещанием, не предложил плана, предусматривающего такое увеличение производства продукции, которое избавило бы от бедности хотя бы страны Западной Европы, не говоря уж о мире в целом. Поэтому всякий, кто рассуждает о грядущем изобилии, является либо лжецом, либо невеждой[3]. Однако именно эта иллюзорная надежда, как ничто другое, подталкивает нас на путь планирования.

Но пока общественные движения все еще держатся за идею, что плановая экономика приведет к значительному увеличению

---

3 Чтобы не быть голословным, бросая такие обвинения, приведу выводы, к которым приходит в своей книге Колин Кларк, один из самых известных молодых специалистов по экономической статистике, человек, безусловно, прогрессивных взглядов и настоящий ученый: «Часто повторяемая фраза о бедности среди изобилия и о том, что мы бы давно решили проблему производства, если бы поняли суть проблемы распределения, на поверку оказывается самым лживым из всех бытующих ныне штампов... Недостаточное использование производственных возможностей — вопрос, остро стоящий ныне только в США, хотя было время, когда он имел некоторое значение и для Великобритании, Германии и Франции. Но для подавляющего большинства стран сегодня на первый план выдвигается другой, гораздо более важный факт очень низкой производительности при полном использовании производственных ресурсов. Так что наступление эпохи изобилия откладывается на неопределенное время ...Если бы удалось устранить безработицу во всех отраслях промышленности в США, это привело бы к значительному повышению уровня жизни в этой стране. Но с точки зрения мира в целом это был бы очень небольшой вклад в решение гораздо более сложного вопроса: как приблизить реальный доход основной массы населения к чему-то хотя бы отдаленно напоминающему цивилизованный уровень» (*Clark C.* Conditions of Economic Progress. [London,] 1940. P. 3–4).

производительности в сравнении с экономикой конкурентной, исследователи отворачиваются от нее один за другим. Даже многие экономисты социалистической ориентации после серьезного изучения проблемы централизованного планирования вынуждены довольствоваться надеждой, что производительность в этой системе будет не ниже, чем в конкурентной. И они более не защищают планирование как способ достижения высшей производительности, но только говорят, что оно позволит распределять продукцию более равномерно и справедливо. И это единственный аргумент, который еще может быть предметом дискуссии. Действительно, если мы хотим распределять блага в соответствии с некими заранее установленными стандартами благополучия, если мы хотим сознательно решать, кому что причитается, у нас нет другого выхода, кроме планирования всей экономической жизни. Остается только один вопрос: не будет ли ценой, которую мы заплатим за осуществление чьих-то идеалов справедливости, такое угнетение и унижение, которого никогда не могла породить критикуемая ныне «свободная игра экономических сил»?

Мы можем серьезно обмануться, если в ответ на все эти опасения станем утешать себя тем, что введение централизованного планирования означает просто возврат после короткого периода развития свободной экономики к тем ограничениям, которые управляли экономикой прежде, на протяжении многих веков, и что поэтому свобода личности окажется примерно на таком же уровне, на каком она была до наступления эпохи либерализма. Это очень опасная иллюзия. Даже в те периоды европейской истории, когда регламентация экономической жизни была наиболее жесткой, она все равно сводилась к действию более или менее постоянной системы общих правил, в рамках которой индивид сохранял какую-то свободу действий. Существовавший тогда аппарат контроля мог проводить в жизнь только достаточно общие директивы. И даже в тех случаях, когда контроль был наиболее полным, он касался лишь той части индивидуальной деятельности, которая относилась к общественному разделению труда. В более широкой сфере, где индивид жил на самообеспечении, он был совершенно свободен.

Сейчас положение в корне изменилось. В эпоху либерализма разделение труда достигло таких масштабов, что практически всякая наша индивидуальная деятельность является теперь частью общественной. Мы не можем обратить это развитие вспять, потому что именно оно создает гарантии обеспеченности растущего на-

селения земли по крайней мере на уровне современных стандартов. Но если мы теперь заменим конкуренцию централизованным планированием, оно будет вынуждено контролировать гораздо большую часть жизни каждого, чем это было когда-либо. Оно не сможет ограничиться тем, что мы называем нашей экономической деятельностью, поскольку в любой сфере нашей жизни мы теперь крайне зависимы от экономической деятельности других[4]. Поэтому призывы к «коллективному удовлетворению потребностей», которыми наши социалисты устилают дорогу к тоталитаризму, — это средство политического воспитания, имеющего целью подготовить нас к практике удовлетворения наших потребностей и желаний в установленное время и в установленной форме. И это прямой результат методологии планирования, которая лишает нас выбора, давая взамен то, что требует план, причем только в определенный момент.

Часто говорят, что политическая свобода невозможна без свободы экономической. Это правда, но не в том смысле, который вкладывают в эту фразу сторонники планирования. Экономическая свобода, являющаяся необходимой предпосылкой любой другой свободы, в то же время не может быть свободой от любых экономических забот. А именно это обещают нам социалисты, часто забывая добавить, что они заодно освободят нас от свободы выбора вообще. Экономическая свобода — это свобода любой деятельности, включающая право выбора и сопряженные с этим риск и ответственность.

---

4 Не случайно в тоталитарных государствах, будь то Россия, Германия или Италия, вопрос о том, как организовать досуг людей, включается в сферу планирования. Немцы даже изобрели немыслимый, внутренне противоречивый термин Freizeitgestaltung (буквально: организация свободного времени), как будто время, проведенное в соответствии с директивами властей, все еще является свободным.

VIII. Кто кого?

Лучшая из возможностей, когда-либо дарованных миру,
была потеряна, потому что стремление к равенству
погубило надежду на свободу.
Лорд Актон

Примечательно, что один из самых распространенных упреков в адрес конкуренции состоит в том, что она «слепа». В этой связи уместно напомнить, что у древних слепота была атрибутом богини правосудия. И хотя у конкуренции и правосудия, быть может, и не найдется других общих черт, но одно не вызывает сомнений: они действуют, невзирая на лица. Это значит, что невозможно предсказать, кто обретет удачу, а кого постигнет разочарование, что награды и взыскания не распределяются в соответствии с чьими-то представлениями о достоинствах и недостатках конкретных людей, так же как нельзя заранее сказать, принимая закон, выиграет или проиграет конкретный человек в результате его применения. И это тем более верно, что в условиях конкуренции удача и случай оказываются порой не менее важными в судьбе конкретного человека, чем его личные качества, такие, как мастерство или дар предвидения.

Выбор, перед которым мы сегодня стоим, — это не выбор между системой, где все получат заслуженную долю общественных благ в соответствии с неким универсальным стандартом, и системой, где доля благ, получаемых индивидом, зависит в какой-то мере от случая. Реальная альтернатива — это распределение благ, подчиненное воле небольшой группы людей, и распределение, зависящее частично от способностей и предприимчивости конкретного человека, а частично от непредвиденных обстоятельств. И хотя в условиях конкуренции шансы в действительности не равны, поскольку такая система неизбежно построена на частной собственности и ее наследовании (впрочем, последнее, может быть, не так уж неизбежно), создающих естественные различия «стартовых» возможностей, но это дела не меняет. Неравенство шансов удается в какой-то мере

нивелировать, сохраняя и имущественные различия, и безличный характер самой конкуренции, позволяющей каждому испытать судьбу без оглядки на чьи-либо мнения.

Конечно, в конкурентном обществе перед богатыми открыты более широкие возможности, чем перед бедными. Тем не менее бедный человек является здесь гораздо более свободным, чем тот, кто живет даже в более комфортных условиях в государстве с планируемой экономикой. И хотя в условиях конкуренции вероятность для бедняка неожиданно разбогатеть меньше, чем для человека, который унаследовал какую-то собственность, все же это возможно, причем конкурентное общество является единственным, где это зависит только от него и никакие власти не могут помешать ему испытать счастье. Только окончательно позабыв, что означает несвобода, можно не замечать очевидного факта, что неквалифицированный и низкооплачиваемый рабочий в нашей стране обладает неизмеримо большими возможностями изменить свою судьбу, чем многие мелкие предприниматели в Германии или высокооплачиваемые инженеры в России. Идет ли речь о смене работы или места жительства, об убеждениях или проведении досуга, — пусть во всех этих случаях для реализации своих намерений приходится платить высокую цену (слишком высокую, скажут некоторые), зато перед человеком в конкурентном обществе нет непреодолимых препятствий, и желание внести в свою жизнь не санкционированные властями изменения не грозит ему лишением свободы или физической расправой.

Социалисты совершенно правы, когда они заявляют, что для осуществления их идеала справедливости будет достаточно упразднить доходы от частной собственности, а трудовые доходы оставить на нынешнем уровне[1]. Только они забывают, что, изымая

[1] Возможно, впрочем, что мы привыкли переоценивать значение доходов от собственности, считая их основной причиной неравенства. Но тогда упразднение этих доходов может и не стать гарантией равенства. Те немногие сведения, которые у нас есть о распределении доходов в Советской России, не дают оснований утверждать, что неравенство там имеет меньшие масштабы, чем в капиталистическом обществе. Макс Истмэн приводит информацию из официальных советских источников, свидетельствующую о том, что соотношение между максимальной и минимальной зарплатой в России такое же, как в США (примерно 50:1) (*Eastman M.* The End of Socialism in Russia. [Boston,] 1937. P. 30–34). А Джеймс Бернэм цитирует статью Троцкого (1939), где говорится, что «в СССР верхушка, составляющая 11–12% населения, получает сейчас около 50% национального дохода. Таким образом, дифференциация здесь гораздо больше, чем в США, где 10% населения получают приблизительно 30% национального дохода» (*Burnham J.* The Managerial Revolution. [N.Y.,] 1941. P. 43).

средства производства у частных лиц и передавая их государству, мы поставим государство в положение, когда оно будет вынуждено распределять все доходы. Власть, предоставленная таким образом государству для целей «планирования», будет огромной. И неверно думать, что власть при этом просто перейдет из одних рук в другие. Это будет власть совершенно нового типа, незнакомая нам, ибо в конкурентном обществе ею не наделен никто. Ведь когда собственность принадлежит множеству различных владельцев, действующих независимо, ни один из них не обладает исключительным правом определять доходы и положение других людей. Максимум, что может владелец собственности, — это предлагать людям более выгодные условия, чем предлагают другие.

Наше поколение напрочь забыло простую истину, что частная собственность является главной гарантией свободы, причем не только для тех, кто владеет этой собственностью, но и для тех, кто ею не владеет. Лишь потому, что контроль над средствами производства распределен между многими не связанными между собой собственниками, никто не имеет над нами безраздельной власти, и мы как индивиды можем принимать решения и действовать самостоятельно. Но если сосредоточить все средства производства в одних руках, будь то диктатор или номинальные «представители всего общества», мы тут же попадем под ярмо абсолютной зависимости.

Нет никаких сомнений, что представитель национального или религиозного меньшинства, не имеющий собственности, но окруженный другими членами этого сообщества, у которых есть собственность и, следовательно, возможность дать ему работу, будет более свободным, чем в условиях, когда частная собственность упразднена, и он только считается владельцем доли национальной собственности. Или что власть надо мной мультимиллионера, живущего по соседству и, может быть, являющегося моим работодателем, гораздо меньше, чем власть маленького чиновника, за спиной которого стоит огромный аппарат насилия и от чьей прихоти зависит, где мне жить и работать. Но разве мне нужно разрешение, чтобы жить и работать? И кто станет отрицать, что мир, где богатые имеют власть, лучше, чем мир, где богаты лишь власть имущие?

Наблюдать за тем, как эту истину открывает для себя Макс Истмэн, старый коммунист, грустно, и в то же время это вселяет надежду: «Для меня теперь стало очевидно — хотя к этому выводу

я шел очень медленно, — что институт частной собственности является одним из основных факторов, обеспечивших людям те относительные свободы и равенство, которые Маркс думал расширить беспредельно, упразднив этот институт. Удивительно, что Маркс был первым, кто это понял. Именно он, оглядываясь назад, сообщил нам, что развитие частнособственнического капитализма с его свободным рынком подготовило развитие всех наших демократических свобод. Но, глядя вперед, он ни разу не задался вопросом, что, если это так, то не исчезнут ли эти свободы с упразднением свободного рынка»[2].

Иногда на это возражают, что нет причин, заставляющих в ходе планирования определять доходы индивидов. Действительно, социальные и политические трудности, встающие при распределении национального дохода между людьми, настолько очевидны, что даже самый ярый сторонник планирования задумается, прежде чем поручить какой-то инстанции такую задачу. Всякий, кто это понимает, пожалуй, ограничит планирование производственной сферой, задачами «рациональной организации производства», предоставив сферу распределения, насколько это возможно, действию безличных сил. И хотя невозможно управлять производством, не управляя в какой-то степени потреблением, и никакой сторонник планирования не согласится отдать потребление целиком на волю рынка, здесь будет выработано, по-видимому, компромиссное решение, предполагающее надзор за соблюдением принципов равенства и справедливости, пресечение случаев слишком неравномерного распределения и установление определенных пропорций между вознаграждением основных классов общества. Но ответственность за процессы распределения, происходящие внутри классов или более мелких общественных групп, планирующие органы вряд ли смогут взять на себя.

Как мы уже видели, тесная взаимозависимость всех экономических явлений не дает ограничить планирование заранее очерченной областью. Когда ограничение свободы рыночных отношений доходит до определенной критической точки, мы вынуждены распространять контроль все дальше и дальше, пока он не станет поистине всеобъемлющим. Действие этих чисто экономических причин, не дающих ограничить сферу планирования, подкреп-

2 *Eastman M.* // Reader's Digest. 1941. July. P. 39.

ляется определенными социальными или политическими тенденциями, которые по мере роста контроля становятся все более ощутимыми.

Когда становится очевидно, что позиция индивида в обществе определяется не действием безличных сил, не балансом конкурентных отношений, но сознательными решениями властей, отношение людей к своему положению неизбежно меняется. В жизни всегда найдется неравенство, несправедливое по мнению тех, кто от него страдает, так же как и разочарование, которое кажется незаслуженным. Но когда такие вещи происходят в обществе, живущем по принципу сознательного руководства, реакция людей на них будет совершенно особой.

Несомненно, легче сносить неравенство, если оно является результатом действия безличных сил. И оно сильнее ранит достоинство человека, когда является частью какого-то замысла. Если в конкурентном обществе фирма сообщает человеку, что она не нуждается более в его услугах, в этом нет в принципе ничего оскорбительного. Правда, продолжительная массовая безработица может вызывать и иные психологические эффекты, но введение централизованного планирования — не лучший способ бороться с ними. Безработица или сокращение доходов, неизбежные в любом обществе, менее унизительны, когда они выступают как результат стихийных процессов, а не сознательных действий властей. Каким бы горьким ни был такой опыт в условиях конкуренции, в планируемом обществе он будет, безусловно, горше, ибо там одни индивиды будут судить о других, являются ли те полезными, причем не для конкретной работы, а вообще. Позиция человека в обществе будет навязана ему кем-то другим.

Люди готовы покорно сносить страдания, которые могут выпасть на долю каждого. Но невзгоды, вызванные постановлениями властей, принимать гораздо труднее. Плохо быть винтиком в безликой машине, но неизмеримо хуже быть навсегда привязанным к своему месту и к начальству, которого ты не выбирал. Недовольство человека своей долей возрастает многократно от сознания, что его судьба зависит от действий других.

Ступив во имя справедливости на путь планирования, правительство не сможет отказаться нести ответственность за судьбу и положение каждого гражданина. В плановом обществе мы все будем твердо знать, что наше сравнительное благосостояние зависит не от случайных причин, но от решения властей. И все на-

ши усилия, направленные на улучшение нашего положения, будут продиктованы не стремлением предвидеть неконтролируемые обстоятельства и подготовиться к ним, а желанием завоевать благосклонность начальства. Кошмар, предсказанный английскими политическими мыслителями XIX века, — государство, в котором «путь к преуспеянию и почету пролегает только через коридоры власти»[3], — будет воплощен тогда с такой полнотой, какая им и не снилась. Впрочем, все это более чем знакомо жителям стран, проделавших с тех пор эволюцию к тоталитаризму.

Как только государство берет на себя задачу планирования всей экономической жизни, главным политическим вопросом становится вопрос о надлежащем положении различных индивидов и общественных групп. И поскольку вопрос, кому что причитается, решается государственным аппаратом монопольно, то государственная власть — власть чиновников — становится единственной формой власти, к которой может стремиться в таком обществе человек. Не будет ни одного экономического или социального вопроса, который не приобретет здесь политической окраски в том смысле, что его решение будет зависеть исключительно от того, в чьих руках находится аппарат принуждения и чьи взгляды будут всегда одерживать верх.

Кажется, сам Ленин ввел в России в употребление известную фразу «Кто кого?», которая в первые годы советской власти выражала главную проблему социалистического общества[4]. Действительно, кто планирует и кто выполняет план? Кто руководит и кто подчиняется? Кто устанавливает нормы жизни для других и кто живет так, как ему велено жить? Все это может решать только верховная власть.

Не так давно один американский политолог расширил ленинскую формулировку, сказав, что всякое правительство решает проблему «кому, что, когда и как причитается». В какой-то степени это верно. Всякое правительство влияет на положение различных людей, и при любой системе вряд ли найдется какой-то аспект нашей жизни, на который не могло бы повлиять правительство. В той мере, в какой правительство вообще действует, оно влияет на то, «кому, что, когда и как причитается».

3 Эти слова принадлежат молодому Дизраэли.

4 *Muggeridge M.* Winter in Moscow. [Boston,] 1934; *Feiler A.* Das experiment des bolschewismus. [Frankfurt a. M.,] 1930.

В этой связи, однако, нужно сделать два замечания. Во-первых, конкретные меры правительства не обязательно должны быть нацелены на интересы конкретных индивидов. Но это мы уже достаточно подробно обсуждали. И во-вторых, либо правительство определяет все, что каждый человек будет получать в любое время, либо оно определяет лишь некоторые вещи, которые в известное время получат некоторые люди. Иначе говоря, это вопрос о пределах власти правительства, от решения которого зависит различие между либеральной и тоталитарной системами.

Это различие двух систем в полной мере проявляется в сетованиях на «искусственное разделение экономики и политики», объединяющих нацистов и социалистов, так же как и в их требованиях «ставить политику выше экономики». Такая фразеология, по-видимому, должна означать, что сейчас экономическим силам позволено действовать не по указке правительства и даже вразрез с правительственной политикой, преследуя собственные цели. Альтернативой является, однако, не просто монополия власти правительства в экономической сфере, но полный контроль правящей верхушки над всеми целями человека вообще и над его положением в обществе.

Очевидно, что правительство, взявшееся руководить экономикой, будет использовать свою власть для осуществления какого-то идеала справедливого распределения. Но как оно будет это делать? Какими будет руководствоваться принципами? Сможет ли найти сознательные ответы на бесчисленные вопросы, которые будут при этом возникать? И существует ли шкала ценностей, приемлемая для разумных людей, которая оправдает новую иерархическую структуру общества и удовлетворит стремление к справедливости?

Есть только один общий принцип, одно простое правило, которое позволит дать действительно определенный ответ на все эти вопросы: равенство, полное и безоговорочное равенство всех индивидов во всем, что поддается человеческому контролю. И если бы все люди были согласны в своем стремлении к этому идеалу (мы не обсуждаем сейчас вопрос, осуществим ли он практически, т.е., например, будет ли обеспечено при этом стимулирование), он позволил бы наполнить неясную идею справедливого распределения довольно четким содержанием и дал бы в руки планирующим органам руководящую нить. Но дело в том, что люди вовсе не стремятся к такого рода механическому равенству. Никакое социалис-

тическое движение, на знамени которого был начертан лозунг полного и всеобщего равенства, никогда не получало серьезной поддержки в массах. Социализм обещал не равное, а лишь более равное, более справедливое распределение. Не равенство в абсолютном смысле, но «большее равенство» — вот цель, на которую в действительности направляют свои усилия социалисты.

И хотя эти идеи звучат похоже, но с точки зрения рассматриваемой нами проблемы они предельно различны. Если принцип абсолютного равенства делает задачу планирования определенной, то «большее равенство» — это чисто негативная формулировка, выражающая не более чем недовольство существующим положением вещей. Но поскольку мы не готовы принять полное равенство как цель, то у нас не может быть и готовых ответов на вопросы, которые встанут в ходе планирования.

Это не просто игра словами. Мы подошли здесь к существу проблемы, скрытому обычно благодаря схожести терминов. В самом деле, согласившись с принципом полного равенства, мы тут же получаем ответы на все вопросы, важные для планирования; приняв же формулу «большего равенства», мы не сможем ответить практически ни на один из них, ибо содержание ее столь же неясно, как и содержание выражений «общественное благо» и «всеобщее благосостояние». Эта формула не освобождает нас от необходимости решать в каждом конкретном случае, каковы сравнительные достоинства тех или иных индивидов или групп, и не дает никакого ключа к такому решению. Самое большее, что мы можем из нее извлечь, — это указание забрать как можно больше у богатых. Но когда дело дойдет до дележа «добычи», проблема встанет во всей остроте, как будто никакого принципа «большего равенства» никогда не существовало.

Как правило, людям трудно поверить, что у нас нет моральных принципов, позволяющих решать такие вопросы, — если и не абсолютно надежно, то по крайней мере более удовлетворительно, чем они решаются в конкурентной системе. В самом деле, разве у нас нет представлений о «правильной цене» или «справедливом вознаграждении»? И разве не можем мы довериться свойственному людям чувству справедливости? Ведь даже если сейчас мы и не пришли к согласию насчет того, что является справедливым в каком-то конкретном случае, разве не вырастут стандарты справедливости из общих моральных представлений, когда люди увидят, как их идеи воплощаются в жизнь?

К сожалению, для этих надежд нет оснований. Те стандарты, которые у нас есть, порождены конкурентной системой и не могут не исчезнуть вместе с ней. То, что мы называем справедливой ценой или справедливым вознаграждением, — это попросту привычные цена или вознаграждение, которых мы вправе ожидать, опираясь на прошлый опыт, или же такие цена и вознаграждение, которые существовали бы в отсутствие монополии. Единственным исключением является в данном случае требование, чтобы рабочие получали полностью «продукт своего труда», сформулированное на заре социалистического движения. Однако сегодня найдется очень мало социалистов, считающих, что в социалистическом обществе доходы в каждой отрасли будут делиться между рабочими. Дело в том, что в капиталоемких отраслях рабочие станут тогда получать больше, чем в отраслях, требующих меньших капиталовложений, а это с социалистических позиций считается несправедливым. Так что это требование теперь признано ошибочным. Но если рабочему конкретной отрасли отказано в праве на получение его доли и всякая прибыль от капитала должна делиться между всеми трудящимися, проблема критериев распределения вновь встает со всей остротой.

В принципе можно было бы установить «правильную цену» на какой-нибудь конкретный товар или «справедливое вознаграждение» за конкретную услугу, если бы было заранее известно, сколько требуется этого товара или этих услуг безотносительно к их себестоимости. Тогда орган, осуществляющий планирование, мог бы решить, какая цена или объем заработной платы требуются, чтобы обеспечить спрос. Поэтому, чтобы устанавливать «справедливые» цены и вознаграждения, надо решать, сколько выпускать товаров каждого вида. И если будет принято решение, что требуется, скажем, меньше архитекторов или часовщиков и что существующую потребность можно удовлетворить при помощи тех работников, которые согласятся получать более низкую зарплату, то «справедливое» вознаграждение окажется соответственно более низким. Устанавливая иерархию и приоритеты различных целей в производственной сфере, орган, осуществляющий планирование, определяет тем самым, интересы каких социальных групп являются более важными. И рассматривая человека «не только как средство», он будет принимать во внимание социальные последствия своих решений. Но это означает, что планирование предполагает прямой контроль над условиями существования различных людей.

Это относится к положению не только профессиональных групп, но и отдельных людей. Вообще мы почему-то склонны считать, что доходы представителей одной профессии являются более или менее одинаковыми. Между тем разница в доходах преуспевающего и неудачливого врача или архитектора, писателя или артиста, боксера или жокея, так же как и водопроводчика или садовника, бакалейщика или портного, не меньше, чем разница в доходах класса собственников и класса неимущих. И хотя в ходе планирования будут, несомненно, предприниматься попытки стандартизации путем введения квалификационных категорий, суть дела от этого не меняется. Дискриминация индивидов будет проводиться как сознательный принцип — неважно, какими средствами: отнесением их к категории или установлением доходов каждого.

Вряд ли стоит рассуждать дальше о вероятности того, что люди, живущие в свободном обществе, окажутся под таким контролем. Или о том, смогут ли они при этом остаться свободными. Обо всем этом писал примерно сто лет назад Джон Стюарт Милль, и слова его по-прежнему актуальны: «Люди, может быть, готовы бы были принять раз и навсегда установленный закон, например о равенстве, как они принимают игру случая или внешнюю необходимость; но чтобы кучка людей взвешивала всех остальных на весах и давала бы одним больше, другим меньше по своей прихоти и усмотрению, — такое возможно вынести только от сверхчеловеков, за спиной которых стоят ужасные сверхъестественные силы»[5].

Пока социализм оставался мечтой ограниченной и сравнительно однородной группы людей, все эти противоречия не приводили к открытым конфликтам. И только когда политика социалистов получила поддержку множества различных групп, составляющих большинство населения, противоречия эти начали всплывать на поверхность. И все они скоро сфокусируются в единственном вопросе: какой именно из множества идеалов должен подчинить себе все остальные, чтобы мобилизовать все ресурсы и все население страны? Ведь для успешного планирования нужна единая, общая для всех система ценностей — именно поэтому ограничения в материальной сфере так непосредственно связаны с потерей духовной свободы.

Будучи благовоспитанными родителями стихийного, неотесанного движения, социалисты надеются решить проблему тра-

5 *Mill J.S.* Principles of Political Economy. Book 1. Chap. II. Part 4.

диционно — путем воспитания. Но что способно здесь дать воспитание? Мы можем сегодня с уверенностью сказать, что знания не создают этических ценностей, что никаким обучением нельзя заставить людей придерживаться одинаковых взглядов на моральные проблемы, которые возникнут в результате сознательной регуляции всех аспектов жизни общества. Оправдать конкретный план может не рациональное убеждение, но только слепая вера. И в самом деле, социалисты сами первыми признали, что задачи, которые они перед собой ставят, требуют единого мировоззрения, единой системы ценностей. Пытаясь организовать на основе единого мировоззрения массовое движение, они разработали эффективные средства идеологического внушения, которыми затем так успешно воспользовались нацисты и фашисты.

Действительно, как в Германии, так и в Италии нацистам и фашистам не пришлось много выдумывать. Основные формы политического движения нового типа, пронизывающего все стороны жизни, в обеих странах были уже введены социалистами. Идея политической партии, охватывающей все стороны существования человека — от колыбели до могилы, руководящей всеми его взглядами и готовой превратить решительно любую проблему в вопрос партийной идеологии, — эта идея тоже была осуществлена социалистами. Как сообщает с гордостью один австрийский публицист социалистического толка, описывая социалистическое движение у себя на родине, его «характерной чертой было то, что специальные организации создавались в любой сфере деятельности рабочих и служащих»[6].

Хотя австрийские социалисты могли пойти в этом отношении и дальше других, но ситуация была во всех странах примерно одна и та же. Вовсе не фашисты, а социалисты стали собирать детей, начиная с самого нежного возраста, в политические организации, чтобы воспитывать их как настоящих пролетариев. И не фашисты, а социалисты первыми придумали организовать спортивные занятия, игры и экскурсии в рамках деятельности партийных клубов, чтобы изолировать своих членов от чуждых влияний. Социалисты первыми настояли, чтобы члены партии приветствовали друг друга и обращались друг к другу, используя специальные формулы. И они же, насаждая свои «ячейки» и осуществляя контроль за частной жизнью, создали прототип тоталитарной партии. «Балилла» и «Гитлерюгенд», «Дополаворо» и «Крафт дурх Фройде»,

6 *Wieser G.* Ein Staat stribt, Oesterreich 1934–1938. Paris, 1938. S. 41.

униформа и военизированные «штурмовые отряды» не более чем повторение того, что уже задолго до этого было изобретено социалистами[7].

Пока социалистическое движение в стране связано с интересами конкретной социальной группы, включающей обычно высококвалифицированных промышленных рабочих, проблема выработки единого взгляда на статус различных индивидов в новом обществе остается довольно простой. Движение непосредственно заинтересовано в повышении относительного социального статуса конкретной группы. Но характер проблемы изменяется, когда по мере развития движения всем становится очевидно, что доход и общественное положение всякого человека будут определяться государственным аппаратом принуждения, и тогда каждый, желая сохранить или улучшить свое положение, стремится стать членом организованной группы, способной влиять на государственную машину и даже контролировать ее в своих интересах.

В перетягивании каната, которое начнется вслед за этим, вовсе не обязательно победят интересы беднейших или самых многочисленных групп. Не обязательно также сохранятся позиции старых социалистических партий, открыто представляющих интересы конкретных социальных групп, несмотря на то что они первыми проложили этот путь, разработали идеологию и бросили клич всему рабочему классу. Сами их успехи и их требование принимать идеологию целиком, несомненно, вызовут мощное контрдвижение — но не со стороны капиталистов, а со стороны многочисленных неимущих слоев, которые увидят для себя угрозу в наступлении элиты промышленных рабочих.

Теория и практика социализма, даже если они не заражены марксистской догматикой, исходят из идеи деления общества на два класса, интересы которых лежат в одной области, но являются антагонистическими, — класса капиталистов и класса промышленных рабочих. Социализм всегда рассчитывал на быстрое исчезновение старого среднего класса и совершенно проглядел возникновение нового среднего класса — бесчисленной армии конторских служащих и машинисток, администраторов и учителей, торговцев и мелких чиновников, а также представителей низших разрядов

7 Здесь напрашивается параллель с политическими клубами «любителей книги» в Англии.

различных профессий. В течение определенного времени этот класс поставлял лидеров для рабочего движения. Но по мере того как становилось все яснее, что положение этого класса ухудшается по сравнению с положением промышленных рабочих, идеалы рабочего движения потеряли для этих слоев свою привлекательность. И хотя все они остаются социалистами в том смысле, что выражают недовольство капиталистической системой и требуют распределения материальных благ в соответствии со своим представлением о справедливости, однако само это представление оказалось совсем непохожим на то, которое нашло воплощение в практике старых социалистических партий.

Средства, которые старые социалистические партии успешно использовали, стремясь улучшить положение одной профессиональной группы, оказываются негодными для поддержки всех. Поэтому неизбежно возникают конкурирующие социалистические партии и движения, выражающие ущемленные интересы других слоев. В распространенном утверждении, что фашизм и национал-социализм — это разновидности социализма для среднего класса, есть изрядная доля истины, за исключением только того, что в Италии и Германии поддержку этим новым движениям оказывают группы, экономически уже переставшие быть средним классом. И действительно, это был во многом бунт нового, лишенного привилегий класса против рабочей аристократии, порожденной профсоюзным движением в промышленности.

Можно не сомневаться, что ни один экономический фактор не повлиял так на развитие этого движения, как зависть не слишком преуспевающего представителя свободной профессии — какого-нибудь инженера или адвоката с университетским образованием и вообще «пролетариев умственного труда» — к машинисту, наборщику или другим членам мощных профсоюзов, имевшим в несколько раз больший доход. А кроме того, в первые годы нацистского движения рядовой его член был, несомненно, беднее, чем средний тред-юнионист или член старой социалистической партии, — обстоятельство тем более мучительное, что он зачастую знавал лучшие дни и нередко жил в обстановке, напоминавшей ему о прошлом.

Выражение «классовая борьба наизнанку», бытовавшее в Италии в период становления фашизма, указывает на очень важную особенность этого движения. Конфликт между фашистской (или национал-социалистической) партией и старой социалистической партией был типичным и неизбежным столкновением меж-

ду социалистическими фракциями вообще. У них не было расхождения в том, что именно государство должно определять положение человека в обществе. Но между ними были (и всегда будут) глубокие расхождения в определении конкретного места конкретных классов и групп.

Старым вождям социализма, всегда считавшим свои партии потенциальным авангардом будущего более широкого движения к социализму, трудно понять, почему каждый раз распространение социалистических методов на новые области восстанавливает против них широкие неимущие классы. Однако в то время как они, подобно профсоюзным лидерам, обычно легко договаривались о совместных действиях с работодателями в своих отраслях промышленности, широкие слои общества оставались ни с чем. Этим людям казалось (и не без основания), что наиболее процветающая часть рабочего движения принадлежит скорее к эксплуататорам, чем к эксплуатируемым[8].

Недовольство низов среднего класса, из которых в основном вышли сторонники фашизма и национал-социализма, было усилено тем обстоятельством, что по своему образованию они стремились к руководящим постам и сознавали себя потенциальными членами правящей элиты. В то же время младшее поколение, воспитанное на социалистических идеях и презирающее «делячество», отказалось от свободного предпринимательства, чреватого риском, и устремилось к должностям с гарантированной зарплатой, обещавшим стабильность, требуя при этом доходов и власти, на которые им, по их мнению, давало право образование. Они верили в организованное общество, но рассчитывали занять в нем совсем не то место, которое было им уготовано социалистами. Взяв на вооружение методы старого социализма, они собирались применить их в интересах другого класса. Движение это было способно привлечь всех, кто, соглашаясь с идеей государственного контроля над экономической деятельностью, не разделял целей, на достижение которых рабочая аристократия собиралась направить свои политические силы.

8 Прошло уже двенадцать лет с тех пор, как один из ведущих европейских социалистов-интеллектуалов Хендрик де Ман (который с тех пор проделал естественную эволюцию и примирился с нацизмом) заметил, что «впервые с момента зарождения социализма недовольство капитализмом обращается против социалистического движения» (*Man H. de*. Sozialismus und Nationalfascismus. Potsdam, 1931. S. 6).

Уже в момент своего возникновения новое социалистическое движение имело несколько преимуществ. Социализм рабочего класса, выросший в демократическом и свободном мире, приспособил к нему свою тактику и перенял многие либеральные идеи. Его лидеры все еще верили, что построение социалистического общества решит все проблемы. В то же время фашизм и национал-социализм рождались в обществе, все более регулируемом и начинавшем сознавать, что демократический и международный социализм стремятся к несовместимым целям. Их тактика развивалась в мире, где уже доминировала социалистическая политика со всеми вытекающими из этого проблемами. Они не тешили себя надеждой на возможность демократического решения проблем, требующего от людей большего согласия, чем от них можно ожидать. Не было у них и иллюзий — ни насчет возможности разумно определять относительную ценность потребностей различных индивидов и групп, необходимой для планирования, ни насчет применимости принципа равенства. Они твердо знали, что сильная группировка, которая соберет сторонников нового иерархического общественного порядка и пообещает классам, на которые опирается, определенные привилегии, имеет максимальные шансы на поддержку со стороны тех, кто был разочарован, когда обещанное равенство обернулось господством интересов определенного класса. Фашизм и нацизм победили, прежде всего, потому, что предложенная ими теория обещала привилегии тем, кто их поддержит.

IX. Свобода и защищенность

Все общество превратится в единое учреждение,
единую фабрику с равным трудом и равной оплатой.
Владимир Ленин, 1917

В стране, где единственным работодателем является государство,
оппозиция означает медленную голодную смерть.
Старый принцип — кто не работает, тот не ест —
заменяется новым: кто не повинуется, тот не ест.
Лев Троцкий, 1937

В числе необходимых условий подлинной свободы, помимо пресловутой «экономической свободы», часто и с большим основанием называют также экономическую защищенность. В определенном смысле это верно. Независимый ум или сильный характер редко встречается у людей, не уверенных, что они смогут сами себя прокормить. Однако понятие экономической защищенности, как и большинство понятий в этой области, двусмысленно и расплывчато. Поэтому опасно выдвигать его в качестве безусловного требования. Действительно, стремление к абсолютной защищенности сплошь и рядом не только не повышает шансов свободы, но и становится для нее серьезной угрозой.

Подходя к этой проблеме, надо с самого начала различать два рода защищенности: ограниченную, которая достижима для всех и потому является не привилегией, а законным требованием каждого члена общества, и абсолютную защищенность, которая в свободном обществе не может быть предоставлена всем и не должна выступать в качестве привилегии, — за исключением некоторых специальных случаев, таких, например, как необходимые гарантии независимости судей, имеющие в их деятельности первостепенное значение. Таким образом, речь идет, во-первых, о защищенности от тяжелых физических лишений, о гарантированном минимуме для всех и, во-вторых, о защищенности, определяемой неким стандартом, уровнем жизни, о гарантированном отно-

сительном благополучии какого-то лица или категории лиц. Иными словами, есть всеобщий минимальный уровень дохода и есть уровень дохода, который считается «заслуженным» или «положенным» для определенного человека или группы. Мы увидим в дальнейшем, что защищенность первого рода может быть обеспечена всем, будучи естественным дополнением рыночной системы, в то время как защищенность второго рода, дающая гарантии лишь некоторым, может существовать только в условиях контроля над рынком или его полной ликвидации.

В обществе, которое достигло такого уровня благосостояния, как наше, ничто не мешает гарантировать всем защищенность первого рода, не ставя под угрозу свободу. Конечно, есть множество сложных вопросов, связанных с определением необходимого минимального уровня обеспеченности. Очень важен вопрос, должны ли те, кто находится на общественном иждивении, пользоваться теми же свободами, что и прочие члены общества[1]. Невнимание к этим проблемам может повлечь за собой серьезные политические затруднения. Но нет никакого сомнения, что определенный минимум в еде, жилье и одежде, достаточный для сохранения здоровья и работоспособности, может быть обеспечен каждому. И в самом деле, защищенность этого рода для большинства населения Англии давно уже стала реальностью.

Точно так же ничто не мешает государству помогать гражданам, ставшим жертвами непредвиденных событий, от которых никто не может быть застрахован. Болезнь, несчастный случай, короче говоря, любые ситуации, в которых оказание помощи не ослабляет желания человека избежать неожиданности или ее последствий, требуют организации социального обеспечения на государственном уровне. Сторонники и противники конкуренции могут спорить о деталях такой системы, поскольку под маркой социальных гарантий можно проводить политику, реально ослабляющую эффективность конкуренции. Но в принципе стремление государства обеспечить таким образом защищенность граждан совместимо с индивидуальной свободой. То же самое можно сказать и о государственной помощи жертвам стихийных бедствий — землетрясений, наводнений и т.п. Несчастья, которых человек не

1 С этим связаны и серьезные проблемы в международных отношениях, ибо сам факт гражданства может давать право на уровень жизни более высокий, чем в других странах.

в силах ни предусмотреть, ни избежать, несомненно, требуют общественной помощи, облегчающей участь пострадавших.

Наконец, есть еще в высшей степени серьезная проблема борьбы с последствиями спадов в экономической активности и сопровождающим их ростом массовой безработицы. Это один из самых сложных вопросов нашего времени. И хотя его решение требует планирования, речь может (и должна) идти о таком планировании, которое не ставит под угрозу и не подменяет собой рынок. Некоторые экономисты видят выход в особой кредитно-денежной политике, что совместимо даже с принципами либерализма XIX века. Правда, есть и другие, которые считают единственным спасением развертывание в нужный момент широкого фронта общественных работ. В последнем случае могут возникнуть серьезные ограничения для развития конкуренции, и поэтому, экспериментируя в данном направлении, мы должны действовать предельно осторожно, дабы избежать постепенного подчинения экономики правительственным инвестициям. Но это далеко не единственный и, по-моему, не лучший путь обеспечения экономической защищенности. Во всяком случае, необходимость гарантий от последствий экономической депрессии вовсе не равнозначна введению системы такого планирования, которое представляет очевидную угрозу для нашей свободы.

Планирование, опасное для свободы, — это планирование во имя защищенности второго рода. Его цель — застраховать отдельных индивидов или группы от того, что является нормой и случается сплошь и рядом в обществе, основанном на принципе конкуренции, — от уменьшения уровня их доходов. Такое уменьшение ничем морально не оправдано, чревато лишениями, но оно является неотъемлемой частью конкуренции. Требование защищенности такого рода — это по сути дела требование справедливого вознаграждения, т.е. вознаграждения, соотнесенного с субъективными достоинствами человека, а не с объективными результатами его труда. Но такое понятие о справедливости несовместимо с принципом свободы выбора человеком своего жизненного поприща.

В обществе, где распределение труда основано на свободном выборе людьми своих занятий, вознаграждение должно всегда соответствовать пользе, приносимой тем или иным тружеником в сравнении с другими, даже если при этом не учитываются его субъективные достоинства. Часто результаты работы соразмерны

затраченным усилиям, но отнюдь не всегда. Бывает, что какое-нибудь занятие оказывается вдруг бесполезным, — это может случиться в обществе любого типа. Всем понятна трагедия профессионала, чье мастерство, приобретенное порой в результате многолетнего учения, обесценивается внезапно каким-то изобретением, имеющим несомненную общественную пользу. История последнего столетия пестрит примерами такого рода, затрагивающими иногда интересы сотен тысяч людей.

Когда доход человека падает, а надежды рушатся, хотя он трудился в поте лица и был мастером своего дела, это, несомненно, оскорбляет наше чувство справедливости. И когда пострадавшие требуют от государства обеспечить «положенный» им уровень дохода, требование это находит всеобщее сочувствие и поддержку. В результате правительства повсюду не только принимают меры, обеспечивающие тем, кто попал в такие обстоятельства, минимальные средства к существованию, но и гарантируют им получение стабильного дохода на прежнем уровне, т.е. создают условия полной независимости от превратностей рыночной экономики[2].

Однако, если мы хотим сохранить свободу выбора занятий, мы не можем гарантировать стабильность доходов для всех. А если такие гарантии даются лишь части граждан, они оказываются в привилегированном положении, причем за счет остальных, чья относительная защищенность очевидно снижается. Нетрудно показать, что создание для всех людей гарантий стабильности их доходов возможно лишь при уничтожении свободы выбора жизненного поприща. И хотя такие всеобщие гарантии часто рассматривают как цель, к которой все мы должны стремиться, в действительности все происходит совсем не так. На деле эти гарантии даются по частям то одной группе людей, то другой, а в результате в тех группах, которые остались в стороне, постоянно растет неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому неудивительно, что ценность таких гарантий в общественном сознании постоянно увеличивается, их требование становится все более настойчивым, и постепенно растет желание получить их любой ценой, даже ценой свободы.

Если защищать тех, чей труд стал менее полезным в силу обстоятельств, которые они не могли предвидеть или предотвра-

2 Весьма интересные мысли о том, как решать эту проблему в рамках либерального общества, были недавно изложены профессором У. Хаттом в книге, заслуживающей пристального внимания (*Hutt W.H.* Plan for Reconstruction. [London,] 1943).

тить, компенсируя их убытки, и в то же время ограничивать доходы тех, чья полезность возросла, то вознаграждение очень быстро теряет всякую связь с реальной общественной пользой. Она будет зависеть только от взглядов авторитетных чиновников, от их представлений о том, чем должны заниматься те или иные люди, что они должны предвидеть и насколько хороши или дурны их намерения. Решения, принимаемые в такой ситуации, не могут не быть произвольными. Применение этого принципа приведет к тому, что люди, выполняющие одинаковую работу, будут получать различное вознаграждение. При этом разница в оплате не будет более служить стимулом, заставляющим людей совершенствовать свою деятельность в интересах общества. Более того, они даже не смогут судить, насколько полезным и эффективным могло бы стать то или иное нововведение.

Но если перетекание людей из одной сферы деятельности в другую, необходимое в любом обществе, не будет стимулировано «поощрениями» и «взысканиями» (не обязательно зависящими от их субъективных достоинств), остается один путь: прямые приказания. При гарантированном уровне дохода человеку нельзя позволить ни оставаться на данном месте работы просто потому, что ему нравится здесь работать, ни выбирать работу по своему желанию. Ведь это не он выигрывает или проигрывает, если он уходит или остается. Поэтому и право выбора принадлежит не ему, а тем, кто занимается распределением доходов.

Проблема, которая здесь возникает, обсуждается обычно как проблема стимулирования. Но вопрос, каким образом заставить человека стремиться лучше работать, хотя и является важным, далеко не исчерпывает всей проблемы. Дело не только в том, что для хорошей работы человек должен иметь стимул. Гораздо более существенно, что, если мы предоставляем людям право выбора занятий, им необходимо дать и какое-то простое, наглядное мерило относительной социальной полезности того или иного поприща. Человек, даже движимый самыми благими намерениями, не в состоянии сознательно выбрать одно занятие из многих, если преимущества, предоставляемые каждым из них, никак не связаны с их пользой для общества. Чтобы человек решился сменить работу и профессиональную среду, с которой он свыкся и которую, может быть, полюбил, необходимо, чтобы изменившаяся социальная ценность каждого занятия выражалась в соответствующем вознаграждении.

Но вопрос по существу еще серьезнее, потому что наш мир устроен так, что только при условии личной заинтересованности люди готовы в течение долгого времени отдавать все силы работе. По крайней мере, очень многие могут по-настоящему хорошо работать, только имея какой-то внешний стимул или испытывая давление извне. В этом смысле проблема стимулирования является вполне насущной как в сфере производительного труда, так и в области организации и управления. Применение методов инженерного проектирования к целой нации, — а это как раз и означает планирование, — «ставит вопрос дисциплины, решить который совсем не просто», пишет американский инженер, обладающий большим опытом планирования на правительственном уровне. К его словам стоит прислушаться: «Для успешного решения инженерной задачи необходимо, чтобы вокруг существовала сравнительно большая зона непланируемой экономической деятельности. Должен быть какой-то резервуар, из которого можно черпать работников. А если работник уволен, то он должен исчезать не только с места работы, но и из платежной ведомости. При отсутствии такого резервуара дисциплину можно будет поддерживать только телесными наказаниями, как при рабском труде»[3].

В сфере администрирования вопрос о санкциях за халатность стоит иначе, но не менее серьезно. Однажды было верно подмечено, что если при конкурентной экономике последней инстанцией является судебный исполнитель, то при плановой экономике — палач[4]. Директор завода в плановой экономике будет наделен значительными полномочиями. Но его положение и доход будут столь же независимы от успеха или неудач вверенного ему предприятия, как положение и доход рабочего. И поскольку не он рискует и не он выигрывает, то решающим фактором является не его личное мнение и забота об интересах дела, а некая правилосообразность его поведения. Так, ошибка, которой «ему следовало избежать», — это не просто ошибка, а преступление против общества, со всеми вытекающими из такой трактовки последствиями. Пока он следует по безопасному пути «честного выполнения своего служебного долга», он может быть уверен в стабильности своего дохода гораздо больше, чем частный предприниматель. Однако стоит ему

3 *Coyle D.C.* The Twilight of National Planning // Harper's Magazine. 1935. October. P. 558.

4 *Roepke W.* Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart. Zürich, 1942. S. 172.

поскользнуться — и последствия будут хуже, чем банкротство. Пока им довольно начальство, он экономически защищен, но защищенность эта покупается ценой свободы.

Таким образом, мы имеем дело с фундаментальным конфликтом между двумя несовместимыми типами общественного устройства, которые часто называют по их наиболее характерным проявлениям коммерческим и военизированным. Термины эти оказались, пожалуй, не очень удачными, поскольку они фокусируют внимание не на самых существенных признаках обеих систем и скрывают тот факт, что перед нами действительная альтернатива и третьего не дано. Либо мы предоставляем индивиду возможность выбирать и рисковать, либо мы лишаем его этой возможности. Армия в самом деле во многих отношениях является хорошей иллюстрацией организации второго типа, где работу и работников распределяет командование, а в случае ограниченности ресурсов все садятся на одинаковый скудный паек. Это единственная система, гарантирующая каждому экономическую защищенность, и распространяя ее на все общество, мы сможем защитить всех. Однако такого рода безопасность неизбежно сопряжена с потерей свободы и с иерархическими отношениями армейского типа. Это безопасность казарм и бараков.

Конечно, вполне возможно создавать в свободном обществе какие-то островки жизни, организованной по этому принципу, и, по-моему, нет причин делать такой образ жизни недопустимым для тех, кто его предпочитает. Действительно, добровольная трудовая служба, организованная по военному образцу, — это, наверное, лучший способ, которым государство может дать всем работу и минимальные средства к существованию. И если до сих пор такие предложения отвергались, то только потому, что люди, готовые пожертвовать свободой ради защищенности, требовали лишить свободы также и тех, кто на это не согласен. Но это уже чересчур.

Однако армия, какой мы ее знаем, дает лишь очень приблизительное представление о том обществе, которое целиком организовано наподобие армии. Когда только часть общества организована по военному образцу, присутствовавшая в ней несвобода смягчается сознанием того, что рядом есть и свободная жизнь, куда можно уйти, если ограничения станут слишком тягостными. Чтобы представить себе общество, устроенное, как об этом мечтали многие поколения социалистов, наподобие большой фабрики, надо обратиться взором к древней Спарте или к современной Гер-

мании, которая, пройдя долгий путь, кажется, приблизилась к этому идеалу.

В обществе, привыкшем к свободе, вряд ли найдется сразу много людей, сознательно готовых получить такой ценой уверенность в завтрашнем дне. Но действия правительства, предоставляющего привилегии защищенности то одной социальной группе, то другой, очень быстро могут привести к созданию условий, в которых стремление получить гарантии экономической стабильности окажется сильнее, чем любовь к свободе. Ведь гарантированная защищенность одних оборачивается большей незащищенностью всех остальных. Если один твердо знает, что он всегда получит определенный кусок постоянно меняющегося в размерах пирога, то другие рискуют остаться голодными. При этом все время снижается значение главного фактора безопасности, присутствующего в конкурентной системе, — огромного многообразия открытых для каждого возможностей.

В рамках рыночной экономики защищенность отдельных групп может быть обеспечена только с помощью особых методов планирования, известных под названием рестрикций. Именно к этим методам сводится все планирование, осуществляемое в настоящее время. Чтобы гарантировать в условиях рынка определенный уровень дохода производителям какого-то товара, нужен «контроль», т.е. ограничение производства, позволяющее, устанавливая «соответствующие» цены, получать «необходимый» доход. Но это сужает возможности, открытые для других. Если производитель, — неважно, предприниматель или рабочий, — будет застрахован от последствий деятельности предприятий, не входящих в монополистическое объединение, предлагающих тот же товар по более низкой цене, это означает, что другие, находящиеся в худшем положении, не допускаются к относительному благополучию, достигнутому в контролируемой отрасли. Любое ограничение доступа новых предпринимателей в какую-то отрасль уменьшает их уверенность в завтрашнем дне. А по мере роста числа людей (и числа отраслей), доход которых оказывается гарантированным, снижается число возможностей для тех, кто лишился дохода. И если, как это в последнее время все чаще случается, работники благополучной отрасли получают возможность повысить свои доходы (в форме прибыли или зарплаты), исключая других, то тем, кто лишился работы, идти бывает уже некуда. В результате каждое изменение конъюнктуры вызывает всплеск безработицы. Нет никакого сомнения, что безработица пос-

ледних десятилетий и неуверенность в завтрашнем дне большого числа людей объясняются в огромной степени стремлением получать таким путем гарантии экономической защищенности.

В Англии и в Америке такие рестрикции (в особенности те, что затрагивают средние слои) лишь недавно приняли серьезные масштабы, и мы еще не успели ощутить их последствия. Только тот, кто испытал полную безнадежность положения человека в разделенном непроницаемыми перегородками обществе, кто оказался лишенным доступа к занятиям, обеспечивающим гарантированное благополучие, только тот способен осознать глубину пропасти, отделяющей безработного от счастливого обладателя заветного места, который настолько защищен от конкуренции, что даже не думает потесниться. Речь, конечно, идет не о том, чтобы счастливчики уступали свои места тем, кому не повезло, но ведь должны же они как-то участвовать в общем несчастье, испытывая снижение доходов или по крайней мере отказываясь от надежд на еще большее преуспеяние в будущем. Однако это невозможно, пока существует поддерживаемая правительством уверенность, что обеспечение определенного «уровня жизни» или «справедливого вознаграждения» является необходимостью. В результате такой политики резким колебаниям подвергаются теперь не цены, заработки и личные доходы, а производство и занятость. Пожалуй, не было в истории худшей эксплуатации, чем эта провоцируемая правительственной «регуляцией» конкурентных отношений эксплуатация еще не окрепших или менее удачливых производителей другими производителями, прочно стоящими на ногах. Немного найдется лозунгов, причинивших столько вреда, сколько призыв к «стабилизации» цен (или заработков), ибо, укрепляя положение одних, он в то же время ведет к расшатыванию позиций других.

Итак, чем больше мы стремимся обеспечить всеобщую экономическую защищенность, воздействуя на механизмы рынка, тем меньше оказывается реальная защищенность людей. И, что гораздо хуже, это приводит к усилению контраста между положением привилегированной части общества и положением тех, кто лишен привилегий. А кроме того, превращение защищенности в привилегию делает ее все более и более желанной. Рост числа привилегированных людей и углубление разрыва между ними и остальным обществом рождают совершенно новые социальные установки и ценности. Поэтому уже не независимость и свобода, но экономическая защищенность определяет социальный статус человека. И девуш-

ки стремятся уже выйти замуж не за того, кто полезен обществу, а за человека, имеющего гарантированную зарплату. А юноша, не сумевший попасть в число избранных, рискует на всю жизнь оказаться неприкаянным, отверженным, парией в нашем обществе.

Рестрикции, нацеленные на обеспечение экономической защищенности, проводимые или поддерживаемые государством, уже привели к серьезным изменениям в обществе. Лидером в этом процессе оказалась Германия, а остальные страны последовали за ней. Катализатором, значительно ускорившим развитие событий, стал ряд дополнительных факторов, явившихся еще одним следствием распространения социалистических идей: резкое снижение относительного процента деятельности, связанной с экономическим риском, и моральное осуждение высоких доходов, оправдывающих риск, но доступных лишь немногим. Мы не можем сегодня осуждать молодых людей, предпочитающих твердую зарплату риску предпринимательства, ибо в течение всей своей сознательной жизни они слышат, что такое положение является и более надежным, и более нравственным. Нынешнее поколение выросло в такой обстановке, когда школа и пресса делали все, чтобы дискредитировать дух свободной конкуренции и представить предпринимательство как занятие аморальное, когда человека, нанявшего на работу сотню других людей, называли не иначе как эксплуататором, а человека, командующего таким же количеством подчиненных, — героем. Люди постарше могут усмотреть здесь преувеличение, но мой опыт ежедневного общения со студентами не оставил у меня никаких сомнений, что антикапиталистическая пропаганда изменила ценности нового поколения, и это случилось раньше, чем стали меняться социальные институты. Вопрос, таким образом, заключается в том, не разрушим ли мы ценности, которые по-прежнему считаем высшими, приспосабливая сегодня организацию общества к новым требованиям.

Сдвиги в общественных структурах, ставшие результатом победы идеала экономической защищенности, можно проиллюстрировать, сопоставляя английское и немецкое общество десятидвенадцатилетней давности. Как бы ни было велико влияние армии в Германии, оно далеко не объясняет того, что англичане расценивали как «милитаризацию» немецкого общества. Причины здесь гораздо глубже, так как и в кругах, находившихся под влиянием армии, и в кругах, где это влияние было ничтожным, ситуация была при-

мерно одинаковая. И дело не в том, что почти в любой момент значительная часть немецкого народа (больше, чем в других странах) была организована для ведения войны. Дело в том, что тип организации, характерный для военной машины, применялся во многих сферах гражданской жизни. Ни в какой другой стране не использовался так широко принцип иерархической организации «сверху вниз», нигде не было такого количества людей, занятых в самых различных областях, которые ощущали бы себя не свободными гражданами, но функционерами. Это и придавало немецкому обществу совершенно особый характер. Как хвастались сами немцы, Германия превратилась в государство чиновников, в котором доход и положение в обществе гарантируются властями не только на государственной службе, но почти во всех областях.

Я сомневаюсь, что можно силой подавить дух свободы, но я не уверен, что каждый народ смог бы противостоять медленному удушению, происходившему в Германии. Когда только государственная служба обеспечивает положение в обществе, а исполнение служебного долга рассматривается как нечто несравненно более достойное, чем свободный выбор собственного поля деятельности, когда все занятия, не дающие признанного места в государственной иерархии или права на стабильный гарантированный заработок, считаются чуть ли не постыдными, трудно ожидать, что найдется много людей, которые предпочтут защищенности свободу. И если при этом альтернативой защищенному, но подчиненному положению является позиция в высшей степени шаткая, вызывающая презрение как в случае неудач, так и в случае успеха, стоит ли удивляться, что лишь очень немногие смогут побороть искушение променять свободу на обеспеченность. Когда все зашло так далеко, свобода превращается почти что в издевательство, так как обрести ее можно, только отказавшись от всех земных благ. Люди, доведенные до такого состояния, начинают думать, что «свобода ничего не стоит», и они с радостью принесут ее в жертву, променяв на гарантии защищенности. Это можно понять. Гораздо труднее понять профессора Гарольда Ласки, выдвигающего в Англии тот же аргумент, ставший роковым для немецкого народа[5].

5 «Каждый, кому знаком быт бедняков с его постоянным чувством надвигающейся катастрофы, с судорожной погоней за всегда ускользающей мечтой, сможет понять, что свобода без экономической защищенности ничего не стоит» (*Laski H.J.* Liberty in the Modern State. Pelican edition, 1937. P. 51).

Безусловно, предоставление гарантий на случай невзгод и лишений должно быть одной из основных целей политики правительства. Так же как и принятие мер, способствующих выбору более перспективных занятий. Но чтобы эти меры были успешными и не угрожали свободе личности, любые гарантии необходимо предоставлять вне сферы рыночных отношений. Конкуренция должна функционировать беспрепятственно. Какие-то экономические гарантии нужны даже для сохранения свободы, ибо большинство людей согласны рисковать, только если риск не очень велик. Тем не менее нет ничего страшнее модной ныне в среде интеллектуалов идеи обеспечения защищенности в ущерб свободе. Нам надо опять учиться смелости, ибо мы должны без страха признать, что за свободу приходится платить и каждый должен быть готов ради свободы идти на материальные жертвы. И надо вновь вспомнить слова Бенджамина Франклина, выражающие кредо англосаксонских стран, но равно применимые как к странам, так и к людям: «Те, кто в главном отказываются от свободы во имя временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности».

X. Почему к власти приходят худшие?

Всякая власть развращает,
но абсолютная власть развращает абсолютно.
Лорд Актон

Теперь мы сосредоточим внимание на одном убеждении, благодаря которому многие начинают считать, что тоталитаризм неизбежен, а другие теряют решимость активно ему противостоять. Речь идет о весьма распространенной идее, что самыми отвратительными своими чертами тоталитарные режимы обязаны исторической случайности, ибо у истоков их каждый раз оказывалась кучка мерзавцев и бандитов. И если, например, в Германии к власти пришли Штрейхеры и Киллингеры, Леи и Хайнсы, Гиммлеры и Гейдрихи, то это свидетельствует, может быть, о порочности немецкой нации, но не о том, что возвышению таких людей способствует сам государственный строй. Разве не могут во главе тоталитарной системы стоять порядочные люди, которые, думая о благе всего общества, будут действительно решать грандиозные задачи?

Нам говорят: не будем себя обманывать — не все хорошие люди обязательно являются демократами, и не все они хотят участвовать в управлении государством. Многие, безусловно, предпочтут доверить эту работу тем, кого они считают компетентными. И пусть это звучит не очень разумно, но почему бы не поддержать диктатуру хороших людей? Ведь тоталитаризм — это эффективная система, которая может действовать как во зло, так и во благо — в зависимости от того, кто стоит у власти. И если бояться надо не системы, а дурных ее руководителей, то не следует ли просто заранее позаботиться, чтобы власть, когда придет время, оказалась в руках людей доброй воли?

Я совершенно уверен, что фашистский режим в Англии или в США серьезно отличался бы от его итальянской и немецкой версий. И если бы переход к нему не сопровождался насилием, наши фюреры могли бы оказаться много лучше. И когда бы мне было судьбой начертано жить при фашистском режиме, я предпочел бы

фашизм английский или американский всем другим его разновидностям. Это не означает, однако, что по нашим сегодняшним меркам фашистская система, возникни она в нашей стране, оказалась бы в конце концов принципиально иной, скажем более гуманной, чем в других странах. Есть все основания полагать, что худшие проявления существующих ныне тоталитарных систем вовсе не являются случайными, что рано или поздно они возникают при любом тоталитарном правлении. Подобно тому как государственный деятель, обратившийся в условиях демократии к практике планирования экономической жизни, вскоре оказывается перед альтернативой — либо переходить к диктатуре, либо отказываться от своих намерений, так же и диктатор в условиях тоталитаризма должен неминуемо выбирать между отказом от привычных моральных принципов и полным политическим фиаско. Именно поэтому в обществе, где возобладали тоталитарные тенденции, люди нещепетильные, а, попросту говоря, беспринципные имеют гораздо больше шансов на успех. Тот, кто этого не замечает, еще не понял, какая пропасть отделяет тоталитарное общество от либерального и насколько вся нравственная атмосфера коллективизма несовместима с коренными индивидуалистическими ценностями западной цивилизации.

«Моральные основы коллективизма» были уже предметом многих дискуссий. Однако нас здесь интересуют не столько его моральные основы, сколько его моральные результаты. Главной этической проблемой считается обычно совместимость коллективизма с существующими моральными принципами. Или вопрос о выработке новых моральных принципов, которые необходимы для подкрепления оправдавшего все надежды коллективизма. Но мы поставим вопрос несколько иначе: какими станут моральные принципы в результате победы коллективистского принципа организации общества, какие нравственные убеждения при этом возобладают? Ведь взаимодействие нравственности с общественными институтами вполне может привести к тому, что этика, порожденная коллективизмом, будет сильно отличаться от этических идеалов, заставлявших к нему стремиться. Мы часто думаем, что если наше стремление к коллективизму продиктовано высокими моральными побуждениями, то и само общество, основанное на принципах коллективизма, станет средоточием добродетелей. Между тем непонятно, почему система должна обладать теми же достоинствами, что и побуждения, которые привели к ее созданию. В действительности нравственность в коллективистском обществе будет зависеть частично от

индивидуальных качеств, которые будут обеспечивать в нем успех, а частично — от потребностей аппарата тоталитарной власти.

Вернемся на минуту к состоянию, предшествующему подавлению демократических институтов и созданию тоталитарного режима. На этой стадии доминирующим фактором является всеобщее недовольство правительством, которое представляется медлительным и пассивным, скованным по рукам и ногам громоздкой демократической процедурой. В такой ситуации, когда все требуют быстрых и решительных действий, наиболее привлекательным для масс оказывается политический деятель (или партия), кажущийся достаточно сильным, чтобы «что-то предпринять». «Сильный» в данном случае вовсе не означает «располагающий численным большинством», поскольку всеобщее недовольство вызвано как раз бездеятельностью парламентского большинства. Важно, чтобы лидер этот обладал сильной поддержкой, внушающей уверенность, что он сможет осуществить перемены эффективно и быстро. Именно так на политической арене и возникает партия нового типа, организованная по военному образцу.

В странах Центральной Европы благодаря усилиям социалистов массы привыкли к политическим организациям военизированного типа, охватывающим по возможности частную жизнь своих членов. Поэтому для завоевания одной группой безраздельной власти можно было, взяв на вооружение этот принцип, пойти несколько дальше и сделать ставку не на обеспечение голоса своих сторонников на нечастых выборах, а на абсолютную и безоговорочную поддержку небольшой, но жестко выстроенной организации. Возможность установления тоталитарного режима во всей стране во многом зависит от этого первого шага — от способности лидера сплотить вокруг себя группу людей, готовых добровольно подчиняться строгой дисциплине и силой навязывать ее остальным.

На самом деле социалистические партии были достаточно мощными, и если бы они решились применить силу, то могли добиться чего угодно. Но они на это не шли. Сами того не подозревая, они поставили перед собой цель, осуществить которую могли только люди, готовые преступить любые общепринятые нравственные барьеры.

Социализм можно осуществить на практике только с помощью методов, отвергаемых большинством социалистов. В прошлом этот урок усвоили многие социальные реформаторы. Старым

социалистическим партиям не хватало безжалостности, необходимой для практического решения поставленных ими задач. Им мешали их демократические идеалы. Характерно, что как в Германии, так и в Италии успеху фашизма предшествовал отказ социалистических партий взять на себя ответственность управлять страной. Они действительно не хотели применять методы, к которым вело их учение, и все еще надеялись прийти к всеобщему согласию и выработать план организации общества, удовлетворяющий большинство людей. Но другие между тем уже поняли, что в плановом обществе речь идет не о согласии большинства, но лишь о согласованных действиях одной, достаточно большой группы, готовой управлять всеми делами. А если такой группы не существует, то о том, кто и как может ее создать.

Есть три причины, объясняющие, почему такая относительно большая и сильная группа людей с близкими взглядами будет в любом обществе включать не лучших, а худших его представителей. И критерии, по которым она будет формироваться, являются по нашим меркам почти исключительно негативными.

Прежде всего, чем более образованны и интеллигентны люди, тем более разнообразны их взгляды и вкусы и тем труднее ждать от них единодушия по поводу любой конкретной системы ценностей. Следовательно, если мы хотим достичь единообразия взглядов, мы должны вести поиск в тех слоях общества, для которых характерны низкий моральный и интеллектуальный уровень, примитивные, грубые вкусы и инстинкты. Это не означает, что люди в большинстве своем аморальны, просто самую многочисленную ценностно-однородную группу составляют люди, моральный уровень которых невысок. Людей этих объединяет, так сказать, наименьший общий нравственный знаменатель. И если нам нужна по возможности многочисленная группа, достаточно сильная, чтобы навязывать другим свои взгляды и ценности, мы никогда не обратимся к людям с развитым мировоззрением и вкусом. Мы пойдем в первую очередь к людям толпы, людям «массы» — в уничижительном смысле этого слова, — к наименее оригинальным и самостоятельным, которые смогут оказывать любое идеологическое давление просто своим числом.

Однако если бы потенциальный диктатор полагался исключительно на людей с примитивными и схожими инстинктами, их оказалось бы все-таки слишком мало для осуществления поставленных задач. Поэтому он должен стремиться увеличить их число, обращая других в свою веру.

И здесь в силу вступает второй негативный критерий отбора: ведь проще всего обрести поддержку людей легковерных и послушных, не имеющих собственных убеждений и согласных принять любую готовую систему ценностей, если только ее как следует вколотить им в голову, повторяя одно и то же достаточно часто и достаточно громко. Таким образом, ряды тоталитарной партии будут пополняться людьми с неустойчивыми взглядами и легко возбудимыми эмоциями.

Третий и, быть может, самый важный критерий необходим для любо го искусного демагога, стремящегося сплотить свою группу. Человеческая природа такова, что люди гораздо легче приходят к согласию на основе негативной программы — будь то ненависть к врагу или зависть к преуспевающим соседям, чем на основе программы, утверждающей позитивные задачи и ценности. «Мы» и «они», свои и чужие — на этих противопоставлениях, подогреваемых непрекращающейся борьбой с теми, кто не входит в организацию, построено любое групповое сознание, объединяющее людей, готовых к действию. И всякий лидер, ищущий не просто политической поддержки, а безоговорочной преданности масс, сознательно использует это в своих интересах. Образ врага — внутреннего, такого, как «евреи» или «кулаки», или внешнего — является непременным средством в арсенале всякого диктатора.

То, что в Германии врагом были объявлены «евреи» (пока их место не заняли «плутократы»), было не в меньшей степени выражением антикапиталистической направленности движения, чем борьба против кулачества в России. Дело в том, что в Германии и в Австрии евреи воспринимались как представители капитализма, так как традиционная неприязнь широких слоев населения к коммерции сделала эту область доступной для евреев, лишенных возможности выбирать более престижные занятия. История эта стара как мир: представителей чужой расы допускают только к наименее престижным профессиям и за это начинают ненавидеть их еще больше. Но то, что антисемитизм и антикапитализм в Германии восходят к одному корню, — факт исключительно важный для понимания событий, происходящих в этой стране. И этого, как правило, не замечают иностранные комментаторы.

Было бы неверно считать, что общая тенденция к превращению коллективизма в национализм обусловлена только стремлением

заручиться поддержкой соответствующих кругов. Неясно, может ли вообще коллективистская программа реально существовать иначе, чем в форме какого-нибудь партикуляризма, будь то национализм, расизм или защита интересов отдельного класса. Вера в общность целей и интересов предполагает большее сходство между людьми, чем только подобие их как человеческих существ. И если мы не знаем лично всех членов нашей группы, мы по крайней мере должны быть уверены, что они похожи на тех, кто нас окружает, что они думают и говорят примерно так же и о тех же вещах. Только тогда мы можем отождествляться с ними. Коллективизм немыслим во всемирном масштабе, если только он не будет поставлен на службу узкой элитарной группе. И это не технический, но нравственный вопрос, который боятся поднять все наши социалисты. Если, например, английскому рабочему принадлежит равная доля доходов от английского капитала и право участвовать в решении вопросов его использования на том основании, что капитал этот является результатом эксплуатации, то не логично ли тогда предоставить, скажем, и всем индусам те же права, предполагающие не только получение дохода с английского капитала, но и его использование?

Но ни один социалист не задумывается всерьез над проблемой равномерного распределения доходов с капитала (и самих капитальных ресурсов) между всеми народами мира. Все они исходят из того, что капитал принадлежит не человечеству, а конкретной нации. Но даже и в рамках отдельных стран немногие осмеливаются поднять вопрос о равномерном распределении капитала между экономически развитыми и неразвитыми районами. То, что социалисты провозглашают как долг по отношению к своим гражданам в существующих странах, они не готовы гарантировать иностранцам. Если последовательно придерживаться коллективистской точки зрения, то выдвигаемое малоимущими нациями требование нового передела мира следует признать справедливым, хотя, будь такая идея реализована, ее нынешние самые ярые сторонники потеряли бы не меньше, чем богатые страны. Поэтому они достаточно осторожны, чтобы не настаивать на принципе равенства, но только делают вид, что никто лучше них не сможет организовать жизнь других народов.

Одно из внутренних противоречий коллективистской философии заключается в том, что, поскольку она основана на гуманистической морали, развитой в рамках индивидуализма, областью ее применения могут быть только относительно небольшие груп-

пы. В теории социализм интернационален, но как только дело доходит до его практического применения, будь то в России или в Германии, он оборачивается оголтелым национализмом. Поэтому, в частности, «либеральный социализм», как его представляют себе многие на Западе, — плод чистой теории, тогда как в реальности социализм всегда сопряжен с тоталитаризмом[1]. Коллективизм не оставляет места ни гуманистическому, ни либеральному подходу, но только открывает дорогу тоталитарному партикуляризму.

Если общество или государство поставлены выше, чем индивид, и имеют свои цели, не зависящие от индивидуальных целей и подчиняющие их себе, тогда настоящими гражданами могут считаться только те, чьи цели совпадают с целями общества. Из этого неизбежно следует, что человека можно уважать лишь как члена группы, т.е. лишь постольку и в той мере, в какой он способствует осуществлению общепризнанных целей. Этим, а не тем, что он человек, определяется его человеческое достоинство. Поэтому любые гуманистические ценности, включая интернационализм, будучи продуктом индивидуализма, являются в коллективистской философии чужеродным телом[2].

Коллективистское сообщество является возможным, только если существует или может быть достигнуто единство целей всех его членов. Но и помимо этого есть ряд факторов, усиливающих в такого рода сообществах тенденции к замкнутости и обособленности. Одним из наиболее важных является то обстоятельство, что стремление отождествить себя с группой чаще всего возникает у индивида вследствие чувства собственной неполноценности, а в таком случае принадлежность к группе должна позволить ему ощутить превосходство над окружающими людьми, которые в группу не входят. Иногда, по-видимому, сама возможность дать выход агрессивности, сдерживаемой внутри группы, но направляемой против «чужих», способствует врастанию личности в коллектив. «Нравственный человек и безнравственное общество» — таков

1 Ср. поучительную дискуссию: *Borkenau F.* Socialism: National or International? [London,] 1942.

2 Совершенно в духе коллективизма говорит у Ницше Заратустра: «Тысяча целей существовала до сих пор, ибо существовала тысяча народов. Недостает еще только цепи для тысячи голов, недостает единой цели. Еще у человечества нет цели. Но скажите же, братья мои: если человечеству недостает еще цели, то, быть может, недостает еще и его самого?» [*Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 43; пер. Ю.М. Антоновского].

блестящий и очень точный заголовок книги Рейнгольда Нибура. И хотя не со всеми его выводами можно согласиться, но по крайней мере один тезис в данном случае стоит привести: «Современный человек все чаще склонен считать себя моральным, потому что он переносит свои пороки на все более и более обширные группы»[3]. В самом деле, действуя от имени группы, человек освобождается от многих моральных ограничений, сдерживающих его поведение внутри группы.

Нескрываемая враждебность, с которой большинство сторонников планирования относятся к интернационализму, объясняется среди прочего тем, что в современном мире все внешние контакты препятствуют эффективному планированию. Как обнаружил, к своему прискорбию, издатель одного из наиболее полных коллективных трудов по проблемам планирования, «большинство сторонников планирования являются воинствующими националистами»[4].

Националистические и империалистические пристрастия встречаются среди социалистов гораздо чаще, чем может показаться, хотя и не всегда в такой откровенной форме, как, например, у Уэббов и некоторых других ранних фабианцев, у которых энтузиазм по поводу планирования сочетался с характерным благоговением перед большими и сильными державами и презрением к малым странам. Историк Эли Халеви, вспоминая о своей первой встрече с Уэббами сорок лет назад, отмечал, что их социализм был резко антилиберальным: «Они не испытывали ненависти к тори и даже были к ним на удивление снисходительны, но не щадили либерализма гладстоновского толка. То было время англо-бурской войны, и наиболее прогрессивные либералы вместе с теми, кто начинал тогда создавать лейбористскую партию, были солидарны с бурами и выступали против английского империализма во имя мира и человечности. Но оба Уэбба, как и их друг Бернард Шоу, стояли особняком. Они были настроены вызывающе империалистически. Независимость малых народов может что-то означать для индивидуалиста-либерала, но для таких коллективистов, как они, она не значила ровным счетом ничего. Я до сих пор слышу слова Сиднея Уэбба, который объясняет мне, что будущее принадлежит великим державам, где правят чиновники, а полиция поддерживает

3 *Carr E.H.* The Twenty Year's Crisis. [London,] 1941. P. 203.

4 Planned Society: Yesterday, Today, Tomorrow: A Simposium / Ed. by *F. Mackenzie*. [N.Y.,] 1937. P. XX.

порядок». В другом месте Халеви приводит высказывание Бернарда Шоу, относящееся примерно к тому же времени: «Миром по праву владеют большие и сильные страны, а маленьким лучше не вылезать из своих границ, иначе их просто раздавят»[5].

Если бы эти высказывания принадлежали предшественникам немецкого национал-социализма, они бы вряд ли кого-нибудь удивили. Но они свидетельствуют о том, насколько для всех коллективистов вообще характерно почитание власти и насколько легко приводит оно от социализма к национализму. Что же касается прав малых народов, то в этом отношении позиция Маркса и Энгельса ничем не отличалась от позиций других коллективистов. Современные национал-социалисты охотно подписались бы под некоторыми их высказываниями о чехах и поляках[6].

Если для великих философов индивидуализма XIX столетия — начиная от лорда Актона и Якоба Буркхардта и кончая современными социалистами, которые, как Бертран Рассел, работают в русле либеральной традиции, — власть всегда выступала как абсолютное зло, то для последовательных коллективистов она является самоцелью. И дело не только в том, что, как отмечает Рассел, само стремление организовать жизнь общества по единому плану продиктовано во многом жаждой власти[7]. Более существенно, что для достижения своих целей коллективистам нужна власть — власть одних людей над другими, причем в невиданных доселе масштабах, и от того, сумеют ли они ее достичь, зависит успех всех их начинаний.

Справедливость этого утверждения не могут поколебать трагические иллюзии некоторых либеральных социалистов, считающих, что, отнимая у индивида власть, которой он обладал в условиях либерализма, и передавая ее обществу, мы тем самым уничтожаем власть как таковую. Все, кто так рассуждает, проходят мимо очевидного факта: власть, необходимая для осуществления плана, не просто делегируется, она еще тысячекратно усиливается. Сосредоточив в руках группы руководящих работников власть, которая прежде была рассредоточена среди многих, мы создаем не только

5 *Halevy E.* L'Ere des Tyrannies. Paris, 1938; *Idem*. History of the English People. [Harmondswonth, 1939]. Vol. I. P. 105–106.

6 См. работу Маркса «Революция и контрреволюция», а также письмо Энгельса к Марксу от 23 мая 1851 года.

7 *Russell B.* The Scientific Outlook. [N.Y.,] 1931. P. 211.

беспрецедентную концентрацию власти, но и власть совершенно нового типа. И странно слышать, что власть центрального планирующего органа будет «не большей, чем совокупная власть советов директоров частных компаний»[8]. Во-первых, в конкурентном обществе никто не обладает даже сотой долей той власти, которой будет наделен в социалистическом обществе центральный планирующий орган. А во-вторых, утверждать, что есть какая-то «совокупная власть» капиталистов, которой на самом деле никто не может сознательно воспользоваться, значит просто передергивать термины[9]. Ведь это не более чем игра слов: если бы советы директоров всех компаний действительно договорились между собой о совместных действиях, это означало бы конец конкуренции и начало плановой экономики. Чтобы уменьшить концентрацию абсолютной власти, ее необходимо рассредоточить или децентрализовать. И конкурентная экономика является на сегодняшний день единственной системой, позволяющей минимизировать путем децентрализации власть одних людей над другими.

Как мы уже видели, разделение экономических и политических целей, на которое постоянно нападают социалисты, является необходимой гарантией индивидуальной свободы. К этому можно теперь добавить, что популярный ныне лозунг, призывающий поставить на место экономической власти власть политическую, означает, что вместо власти, по природе своей ограниченной, мы попадаем под ярмо власти, от которой уже нельзя будет убежать. Хотя экономическая власть и может быть орудием насилия, но это всегда власть частного лица, которая отнюдь не беспредельна и не распространяется на всю жизнь другого человека. Это отличает ее от централизованной политической власти, зависимость от которой мало чем отличается от рабства.

Итак, всякая коллективистская система нуждается в определении целей, которые являются общими для всех, и в абсолютной власти,

8 *Lippincott B.E.* Introduction // Lange O., Taylor F.M. On the Economic Theory of Socialism. Minneapolis, 1938. P. 35.

9 Когда мы рассуждаем о власти (power) одних людей над другими, нас не должна смущать аналогия с физическим понятием силы (power), имеющим значение безличной (хотя по своему происхождению антропоморфной) побудительной причины явлений. И если мы не можем говорить об увеличении или уменьшении совокупной существующей в мире силы, то это не относится к власти, которую одни люди сознательно применяют по отношению к другим.

необходимой для осуществления этих целей. В такой системе рождаются и особые моральные нормы, которые в чем-то совпадают с привычной для нас моралью, а в чем-то с ней резко расходятся. Но в одном пункте различие это настолько разительно, что можно усомниться, имеем ли мы вообще здесь дело с моралью. Оказывается, что индивидуальное сознание не только не может вырабатывать здесь собственных правил, но и не знает никаких общих правил, действующих без исключения во всех обстоятельствах. Чрезвычайно трудно поэтому сформулировать принципы коллективистской морали. Но все-таки эти принципы существуют.

Ситуация здесь примерно такая же, как и в случае с правозаконностью. Подобно формальным законам, нормы индивидуалистской этики являются пусть не всегда скрупулезными, но общими по форме и универсальными по применению. Они предписывают или запрещают определенного рода действия независимо от того, какие при этом преследуются цели. Так, красть или лгать, причинять боль или совершать предательство считается дурно, даже если в конкретном случае это не наносит прямого вреда, если от этого никто не страдает или если это совершается во имя какой-то высокой цели. И хотя иногда нам приходится из двух зол выбирать меньшее, каждое из них тем не менее остается злом.

Утверждение «цель оправдывает средства» рассматривается в индивидуалистской этике как отрицание всякой морали вообще. В этике коллективистской оно с необходимостью становится главным моральным принципом. Нет буквально ничего, что не был бы готов совершить последовательный коллективист ради «общего блага», поскольку для него это единственный критерий моральности действий. Коллективистская этика выразила себя наиболее явно в формуле raison d'état, оправдывающей любые действия их целесообразностью. И значение этой формулы для межгосударственных отношений совершенно такое же, как и для отношений между индивидами. Ибо в коллективистском обществе ни совесть, ни какие-либо другие сдерживающие факторы не ограничивают поступки людей, если эти поступки совершаются для «блага общества» или для достижения цели, поставленной руководством.

Отсутствие в коллективистской этике абсолютных формальных правил, конечно, не означает, что коллективистское общество не будет поощрять некоторые полезные привычки своих граждан и подавлять привычки иные. Наоборот, оно будет уделять человеческим привычкам гораздо больше внимания, чем индиви-

дуалистское общество. Чтобы быть полезным членом коллективистского общества, надо обладать совершенно определенными качествами, требующими постоянного упражнения. Мы называем эти качества «полезными привычками», а не «моральными добродетелями», потому что ни при каких обстоятельствах они не должны становиться препятствием на пути достижения целей всего общества или исполнения указаний руководящих инстанций. Они, таким образом, служат как бы для заполнения зазоров между этими целями или указаниями, но никогда не вступают с ними в противоречие.

Различия между качествами, которые будут цениться в коллективистском обществе, и качествами, обреченными в нем на исчезновение, лучше всего можно показать на примере. Возьмем, с одной стороны, добродетели, свойственные немцам, скорее «типичным пруссакам», признаваемые даже их худшими врагами, а с другой — добродетели , по общему мнению, им не свойственные (в такой степени, как, например, англичанам, гордящимся этим обстоятельством, впрочем, не без некоторых оснований). Вряд ли многие станут отрицать, что немцы в целом трудолюбивы и дисциплинированны, основательны и энергичны, добросовестны в любом деле, что у них сильно развиты любовь к порядку, чувство долга и привычка повиноваться властям и что они нередко готовы на большие личные жертвы и выказывают незаурядное мужество в случае физической опасности. Все это делает немцев удобным орудием для выполнения любых поставленных властями задач, и именно в таком духе их воспитывало как старое прусское государство, так и новый рейх, в котором доминируют прусские ориентации. При этом считается, что «типичному немцу» не хватает индивидуалистических качеств, таких, как терпимость, уважение к другим людям и их мнениям, независимость ума и готовность отстаивать свое мнение перед вышестоящими (которую сами немцы, сознающие обычно этот недостаток, называют Zivilcourage — гражданское мужество), сострадание к слабым и, наконец, здоровое презрение к власти, порождаемое обычно лишь долгой традицией личной свободы. Считается также, что немцам недостает качеств, может быть, и не столь заметных, но важных с точки зрения взаимодействия людей, живущих в свободном обществе, — доброты, чувства юмора, откровенности, уважения к частной жизни других и веры в их добрые намерения.

После всего сказанного становится достаточно очевидным, что эти индивидуальные достоинства являются одновременно

достоинствами социальными, облегчающими социальное взаимодействие, которое в результате не нужно (да и сложно) контролировать сверху. Эти качества развиваются в обществе, имеющем индивидуалистический или коммерческий характер, и отсутствуют в коллективистском обществе. Различие это было всегда очень заметно для разных районов Германии, а теперь мы можем его наблюдать, сравнивая Германию со странами Запада. Но еще до недавнего времени в тех частях Германии, где более всего получило развитие цивилизованное коммерческое начало, — в старых торговых городах на юге и на западе, а также в ганзейских городах на севере страны, — моральный климат был гораздо ближе к западным нормам, чем к тем стандартам, которые доминируют ныне во всей Германии.

Было бы, однако, в высшей степени несправедливо считать, что в тоталитарных государствах народные массы, оказывающие поддержку системе, которая нам представляется аморальной, начисто лишены всяких нравственных побуждений. Для большинст-ва людей дело обстоит как раз противоположным образом: моральные переживания, сопровождающие такие движения, как национал-социализм или коммунизм, сопоставимы по своему накалу, вероятно, лишь с переживаниями участников великих исторических религиозных движений. Но если мы допускаем, что индивид — это только средство достижения целей некоторой высшей общности, будь то «общество» или «нация», все ужасы тоталитарного строя становятся неизбежными. Нетерпимость и грубое подавление всякого инакомыслия, полное пренебрежение к жизни и счастью отдельного человека — прямые следствия фундаментальных предпосылок коллективизма. Соглашаясь с этим, сторонники коллективизма в то же время утверждают, что строй этот является более прогрессивным, чем строй, где «эгоистические» интересы индивида препятствуют осуществлению целей общества. Человеку, воспитанному в либеральной традиции, оказывается очень трудно понять, что немецкие философы совершенно искренни, когда они вновь и вновь пытаются доказать, что стремление человека к личному счастью и благополучию является порочным и аморальным и только исполнение долга перед обществом заслуживает уважения.

Там, где существует одна общая высшая цель, не остается места ни для каких этических норм или правил. В известных пределах мы сами испытываем нечто подобное теперь — во время войны. Однако даже война и связанная с ней чрезвычайная опасность рождают в демократических странах лишь очень умеренную вер-

сию тоталитаризма: либеральные ценности не забыты, они только отошли на второй план под действием главной заботы. Но когда все общество поставлено на службу нескольким общим целям, тогда неизбежно жестокость становится исполнением долга и такие действия, как расстрел заложников или убийство слабых и больных, начинают рассматриваться лишь с точки зрения их целесообразности. И насильственная высылка десятков тысяч людей превращается в мудрую политическую акцию, одобряемую всеми, кроме тех, кто стал ее жертвой. Или всерьез изучаются предложения о «призыве в армию женщин с целью размножения». Коллективисты всегда видят перед собой великую цель, оправдывающую действия такого рода, ибо никакие права и ценности личности не должны, по их убеждению, служить препятствием в деле служения обществу.

Граждане тоталитарного государства совершают аморальные действия из преданности идеалу. И хотя идеал этот представляется нам отвратительным, тем не менее их действия являются вполне бескорыстными. Этого, однако, нельзя сказать о руководителях такого государства. Чтобы участвовать в управлении тоталитарной системой, недостаточно просто принимать на веру благовидные объяснения неблаговидных действий. Надо самому быть готовым преступать любые нравственные законы, если этого требуют высшие цели. И поскольку цели устанавливает лишь верховный вождь, то всякий функционер, будучи инструментом в его руках, не может иметь нравственных убеждений. Главное, что от него требуется, — это безоговорочная личная преданность вождю, а вслед за этим — полная беспринципность и готовность буквально на все. Функционер не должен иметь собственных сокровенных идеалов или представлений о добре и зле, которые могли бы исказить намерения вождя. Но из этого следует, что высокие должности вряд ли привлекут людей, имеющих моральные убеждения, направлявшие в прошлом поступки европейцев. Ибо что будет наградой за все безнравственные действия, которые придется совершать, за неизбежный риск, за отказ от личной независимости и от многих радостей частной жизни, сопряженные с руководящим постом? Единственная жажда, которую можно таким образом утолить, — это жажда власти как таковой. Можно упиваться тем, что тебе повинуются и что ты — часть огромной и мощной машины, перед которой ничто не устоит.

И если людей, по нашим меркам достойных, не привлекут высокие посты в аппарате тоталитарной власти, это откроет широкие возможности перед людьми жестокими и неразборчивыми

в средствах. Будет много работы, про которую станет известно, что она «грязная», но что она необходима для достижения высших целей и ее надо выполнять четко и профессионально, как любую другую. И поскольку такой работы будет много, а люди, еще имеющие какие-то моральные убеждения, откажутся ее выполнять, готовность взяться за такую работу станет пропуском к карьере и власти. В тоталитарном обществе найдется много дел, требующих жестокости, запугивания, обмана, слежки. Ведь ни гестапо, ни администрация концлагеря, ни Министерство пропаганды, ни СД, ни СС (как и аналогичные службы в Италии или в Советском Союзе) не являются подходящим местом для упражнения в гуманизме. Но в тоталитарном государстве путь к высокому положению ведет именно через эти организации. Трудно не согласиться с известным американским экономистом, когда после краткого обзора обязанностей властей в коллективистском обществе он приходит к заключению, что «им придется все это делать, хотят они этого или не хотят. А вероятность, что у власти при этом окажутся люди, которым противна сама эта власть, приблизительно равна вероятности того, что человек, известный своей добротой, получит место надсмотрщика на плантации»[10].

Этим, однако, данная тема не исчерпывается. Проблема отбора лидеров является частью более широкой проблемы отбора людей в соответствии с их взглядами или скорее с их готовностью приспособиться к постоянно меняющейся доктрине. И здесь мы не можем не остановиться на одной из наиболее характерных нравственных особенностей тоталитаризма, связанных с его отношением к правде. Но это слишком обширная тема, требующая отдельной главы.

10 *Knight F.H.* // Journal of Political Economy. 1938. December. P. 869.

XI. Конец правды

Характерно, что обобществление мысли повсюду шло рука об руку с обобществлением промышленности.
Эдвард Карр

Чтобы все служили единой системе целей, предусмотренных социальным планом, лучше всего заставить каждого уверовать в эти цели. Для успешной работы тоталитарной машины одного принуждения недостаточно. Важно еще, чтобы люди приняли общие цели как свои собственные. И хотя соответствующие убеждения навязывают им извне, они должны стать внутренними убеждениями, общей верой, благодаря которой каждый индивид сам действует в «запланированном» направлении. И если субъективное ощущение гнета не является в тоталитарных странах таким острым, как воображают многие люди, живущие в условиях либерализма, то только потому, что здесь удается заставить граждан думать в значительной степени так, как это нужно властям.

Это, конечно, достигается различными видами пропаганды, приемы которой сегодня настолько хорошо всем известны, что вряд ли стоит одного об этом говорить. Правда, следует подчеркнуть, что ни сама пропаганда, ни ее техника не являются специфическими атрибутами тоталитаризма. Единственное, что характерно для пропаганды в тоталитарном государстве, — это то, что вся она подчинена одной цели и все ее инструменты тщательно скоординированы для решения единых идеологических задач. Поэтому и производимый ею эффект отличается не только количественно, но и качественно от эффекта пропаганды, осуществляемой множеством независимых субъектов, преследующих различные цели. Когда все средства информации находятся в одних руках, речь идет уже не просто о том, чтобы пытаться посеять в людях те или иные убеждения. В такой ситуации искусный пропагандист обладает почти неограниченной властью над сознанием людей, и даже самые из них разумные и независимые в суждениях не могут полностью избежать пропагандистского влияния, если они отрезаны от других источников информации.

Таким образом, в тоталитарных странах пропаганда действительно владеет умами людей, но особенности ее обусловлены здесь не методами, а лишь целью и размахом. И если бы ее воздействие ограничивалось навязыванием системы ценностей, одобряемых властями, она была бы просто проводником коллективистской морали, о которой мы уже говорили. Проблема тогда свелась бы просто к тому, хорош или плох этический кодекс, которому она учит. Как мы имели возможность убедиться, этические принципы тоталитаризма вряд ли пришлись бы нам по душе. Даже стремление к равенству путем управления экономикой могло бы привести только к официально санкционированному неравенству, т.е. к принудительному определению статуса каждого индивида в новой иерархической структуре, а большинство элементов гуманистической морали, таких, как уважение к человеческой жизни, к слабым и к личности вообще, при этом просто бы исчезло. Впрочем, как ни отвратительно это для большинства людей, как ни оскорбителен для их морального чувства коллективистский этический кодекс, его все же не всегда можно назвать прямо аморальным. Для строгих моралистов консервативного толка он, наверное, даже привлекательнее в каких-то своих чертах, чем мягкие и снисходительные нормы либерального общества.

Но тоталитарная пропаганда приводит и к более серьезным последствиям, разрушительным для всякой морали вообще, ибо она затрагивает то, что служит основой человеческой нравственности: чувство правды и уважение к правде. По самой природе своих целей тоталитарная пропаганда не может ограничиться теми ценностями и нравственными убеждениями, в которых человек и так следует взглядам, принятым в обществе, но должна распространяться также и на область фактов, к которым человеческое сознание находится уже в совсем другом отношении. Дело здесь вот в чем. Во-первых, чтобы заставить людей принять официальные ценности, их надо обосновать, т.е. показать их связь с другими очевидными ценностями, а для этого нужны суждения о причинной зависимости между средствами и целями. И во-вторых, поскольку различие целей и средств является на деле вовсе не таким определенным и ясным, как в теории, людей приходится убеждать не только в правомерности целей, но и в необходимости конкретных путей их достижения и всех, связанных с этим, обстоятельств.

Мы уже убедились, что всенародная солидарность с всеобъемлющим этическим кодексом или с единой системой ценностей, скрыто присутствующей в любом экономическом плане, — вещь неведомая в свободном обществе. Ее придется создавать с нуля. Из этого, однако, не следует, что планирующие органы будут с самого начала отдавать себе в этом отчет. А если даже и будут, то вряд ли окажется возможным разработать такой кодекс заблаговременно. Конфликты между различными потребностями мало-помалу будут давать о себе знать, и по мере того как они станут проявляться, надо будет принимать какие-то решения. Таким образом, кодекс этот не будет чем-то, что существует априори и направляет решения, а будет, наоборот, рождаться из самих этих решений. Мы убедились и в том, что невозможность отделить проблему целей и ценностей от конкретных решений становится камнем преткновения в деятельности демократического правительства. Не будучи в состоянии проработать все технические детали плана, оно должно еще прийти к соглашению относительно общих целей планирования.

И поскольку планирующей инстанции придется все время решать вопросы «по существу дела», не опираясь ни на какие определенные моральные установления, решения эти надо будет постоянно обосновывать или по крайней мере каким-то образом убеждать людей, что они правильны. И хотя тот, кто принимает решения, может руководствоваться при этом всего лишь собственными предрассудками, какой-то общий принцип здесь все же должен быть публично заявлен, ибо люди должны не просто пассивно подчиняться проводимой политике, а активно ее поддерживать. Таким образом, деятельность индивидов, осуществляющих планирование, направляется за неимением ничего лучшего их субъективными предпочтениями, которым, однако, надо придать убедительную, рациональную форму, способную привлечь как можно больше людей. Для этой цели формулируются суждения, связывающие между собой определенные факты, т.е. создаются специальные теории, которые становятся затем составной частью идеологической доктрины.

Этот процесс создания «мифа», оправдывающего действия властей, не обязательно является сознательным. Лидер тоталитарного общества может руководствоваться просто инстинктивной ненавистью к существующему порядку вещей и желанием создать новый иерархический порядок, соответствующий его представлениям о справедливости. Он может, к примеру, просто не любить евреев, которые выглядят такими преуспевающими в мире, где для

него самого не нашлось подходящего места, и, с другой стороны, восхищаться стройными белокурыми людьми, так напоминающими благородных героев романов, читанных им в юные годы. Поэтому он охотно принимает теории, подводящие рациональную базу под предрассудки, в которых он, впрочем, не одинок. Так псевдонаучная теория становится частью официальной идеологии, направляющей в той или иной мере действия многих и многих людей. Или не менее распространенная неприязнь к индустриальной цивилизации и романтизация сельской жизни, подкрепленная суждениями (по-видимому, ошибочными), что деревня рождает лучших воинов, дает пищу для еще одного мифа — Blut und Boden («кровь и почва»), содержащего не только указания на высшие ценности, но и целый ряд причинно-следственных утверждений, которые нельзя подвергнуть сомнению, ибо они относятся к области идеалов, направляющих жизнь всего общества.

Необходимость создания таких официальных доктрин, являющихся инструментом воздействия на жизнь целого общества и всех его членов, была обоснована многими теоретиками тоталитаризма. «Благодарная ложь» Платона, как и «мифы» Сореля, призваны служить тем же целям, что и расовая теория нацистов или теория корпоративного государства Муссолини. Они являются прежде всего особой формой теоретической интерпретации фактов, оправдывающей априорные мнения или предрассудки.

Чтобы люди действительно принимали ценности, которыми, они должны беззаветно служить, лучше всего убедить их, что это те самые ценности, которых они (по крайней мере, самые достойные из них) придерживались всегда, только до сих пор интерпретация этих ценностей была неверной. Тогда они начнут поклоняться новым богам в уверенности, что новый культ отвечает их чаяниям — тому, что они смутно чувствовали всегда. В такой ситуации самый простой и эффективный прием — использовать старые слова в новых значениях. И это становится одной из наиболее характерных особенностей интеллектуального климата тоталитаризма, сбивающей с толку внешних наблюдателей: извращение языка, смещение значений слов, выражающих идеалы режима.

Больше всего страдает, конечно, слово «свобода», которое в тоталитарных странах используют столь же часто, как в либеральных. Действительно, когда бы ни наносился урон свободе в привычном для нас значении этого слова, это всегда сопровождалось обе-

щаниями каких-нибудь новых свобод. Чтобы не поддаться искушению лозунга «Новые свободы взамен старых»[1], надо быть постоянно начеку. А ведь есть еще и сторонники «планирования во имя свободы», сулящие нам «коллективную свободу объединившихся людей», смысл которой становится совершенно ясен, если принять во внимание, что, «разумеется, достижение планируемой свободы не будет означать одновременного уничтожения всех <sic!> форм свободы, существовавших прежде». Надо отдать должное д-ру К. Манхейму, которому принадлежат эти слова, что он все-таки предупреждает, что «понятие свободы, сформированное в прошлом столетии, служит препятствием к подлинному пониманию и этой проблемы»[2]. Но само слово «свобода» в его рассуждениях столь же сомнительно, как и в устах тоталитарных политиков. «Коллективная свобода», о которой все они ведут речь, — это не свобода каждого члена общества, а ничем не ограниченная свобода планирующих органов делать с обществом все, что они пожелают[3]. Это смешение свободы с властью, доведенное до абсурда.

В данном случае извращение значения слова было, без сомнения, хорошо подготовлено развитием немецкой философии, и не в последнюю очередь теоретиками социализма. Но «свобода» — далеко не единственное слово, которое, став инструментом тоталитарной пропаганды, изменило свое значение на прямо противоположное. Мы уже видели, как то же самое происходит с «законом» и «справедливостью», «правами» и «равенством». Список этот можно продолжать до тех пор, пока в него не войдут практически все широко бытующие этические и политические категории.

Тот, кто не наблюдал это «изнутри», не может вообразить, насколько широко может практиковаться передергивание значений привычных слов и какую оно порождает смысловую невнятицу, не поддающуюся разумному анализу. Надо видеть собственными глазами, как перестают понимать друг друга родные братья, когда один из них, обратившись в новую веру, начинает говорить

1 Это заголовок одной из недавно опубликованных работ историка К. Бекера.

2 *Mannheim K.* Man and Society in an Age of Reconstruction. [London,] 1940. P. 377.

3 Как справедливо замечает Питер Друкер, «чем меньше действительной свободы, тем больше разговоров о „новой свободе“. Однако все это только слова, прикрывающие прямую противоположность тому, что в Европе когда-либо понималось под свободой... Новая свобода, проповедуемая теперь в Европе, — это право большинства навязывать свою волю личности» (*Drucker P.* The End of Economic Man. [N.Y.,] 1939. P. 74).

совсем другим языком. А кроме того, изменение значений слов, выражающих политические идеалы, происходит не однажды. Оно становится пропагандистским приемом, сознательным или бессознательным, используется вновь и вновь, постоянно смещая все смысловые ориентиры. По мере того как этот процесс набирает силу, язык оказывается выхолощенным, а слова превращаются в пустые скорлупки, значения которых могут свободно изменяться на прямо противоположные. Единственное, что продолжает действовать, — это механизм эмоциональных ассоциаций, и он используется в полной мере.

Несложно лишить большинство людей способности самостоятельно мыслить. Но надо еще заставить молчать меньшинство, сохранившее волю к разумной критике. Как мы уже убедились, дело не сводится к навязыванию морального кодекса, служащего основой социального плана. Многие пункты такого кодекса не поддаются формулированию и существуют в неявном виде в деталях самого плана и в действиях правительства, которые должны поэтому приобрести характер священнодействия, свободного от всякой критики. И чтобы люди безоглядно поддерживали общее дело, они должны быть убеждены, что как цель, так и средства выбраны правильно. Поэтому официальная вера, к которой надо приобщить всех, будет включать интерпретацию всех фактов, имеющих отношение к плану. А любая критика или сомнения будут решительно подавляться, ибо они могут ослабить единодушие. Вот, например, как описывают Уэббы ситуацию, типичную для любого предприятия в России: «Когда работа идет, всякое публичное выражение сомнений или опасений, что план не удастся выполнить, расценивается как проявление нелояльности и даже неблагонадежности, поскольку это может отрицательно повлиять на настроение и работоспособность других рабочих»[4]. А если сомнения или опасения касаются не успеха конкретного дела, а социального плана в целом, это должно быть квалифицировано уже как саботаж.

Таким образом, факты и теории станут столь же неотъемлемой частью идеологии, как и вопросы морали. И все каналы распространения знаний — школа и печать, радио и кинематограф — будут использоваться исключительно для пропаганды таких взглядов, которые независимо от их истинности послужат укрепле-

4 *Webb S., Webb B.* Soviet Communism. [London; N.Y., 1935]. P. 1038.

нию веры в правоту властей. При этом всякая информация, способная посеять сомнения или породить колебания, окажется под запретом. Единственным критерием допустимости тех или иных сообщений станет оценка их возможного воздействия на лояльность граждан. Короче говоря, ситуация при тоталитарном режиме будет всегда такой, какой она бывает в других странах лишь во время войны. От людей будут скрывать все, что может вызвать сомнения в мудрости правительства или породить к нему недоверие. Информация об условиях жизни за рубежом, которая может дать почву для неблагоприятных сравнений, знание о возможных альтернативах избранному курсу, сведения, позволяющие догадываться о просчетах правительства, об упущенных им шансах улучшения жизни в стране, и т.д. — все это окажется под запретом. В результате не останется буквально ни одной области, где не будет осуществляться систематический контроль информации, направленный на полную унификацию взглядов.

Это относится и к областям, казалось бы, далеким от политики, например к наукам, даже к самым отвлеченным. То, что в условиях тоталитаризма в гуманитарных дисциплинах, таких, как история, юриспруденция или экономика, не может быть разрешено объективное исследование и единственной задачей становится обоснование официальных взглядов, — факт очевидный и уже подтвержденный практически. Во всех тоталитарных странах эти науки стали самыми продуктивными поставщиками официальной мифологии, используемой властями для воздействия на разум и волю граждан. Характерно, что в этих областях ученые даже не делают вид, что занимаются поиском истины, а какие концепции надо разрабатывать и публиковать, решают власти.

Тоталитарный контроль распространяется, однако, и на области, не имеющие на первый взгляд политического значения. Иной раз бывает трудно объяснить, почему та или иная доктрина получает официальную поддержку или, наоборот, порицание, но, как ни странно, в различных тоталитарных странах симпатии и антипатии оказываются во многом схожими. В частности, в них наблюдается устойчивая негативная реакция на абстрактные формы мышления, характерная также и для поборников коллективизма среди наших ученых. В конечном счете не так уж важно, отвергается ли теория относительности потому, что она принадлежит к числу «семитских происков, подрывающих основы христианской и нордической физики», или потому, что «противоречит основам марксизма и ди-

алектического материализма». Так же не имеет большого значения, продиктованы ли нападки на некоторые теоремы из области математической статистики тем, что они «являются частью классовой борьбы на переднем крае идеологического фронта и появление их обусловлено исторической ролью математики как служанки буржуазии», или же вся эта область целиком отрицается на том основании, что «в ней отсутствуют гарантии, что она будет служить интересам народа». Кажется, не только прикладная, но и чистая математика рассматривается с таких же позиций, во всяком случае, некоторые взгляды на природу непрерывных функций могут быть квалифицированы как «буржуазные предрассудки». По свидетельству Уэббов, журнал «За марксистско-ленинское естествознание» пестрит заголовками типа «За партийность в математике» или «За чистоту марксистско-ленинского учения в хирургии». В Германии ситуация примерно такая же. Журнал национал-социалистической ассоциации математиков просто до краев наполнен «партийностью», а один из самых известных немецких физиков, — лауреат Нобелевской премии Ленард подытожил труды своей жизни в издании «Немецкая физика в четырех томах»!

Осуждение любой деятельности, не имеющей очевидной практической цели, соответствует самому духу тоталитаризма. Наука для науки или искусство для искусства равно ненавистны нацистам, нашим интеллектуалам-социалистам и коммунистам. Основанием для всякой деятельности должна быть осознанная социальная цель. Любая спонтанность или непроясненность задач нежелательны, так как они могут привести к непредвиденным результатам, противоречащим плану, просто немыслимым в рамках философии, направляющей планирование. Этот принцип распространяется даже на игры и развлечения. Пусть читатель сам гадает — в России или в Германии прозвучал официальный призыв, обращенный к шахматистам: «Мы должны раз и навсегда покончить с нейтральностью шахмат и бесповоротно осудить формулу „шахматы для шахмат“, как и „искусство для искусства“».

Какими бы ни казались невероятными подобные извращения, мы должны ясно отдавать себе отчет, что это отнюдь не случайные отклонения, никак не связанные с сутью тоталитарной системы. К этому неизбежно приводят попытки подчинить все и вся «единой концепции целого», стремление поддержать любой ценой представления, во имя которых людей обрекают на постоянные жертвы, и вообще идея, что человеческие мысли и убеждения явля-

ются инструментами достижения заранее избранной цели. Когда наука поставлена на службу не истине, но интересам класса, общества или государства, ее единственной задачей становится обоснование и распространение представлений, направляющих всю общественную жизнь. Как объяснил нацистский министр юстиции, всякая новая научная теория должна прежде всего поставить перед собой вопрос: «Служу ли я национал-социализму?»

Само слово «истина» теряет при этом свое прежнее значение. Если раньше его использовали для описания того, что требовалось отыскать, а критерии находились в области индивидуального сознания, то теперь речь идет о чем-то, что устанавливают власти, во что нужно верить в интересах единства общего дела и что может изменяться, когда того требуют эти интересы.

Трудно понять, не испытав на собственном опыте, все своеобразие интеллектуальной атмосферы тоталитарного строя — свойственные ей цинизм и безразличие к истине, исчезновение духа независимого исследования и веры в разум, повсеместное превращение научных дискуссий в политические, где последнее слово принадлежит властям, и т.д. Но, быть может, самым тревожным является то обстоятельство, что осуждение интеллектуальной свободы, характерное для уже существующих тоталитарных режимов, проповедуется и в свободном обществе теми интеллектуальными лидерами, которые стоят на позициях коллективизма. Люди, претендующие в либеральных странах на звание ученых, не только оправдывают любое угнетение и насилие во имя идеалов социализма, но и открыто призывают к нетерпимости. Разве не убедились мы в этом совсем недавно, ознакомившись с мнением английского ученого, считающего, что инквизиция «полезна для науки, когда она служит интересам восходящего класса»[5]. Такая точка зрения практически неотличима от взглядов нацистов, заставляющих их преследовать людей науки, устраивать костры из научных книг и систематически, в национальных масштабах искоренять интеллигенцию.

Конечно, стремление навязать людям веру, которая должна стать для них спасительной, не является изобретением нашей эпохи. Новыми являются, пожалуй, только аргументы, которыми наши интеллектуалы пытаются это обосновать. Так, они заявляют, что в существующем обществе нет реальной свободы мысли, потому

5 *Crowther J.G.* The Social Relations of Science. [N.Y.,] 1941. P. 333.

что вкусы и мнения масс формируются пропагандой, рекламой, модой, образом жизни высшего класса и другими условиями, заставляющими мышление двигаться по проторенным дорожкам. Из этого они заключают, что, поскольку идеалы и склонности большинства людей обусловлены обстоятельствами, поддающимися контролю, мы должны использовать это, чтобы сознательно направлять мышление в русло, которое представляется желательным.

Возможно, это и верно, что большинство людей не способны мыслить самостоятельно, что они в основном придерживаются общепринятых убеждений и чувствуют себя одинаково хорошо, исповедуя взгляды, усвоенные с рождения или навязанные в результате каких-то более поздних влияний. Свобода мысли в любом обществе играет важную роль лишь для меньшинства. Но это не означает, что кто-либо имеет право определять, кому эта свобода может быть предоставлена. Никакая группа людей не может присваивать себе власть над мышлением и взглядами других. Из того, что большинство подвержено интеллектуальным влияниям, не следует, что надо руководить мыслью всех. Нельзя отрицать ценность свободы мысли на том основании, что она не способна дать всем равные возможности, ибо суть этой свободы как перводвигателя интеллектуального развития вовсе не в том, что каждый имеет право говорить или писать все что угодно, а в том, что любая идея может быть подвергнута обсуждению. И пока в обществе не подавляется инакомыслие, всегда найдется кто-нибудь, кто усомнится в идеях, владеющих умами его современников, и станет пропагандировать новые идеи, вынося их на суд других.

Этот процесс взаимодействия индивидов, обладающих различным знанием и стоящих на различных точках зрения, и является основой развития мысли. Социальная природа человеческого разума требует поэтому разномыслия. По самой своей сути результаты мышления не могут быть предсказуемы, ибо мы не знаем, какие представления будут способствовать интеллектуальному прогрессу, а какие — нет. Иначе говоря, никакие существующие в данный момент взгляды не могут направлять развитие мысли, в то же время не ограничивая его. Поэтому «планирование» или «организация» интеллектуального развития, как и всякого развития вообще, — это абсурд, противоречие в терминах. Мысль, что человеческий разум должен «сознательно» контролировать собственное развитие, возникает в результате смешения представлений об индивидуальном разуме, который только и может что-либо «созна-

тельно контролировать», с представлениями о межличностном и надличностном процессе, благодаря которому это развитие происходит. Пытаясь его контролировать, мы лишь устанавливаем пределы развитию разума, что рано или поздно приведет к интеллектуальному застою и упадку мышления.

Трагедия коллективистской мысли заключается в том, что, постулируя вначале разум как верховный фактор развития, она в конце приходит к его разрушению, ибо неверно трактует процесс, являющийся основой движения разума. Парадоксальным образом коллективистская доктрина, выдвигая принцип «сознательного» планирования, неизбежно наделяет высшей властью какой-то индивидуальный разум, в то время как индивидуализм, наоборот, позволяет понять значение в общественной жизни надындивидуальных сил. Смирение перед социальными силами и терпимость к различным мнениям, характерные для индивидуализма, являются тем самым полной противоположностью интеллектуальной гордыне, стоящей за всякой идеей единого руководства общественной жизнью.

XII. Социалистические корни нацизма

Все антилиберальные силы объединяются против
всего либерального.
Артур Меллер ван ден Брук

Существует распространенное заблуждение, что национал-социализм — это просто бунт против разума, иррациональное движение, не имеющее интеллектуальных корней. Будь это на самом деле так, движение это не таило бы в себе столько опасности. Однако такая точка зрения не имеет под собой никаких оснований. Доктрина национал-социализма является кульминационной точкой длительного процесса развития идей, в котором участвовали мыслители, известные не только в Германии, но и далеко за ее пределами. И что бы мы ни говорили сегодня об исходных посылках этого направления, никто не станет отрицать, что у истоков его стояли действительно серьезные авторы, оказавшие большое влияние на развитие европейской мысли. Свою систему они строили жестко и последовательно. Приняв ее исходные посылки, уже невозможно свернуть в сторону, избежать неумолимой логики дальнейших выводов. Это чистый коллективизм, свободный от малейшего налета индивидуалистской традиции, которая могла бы помешать его осуществлению.

Наибольший вклад, безусловно, внесли в этот процесс немецкие мыслители, хотя они отнюдь не были на этом пути одиноки. Томас Карлейль и Хьюстон Стюарт Чемберлен, Огюст Конт и Жорж Сорель не уступают в этом отношении ни одному из немцев. Эволюцию этих идей в самой Германии хорошо проследил Р.Д. Батлер в опубликованном недавно исследовании «Корни национал-социализма». Как можно заключить из этой книги, на протяжении ста пятидесяти лет это направление периодически возрождалось, демонстрируя поразительную и зловещую живучесть. Однако до 1914 года значение его было невелико: оно оставалось одним из многих направлений мысли в стране, отличавшейся тогда, быть может, самым большим в мире разнообразием философских

идей. Этих взглядов придерживалось незначительное меньшинство, а у большинства немцев они вызывали не меньшее презрение, чем у всех остальных народов.

Почему же эти убеждения реакционного меньшинства получили в конечном счете поддержку большинства жителей Германии и практически целиком захватили умы ее молодого поколения? Причины этого нельзя сводить только к поражению в войне и сложностям послевоенной жизни, к последовавшему за этим росту национализма и уж тем более (как этого хотели бы многие) к капиталистической реакции на наступление социализма. Наоборот, как раз поддержка со стороны социалистов и привела сторонников этих идей к власти. И не при помощи буржуазии они получили власть, а скорее в силу отсутствия крепкой буржуазии.

Идеи, которые в последнем поколении вышли на передний план в политической жизни Германии, противостояли не социализму в марксизме, а содержащимся в нем либеральным элементам — интернационализму и демократии. И по мере того как становилось все более очевидно, что эти элементы мешают осуществлению социализма, левые социалисты постепенно смыкались с правыми. В результате возник союз левых и правых антикапиталистических сил, своеобразный сплав радикального и консервативного социализма, который и искоренил в Германии все проявления либерализма.

Социализм в Германии был с самого начала тесно связан с национализмом. Характерно, что наиболее значительные предшественники национал-социализма — Фихте, Родбертус и Лассаль — являются в то же время признанными отцами социализма. Пока в немецком рабочем движении широко использовался теоретический социализм в его марксистской версии, авторитарные и националистические концепции находились в тени. Но это продолжалось недолго[1]. Начиная с 1914 года из рядов марксистов один за другим стали выдвигаться проповедники, обращавшие в национал-социалистическую веру уже не консерваторов и реакционеров, а рабочих и идеалистически настроенную молодежь. И только после этого волна национал-социализма, достигнув своего апогея, привела к появлению гитлеризма. Военная истерия,

1 Да и то лишь отчасти, если в 1892 году один из лидеров социал-демократической партии, Август Бебель, мог сказать Бисмарку: «Имперский канцлер может не сомневаться, что немецкая социал-демократия — это что-то вроде подготовительной школы милитаризма!»

от которой побежденная Германия так полностью и не излечилась, стала отправной точкой современного движения, породившего национал-социализм, причем огромную помощь оказали в этом социалисты.

Первым и, пожалуй, наиболее характерным представителем этого направления является покойный профессор Вернер Зомбарт, чья нашумевшая книга «Торгаши и герои» вышла в свет в 1915 году. Зомбарт начинал как социалист-марксист и еще в 1909 году мог с гордостью утверждать, что бóльшую часть своей жизни он посвятил борьбе за идеи Карла Маркса. Он действительно, как никто другой, способствовал распространению в Германии социалистических и антикапиталистических идей. И если марксистская мысль пронизывала тогда всю интеллектуальную атмосферу этой страны (в гораздо большей степени, чем это было в других странах, кроме разве что послереволюционной России), то это была во многом его заслуга. Зомбарт считался выдающимся представителем преследуемой социалистической интеллигенции и из-за своих радикальных взглядов не мог получить кафедру в университете. И даже после войны как в Германии, так и за ее пределами влияние его исторических исследований (в которых он оставался марксистом, перестав быть марксистом в политике) было очень заметным. Оно, в частности, прослеживается в работах английских и американских сторонников планирования.

Так вот, этот заслуженный социалист приветствует в своей книге «Германскую войну», которая является, по его мнению, неизбежным выражением конфликта между коммерческим духом английской цивилизации и героической культурой Германии. Его презрение к «торгашеству» англичан, начисто утративших военный дух, поистине не знает границ, ибо нет ничего более постыдного, чем стремление к индивидуальному благополучию. Главный, как он считает, принцип английской морали — «да будет у тебя все благополучно и да продлятся твои дни на земле» — является «самым отвратительным из принципов, порожденных духом коммерции». В соответствии с «немецкой идеей государственности», восходящей еще к Фихте, Лассалю и Родбертусу, государство основано и сформировано не индивидами, не является совокупностью индивидов и цель его вовсе не в том, чтобы служить интересам личности. Это Volksgemeinschaft — «национальная общность», в рамках которой у личности нет прав, но есть только обязанности, А всякие притязания личности — лишь проявление торгашеского

духа. «Идеи 1789 года» — свобода, равенство, братство — это торгашеские идеалы, единственная цель которых — дать преимущества частным лицам.

До 1914 года, рассуждает далее Зомбарт, подлинно германские героические идеалы находились в небрежении и опасности, исходившей от английских коммерческих идеалов, английского образа жизни и английского спорта. Англичане не только сами окончательно разложились, так что каждый профсоюзный деятель по горло увяз в трясине комфортабельной жизни, но и начали заражать другие народы. Только война напомнила немцам, что они являются нацией воинов, народом, вся деятельность которого (в особенности экономическая) связана в конечном счете с военными целями. Зомбарт знает, что другие народы презирают немцев за культ милитаризма, но сам он этим гордится. Только коммерческое сознание могло счесть войну бесчеловечным и бессмысленным предприятием. Есть жизнь более высокая, чем жизнь личности, и это жизнь нации и государства. А предназначение индивида — приносить себя в жертву этим высшим ценностям. Таким образом, война — воплощение героической жизни, а война против Англии — это война с ненавистным коммерческим идеалом, идеалом личной свободы и комфорта, символизируемого, по Зомбарту, безопасными бритвами, которые немецкие солдаты находили в английских окопах.

Если неистовые выпады Зомбарта выглядели тогда чересчур напористыми даже для большинства немцев, то рассуждения другого немецкого профессора, точно такие же по смыслу, но более мягкие и академичные по форме, оказались поэтому и более приемлемыми. Иоганн Пленге был столь же авторитетным марксистом, как и Зомбарт. Его книга «Маркс и Гегель» положила начало гегельянскому ренессансу среди ученых-марксистов. И нет никаких сомнений, что он начинал свою деятельность как самый настоящий социалист. Из многочисленных его публикаций военного времени наиболее важной является, пожалуй, небольшая, но получившая широкий резонанс книжка с примечательным заголовком «1789 и 1914: символические годы в истории политической мысли». В ней разбирается конфликт между «идеями 1789-го», т.е. идеалом свободы, и «идеями 1914-го», т.е. идеалом организации.

Для Пленге, как и для большинства социалистов, черпающих свои идеалы из приложения технических представлений

к проблемам общественной жизни, организация составляет сущность социализма. Как он совершенно справедливо отмечает, идея организации была исходным пунктом социалистического движения, зародившегося во Франции в начале XVIII века. Маркс и марксисты предали эту идею, променяв ее на абстрактную и беспочвенную идею свободы. И только теперь мы вновь наблюдаем возврат к идее организации, причем повсюду, о чем свидетельствуют, например, труды Герберта Уэллса, которого он характеризует как одного из выдающихся деятелей современного социализма. (Книга Г. Уэллса «Будущее в Америке» оказала большое влияние на Пленге.) Но более всего идея эта расцвела в Германии, где ее смогли наилучшим образом понять и применить. Война Англии и Германии является, следовательно, войной между двумя противоположными принципами. Это «экономическая мировая война» — третья фаза великой духовной битвы современной истории, стоящая на одном уровне с Реформацией и буржуазной революцией, принесшей идеалы свободы. Исход этой борьбы предрешен: в ней победят новые, восходящие силы, рожденные в горниле экономического прогресса XIX столетия. Это социализм и организация.

«Поскольку в идеологической сфере Германия была наиболее последовательным сторонником социалистической мечты, — пишет Пленге, — а в сфере реальности — сильнейшим архитектором высокоорганизованной экономической системы, XX век — это мы. Как бы ни закончилась война, мы будем служить образцом для других народов. Нашими идеями будет руководствоваться все человечество. Сегодня на сцене Всемирной Истории разыгрывается колоссальное действо: с нами побеждает и входит в жизнь новый всемирно-исторический идеал, а в Англии одновременно рушится ветхий принцип, который повсеместно господствовал ранее».

Военная экономика, созданная в Германии в 1914 году, — «первый опыт построения социализма, ибо ее дух — активный, а не потребительский — это подлинный социалистический дух. Требования военного времени привели к установлению социалистического принципа в экономической жизни, а необходимость обороны страны подарила миру идею немецкой организации, национальной общности, национального социализма... Мы даже не заметили, как вся наша политическая жизнь в государстве и в промышленности поднялась на более высокий уровень. Государство и экономика образуют теперь совершенно новое единство... Чувство экономической ответственности, характерное для работы государственного служа-

щего, пронизывает теперь все виды частной деятельности». Это новое, истинно германское корпоративное устройство экономической жизни (которое Пленге считает, впрочем, еще не полностью созревшим) «есть высшая форма жизни государства, когда-либо существовавшая на Земле».

Вначале профессор Пленге еще надеялся примирить идеал свободы с идеалом организации путем полного, хотя и добровольного, подчинения индивида обществу. Но вскоре всякие остатки либерализма исчезают из его трудов. К 1918 году принцип единства социализма и политического насилия прояснился для него окончательно. Вот что он писал в социалистическом журнале Die Glocke незадолго до конца войны: «Пора признать, что социализм должен проводиться с позиций силы, поскольку он равнозначен организации. Социализму надлежит завоевывать власть, а не слепо ее разрушать. И когда в мире идет война между народами, самым важным, по сути решающим для социализма является вопрос: какая из наций более всех предрасположена к власти, какая из них может служить примером и организатором для других?»

А далее следует тезис, послуживший позднее для обоснования Гитлером идеи Нового Порядка. «Разве не является с точки зрения социализма, который тождествен организации, право наций на самоопределение правом на индивидуалистическую экономическую анархию? Хотим ли мы предоставить индивиду полное право на самоопределение в экономической жизни? Последовательный социализм может давать людям право объединяться только в соответствии с реальной, исторически детерминированной расстановкой сил».

Идеалы, так ясно выраженные Пленге, были особенно популярны в определенных кругах немецких ученых и инженеров, призывавших к всесторонней плановой организации общественной жизни, как это теперь делают их английские и американские коллеги. Лидером этого движения был знаменитый химик Вильгельм Оствальд, одно из высказываний которого получило большую известность. Рассказывают, что он публично заявил, что «Германия хочет организовать Европу, в которой до сих пор еще отсутствует организация. Я открою вам величайший секрет Германии: мы, то есть вся германская нация, обнаружили значение принципа организации. И пока все остальные народы прозябают при индивидуалистическом режиме, мы живем уже в режиме организации».

Очень похожие идеи высказывались в кругах, близких к немецкому сырьевому диктатору Вальтеру Ратенау. Хотя он, возможно, и содрогнулся бы, поняв, куда заведет страну тоталитарная экономика, но, рассматривая историю зарождения нацистских идей, нельзя пройти мимо его мыслей, ибо его труды оказали наибольшее влияние на экономические воззрения того поколения немцев, которое сформировалось во время и сразу после войны. А некоторые из его ближайших сотрудников позднее составили костяк геринговского Управления пятилетнего плана. Близким по смыслу и значению были и рассуждения еще одного бывшего марксиста — Фридриха Науманна: его книга «Центральная Европа» была, наверное, самым популярным произведением времен войны[2].

Но честь развить эти идеи с наибольшей полнотой и добиться их повсеместного распространения выпала на долю представителя левого крыла социал-демократической партии в рейхстаге Пауля Ленша. Уже в своих первых книгах Ленш изобразил войну как «поспешное отступление английской буржуазии перед натиском социализма» и объяснил, насколько различаются между собой социалистический идеал свободы и соответствующий английский идеал. Но лишь в третьей из опубликованных им книг, озаглавленной «Три года мировой революции», его идеи, не без влияния Пленге, расцвели пышным цветом[3]. Аргументы Ленша основаны на интересном и во многих отношениях точном историческом анализе последствий проводившейся в Германии Бисмарком политики протекционизма. Политика эта привела к такой концентрации и картелизации производства, которая для марксиста Ленша выглядит как высшая стадия индустриального развития.

«В результате решений, принятых Бисмарком в 1879 году, Германия ступила на путь революционного развития, т.е. стала единственным в мире государством, обладающим столь высокой и прогрессивной экономической системой. Поэтому в происходящей ныне Мировой Революции Германия является представителем революционных сил, а ее главный противник, Англия, — сил контр-

2 Хорошее изложение взглядов Науманна, не менее точно выражающих специфически немецкое сочетание социализма с империализмом, чем цитаты, которые мы приводим в тексте, можно найти в изд.: *Butler R.D.* The Roots of National Socialism. [London,] 1941. P. 203–209.

3 Английский перевод этой книги был опубликован еще во время войны каким-то весьма дальновидным человеком: *Lensch P.* Three Years of World Revolution / With preface by J.E.M. London, 1918.

революционных. Мы можем таким образом убедиться, что государственный строй, будь то либеральный и республиканский или монархический и автократический, очень мало влияет на то, является ли в исторической перспективе та или иная страна свободной. Иначе говоря, наши представления о свободе, демократии и т.д. ведут свое происхождение от английского индивидуализма, в соответствии с которым свободной считается страна со слабым правительством, а всякое ограничение свободы личности расценивается как автократия и милитаризм».

В Германии, которая «в силу своего исторического предназначения» должна была явить другим странам образец нового экономического устройства, «были заранее созданы все условия, необходимые для победы социализма. Поэтому задачей всех социалистических партий является поддержка Германии в борьбе с ее врагами, чтобы она могла выполнить свою историческую миссию и революционизировать весь мир. Война стран Антанты против Германии напоминает попытки низших слоев буржуазии в докапиталистический период остановить упадок своего класса».

Организация капитала, пишет далее Ленш, «начавшаяся неосознанно еще в довоенный период, а во время войны продолженная вполне целенаправленно, будет проводиться после войны на систематической основе, причем не просто из любви к организации и не потому, что социализм получил признание как высший принцип общественного устройства. Классы, которые являются сегодня на деле пионерами социализма, в теории считаются или еще недавно считались его заклятыми противниками. Социализм наступает и в какой-то мере уже наступил потому, что мы больше не можем без него существовать».

Этой тенденции сегодня противятся только либералы. «Люди, составляющие этот класс, бессознательно ориентируются на английские стандарты. К ним можно отнести всю немецкую просвещенную буржуазию. Их политический словарь, включающий такие термины, как „свобода“, „права человека“, „конституция“, „парламентаризм“, выражает индивидуалистское либеральное мировоззрение, английское по своему происхождению, взятое на вооружение в Германии буржуазными деятелями в 50-х, 60-х и 70-х годах XIX века. Но эти понятия безнадежно устарели, как и в целом либерализм, падение которого ускорила нынешняя война. От этого наследия теперь надлежит избавиться, чтобы обратиться всецело к разработке новых понятий Государства и Общества. Социализм яв-

ляется в этом смысле сознательной и определенной альтернативой индивидуализму. Сегодня уже нельзя закрывать глаза на тот факт, что в так называемой „реакционной" Германии рабочий класс завоевал себе гораздо более прочные позиции в государстве, чем в Англии или во Франции».

Выводы, к которым приходит Ленш, заслуживают самого пристального внимания, ибо являются во многих отношениях очень точными. «Поскольку социал-демократы заняли благодаря всеобщему избирательному праву все возможные места в рейхстаге, в муниципальных советах, в арбитраже и в судах, в системе социального обеспечения и т.д., они очень глубоко проникли в государственный организм. Но за это пришлось заплатить тем, что государство, в свою очередь, стало оказывать огромное влияние на трудящихся. В результате усилий, предпринимаемых социалистами на протяжении вот уже пятидесяти лет, государство очень изменилось по сравнению с 1867 годом, когда было впервые введено всеобщее избирательное право. Но соответственно изменилась и социал-демократия. Можно утверждать, что государство подверглось процессу социализации, а социал-демократия — процессу национализации».

Идеи Пленге и Ленша проложили дорогу для уже непосредственных творцов национал-социализма, таких, как — назовем лишь два наиболее известных имени — Освальд Шпенглер и Артур Меллер ван ден Брук[4]. Можно спорить, в какой степени является социалистом Шпенглер, но совершенно очевидно, что его работа «Пруссачество и социализм», опубликованная в 1920 году, выражает идеи, владевшие в то время умами немецких социалистов. Чтобы в этом убедиться, достаточно нескольких извлечений. «Старый прусский дух и социалистические убеждения, которые сегодня враждуют между собой, как могут враждовать только братья, являются совершенно тождественными». Представители западной цивилизации в Германии — немецкие либералы — это «незримая английская армия, оставленная Наполеоном на немецкой земле после битвы при Йене». Все либеральные реформаторы, такие, как Харденберг или Гум-

4 То же самое можно сказать и о многих, других интеллектуальных лидерах, принадлежавших к поколению, породившему нацизм, таких, как Отмар Шпанн, Ганс Фрейер, Карл Шмитт или Эрнст Юнгер. Об их взглядах см.: *Kolnai A.* The War against the West. [London,] 1938. Эта работа имеет только тот недостаток, что, ограничившись послевоенным периодом, когда эти идеи уже были подхвачены националистами, автор упустил из виду их подлинных творцов — социалистов.

больт, были для Шпенглера «англичанами». Но «английский дух» будет изгнан германской революцией, начавшейся в 1914 году.

«Три последние нации Запада стремились к трем формам существования, выраженным в знаменитых лозунгах Свобода, Равенство, Братство. В формах политического устройства они проявлялись как либеральный парламентаризм, социальная демократия и авторитарный социализм[5] ...Немецкий, а точнее, прусский дух наделяет властью целое... Каждому отведено свое место. Человек руководит либо подчиняется. Таков начиная с XVIII века авторитарный социализм — течение антилиберальное и антидемократическое, если иметь в виду английский либерализм и французскую демократию... Многое вызывает ненависть или пользуется дурной репутацией в Германии, но только либерализм вызывает презрение на немецкой земле.

Структура английской нации основана на разграничении богатых и бедных, прусской — на разграничении руководящих и подчиненных. Соответственно совершенно по-разному проходят в этих странах водоразделы между классами».

Отметив принципиальные различия между английской конкурентной системой и прусской системой «управления экономикой» и показав (сознательно следуя выкладкам Ленша), как, начиная с Бисмарка, целенаправленная организация экономической деятельности постепенно приобретала социалистические формы, Шпенглер далее пишет следующее. «В Пруссии существовало подлинное государство в самом высоком смысле этого слова. Там не было частных лиц. Всякий человек, живший внутри этой системы, которая работала с точностью часового механизма, выполнял в ней какую-то функцию. Поэтому управление делами общества не могло находиться в руках частных лиц, как того требует парламентаризм. Это была государственная служба, и всякий ответственный политик всегда был слугой целого».

«Прусская идея» предполагает, что каждый должен быть официальным лицом, находящимся на жалованье у государства. В частности, управление любой собственностью осуществляют

---

5 Эта формула Шпенглера воспроизводится в часто цитируемом высказывании Шмитта, ведущего нацистского эксперта по конституционному праву. Он утверждал, что эволюция государства проходит через «три последовательные диалектические стадии — от абсолютистской стадии XVII–XVIII веков, через нейтральную либеральную стадию XIX века к тоталитарной стадии, на которой государство полностью совпадает с обществом» (*Schmitt C.* Der Hüter der Verfassung. Tübingen, 1931. P. 79).

только государственные уполномоченные. Тем самым государство будущего — это государство чиновников. Но есть «критический вопрос, и не только для Германии, но и для всего мира, и Германии предстоит решить его для всего мира: станет ли в будущем торговля управлять государством или государство — торговлей? В решении этого вопроса пруссачество и социализм совпадают... Пруссачество и социализм борются с Англией — Англией среди нас».

Апостолу национал-социализма Меллеру ван ден Бруку оставалось после этого сделать только один шаг, объявив Первую мировую войну войной между либерализмом и социализмом. «Мы проиграли войну с Западом: социализм потерпел поражение от либерализма»[6]. Для него, как и для Шпенглера, либерализм является врагом номер один. Меллер ван ден Брук с гордостью заявляет, что «в сегодняшней Германии нет либералов. Есть молодые революционеры, есть молодые консерваторы. Но кому сейчас придет в голову быть либералом? Либерализм — это философия, от которой немецкая молодежь отворачивается с презрением, с гневом, с характерной усмешкой, ибо нет ничего более чуждого, более отвратительного, более противного ее умонастроениям. Молодежь Германии видит в либерализме своего главного врага».

«Третий Рейх» Меллера ван ден Брука обещал принести немцам социализм, приспособленный к характеру германской нации и очищенный от западных либеральных идей. Так оно, собственно, и случилось.

Эти авторы не были одиноки: они двигались в общем потоке идей, захвативших Германию, Еще в 1922 году беспристрастный наблюдатель с удивлением отмечал, что в этой стране «многие считают борьбу с капитализмом продолжением войны с Антантой, перенесенной в область духа и экономической организации, и рассматривают это как путь к практическому социализму, который позволит вернуть немецкому народу его самые благородные традиции»[7].

6 *Moeller van den Brock A.* Socialismus und Aussenpolitik. [Breslau,] 1933. P. 87, 90, 100. Статьи, собранные в этом сборнике, в частности статья «Ленин и Кейнс», где этот тезис обосновывается более подробно, были впервые опубликованы между 1919 и 1923 годами.

7 *Pribram K.* Deutscher Nationalismus und Deutscher Socialismus // Archiv für Social-wissenschaft und Socialpolitik. 1922. Bd. 49. P. 298–299. Автор, в частности, упоминает философа Макса Шелера, проповедующего «всемирную социалистическую миссию Германии», и марксиста К. Корша, пишущего о духе новой народной общности — Volksgemeinschaft.

Идея борьбы с либерализмом — тем либерализмом, который победил Германию, — носилась в воздухе и объединяла социалистов и консерваторов, выступавших в итоге единым фронтом. Первоначально эта идея была с готовностью воспринята немецким молодежным движением, где доминировали социалистические умонастроения и где родился первый сплав социализма с национализмом. С конца 20-х годов и до прихода к власти Гитлера выразителями этой тенденции в интеллектуальной среде были молодые люди, сгруппировавшиеся вокруг журнала Die Tat и возглавляемые Фердинандом Фридом. Пожалуй, самым характерным плодом деятельности этой группы, известной как Edelnazis (нацисты-аристократы), стала книга Фрида «Конец капитализма». Сходство ее со многими издающимися сейчас в Англии и США произведениями очевидно. Там и здесь можно найти попытки сближения левого и правого социализма и одинаковое презрение к отжившим принципам либерализма, и, честно говоря, все это не может не вызывать тревоги. «Консервативный социализм» (а в несколько иных кругах — «религиозный социализм») — под этим лозунгом создавалась в Германии атмосфера, в которой добился успеха «национал-социализм». И именно «консервативный социализм» необыкновенно популярен у нас сегодня. Не означает ли это, что еще до начала реальной войны мы стали терпеть поражение в войне, ведущейся «в области духа и экономической организации»?

XIII. Тоталитаристы среди нас

Когда власть рядится в одежды организатора,
она становится столь привлекательной,
что способна превратить союз свободных людей
в тоталитарное государство.
Times

Вероятно, размах, который приобретает произвол в странах с тоталитарным режимом, вместо того чтобы увеличивать опасения, что то же самое может случиться и в более просвещенных странах, наоборот, укрепляет уверенность в том, что это невозможно. Когда мы сравниваем Англию с нацистской Германией, контраст оказывается настолько разительным, что мы не можем допустить и мысли, что в нашей стране события пойдут когда-нибудь таким же путем. А тот факт, что контраст этот в последнее время усиливается, как будто опровергает всякие предположения о том, что мы движемся в том же направлении. Но не будем забывать, что еще пятнадцать лет назад возможность нынешнего положения дел в Германии тоже представлялась фантастической, и не только для девяти десятых самих немцев, но и для самых недружелюбно настроенных иностранных наблюдателей, какими бы прозорливыми они ни казались нам сегодня.

Однако, как мы уже говорили, сегодняшнее состояние демократических стран напоминает не современную Германию, но Германию двадцати—тридцатилетней давности. Есть множество признаков, казавшихся тогда «чисто немецкими», а ныне вполне характерных и для Англии, которые можно расценить как симптомы той же болезни. Самый существенный из них мы уже упоминали. Это смыкание правых с левыми по экономическим вопросам и их общее противостояние либерализму, бывшему до этого основой английской политики. Здесь можно сослаться на авторитет Гарольда Николсона, утверждавшего, что при последнем консервативном правительстве среди рядовых членов парламента от консервативной партии «наиболее способные все были в душе

социалистами»[1]. И вряд ли есть какие-то сомнения, что, как и во времена фабианцев, социалисты ныне больше симпатизируют консерваторам, нежели либералам. Есть и другие признаки, тесно с этим связанные. Крепнущий день ото дня культ государства, восхищение властью, гигантомания, стремление организовать все и вся (мы теперь называем это «планированием») и полная неготовность предоставить вещи их собственному естественному развитию — черты, беспокоившие фон Трейчке в немцах еще шестьдесят лет назад, — все это присутствует сегодня в английской действительности в не меньшей степени, чем в свое время в Германии.

Чтобы убедиться, насколько далеко зашла за последние двадцать лет Англия по пути, намеченному Германией, достаточно обратиться к работам, написанным во время прошлой войны, авторы которых обсуждают различия английской и немецкой точек зрения на вопросы политики и морали. Пожалуй, тогда у британской публики были более адекватные представления об этих различиях, чем сейчас. Если в то время англичане гордились своеобразием своих подходов и традиций, то теперь большинство из них либо стыдятся взглядов, считавшихся тогда типично английскими, либо начисто их отвергают. Вряд ли будет преувеличением сказать, что, чем более английским представлялся тогда миру тот или иной автор, писавший о политике или проблемах общества, тем прочнее забыт он сейчас своими же соотечественниками. Такие люди, как лорд Морли или Генри Сиджвик, лорд Актон или А.В. Дайси, которыми в то время восхищался весь мир, ибо их работы считались образцом английской либеральной политической мудрости, для нынешнего поколения англичан не более чем старомодные викторианцы. Быть может, ничто не свидетельствует так ярко о происшедших за это время переменах, как то, что в современной английской литературе нет недостатка в симпатиях к Бисмарку, но имя Гладстона редко упоминается без иронической усмешки по поводу его викторианской морали и наивного утопизма.

Я попробую передать тревожное впечатление, возникающее при чтении некоторых английских работ, где анализируются идеи, получившие распространение в Германии во время прошлой войны, в которых буквально каждое слово можно отнести и к взглядам, доминирующим сейчас в английской литературе. Для начала про-

1 Spectator. 1940. 12 April. P. 523.

цитирую лорда Кейнса, обнаружившего в 1915 году в типичной для того времени немецкой работе то, что он называет «дурным сном». В соответствии с мыслью автора даже в мирное время промышленность должна оставаться мобильной. Это он имеет в виду, говоря о «милитаризации промышленности» (таков заголовок анализируемой работы). С индивидуализмом надо покончить раз и навсегда. Должна быть создана система регуляции, объектом которой будет не счастье отдельного человека (профессор Яффе заявляет это без всякого стеснения), но укрепление организованного единства государства с целью максимального повышения эффективности (Leistungsfähigkeit), влияние которого на благополучие индивида будет лишь опосредованным. Эта чудовищная доктрина подается под своеобразным идеалистическим соусом. Нация превратится в «самостоятельное единство» и станет тем, чем ей надлежит быть согласно Платону — «воплощением человека в большом». Близящийся мир принесет, среди прочего, усиление государственного влияния в промышленности... Иностранные капиталовложения, эмиграция, индустриальная политика, трактующая весь мир как рынок, — все это слишком опасно. Старый, отмирающий подход к развитию промышленности, основанный на выгоде, уступит место подходу, основанному исключительно на власти. Так новая Германия XX века положит конец капитализму, пришедшему сто лет тому назад из Англии»[2]. Если не считать того, что ни один английский автор не осмелился пока (насколько мне известно) открыто пренебрегать счастьем отдельного человека, все сказанное отражается сегодня как в зеркале в современной английской литературе.

Однако не только идеи, открывшие в Германии и в других странах дорогу тоталитаризму, но и принципы тоталитаризма как такового завладевают ныне умами в демократических странах. Несмотря на то что в Англии найдется сегодня немного людей, готовых целиком проглотить тоталитарную пилюлю, различные авторы успешно скармливают ее нам по частям. Нет, пожалуй, ни одной страницы в книге Гитлера, которую бы нам кто-нибудь, живущий в Англии или в США, не порекомендовал прочитать и использовать для наших целей. Это относится и к тем, кто является смертельным врагом Гитлера. Мы не должны забывать, что люди, покинувшие Германию или ставшие ее врагами в результате проводимой там антисе-

2 Economic Journal. 1915. P. 450.

митской политики, нередко являются при этом убежденными тоталитаристами немецкого типа[3].

Никакое общее описание не может передать поразительного сходства идей, получивших ныне распространение в английской политической литературе, со взглядами, подорвавшими в свое время в Германии веру в устои западной цивилизации и создавшими атмосферу, в которой мог добиться успеха нацизм. Сходство это проявляется не только в содержании, но и (пожалуй, даже в большей степени) в стиле обсуждения проблем, в готовности ломать все культурные связи и традиции, делая ставку на один конкретный эксперимент. Как это было и в Германии, большинство современных работ, подготавливающих в демократических странах почву для тоталитаризма, принадлежит перу искренних идеалистов, а нередко и выдающихся интеллектуалов. И хотя, может быть, не очень корректно выделять в качестве иллюстрации нескольких авторов там, где речь могла бы идти о сотнях их единомышленников, я не вижу другого пути, чтобы продемонстрировать, как далеко зашло уже развитие этих идей. При этом я буду сознательно выбирать только тех, чья честность и незаинтересованность находятся вне подозрений. Я попытаюсь таким образом передать интеллектуальный климат, в котором зарождаются тоталитарные идеи, однако мне вряд ли удастся решить не менее важную задачу — охарактеризовать современную эмоциональную атмосферу демократических стран, которые и в этом отношении напоминают Германию двадцатилетней давности. Чтобы усматривать в привычных теперь явлениях симптомы страшной болезни, нужны также специальные исследования незаметных порой сдвигов в структуре языка и мышления. Так, встречая людей, настаивающих на необходимости различать «великие» и «мелкие» идеи или повсеместно заменять старые «статиче-

3 Чтобы понять, какая часть социалистов на самом деле перешла в нацисты, надо учитывать, что истинное соотношение мы получим, сравнивая число обратившихся в нацизм не с общим числом бывших социалистов, а с числом тех, кому могло помешать перейти в другой лагерь их расовое происхождение. Действительно, любопытной чертой политической эмиграции из Германии является относительно низкий процент левых, которые не являются в то же время «евреями» в немецком смысле этого термина. Весьма часто приходится сегодня слышать восхваления в адрес немецкой системы, предваряемые выступлениями вроде того, что прозвучало недавно на конференции, посвященной изучению «заслуживающих внимания тоталитарных методов экономической мобилизации»: «Г-н Гитлер — это совсем не мой идеал. Есть чрезвычайно веские личные причины, по которым г-н Гитлер не может быть моим идеалом. Но...»

ские» или «частичные» представления новыми «динамическими» или «глобальными», можно научиться видеть в том, что на первый взгляд кажется нонсенсом, проявление знакомой нам уже интеллектуальной позиции, изучением которой мы здесь занимаемся.

Я хочу в первую очередь обратиться к двум работам, принадлежащим перу выдающегося ученого и привлекшим в последние годы большое внимание. В современной английской литературе найдется немного столь же ярких примеров влияния сугубо немецких идей, как книги профессора Э.Х. Карра «Двадцатилетний кризис» и «Условия мира».

В первой из этих книг профессор Карр честно признается, что он является последователем «реалистической „исторической школы", ведущей свое происхождение из Германии и отмеченной именами таких великих мыслителей, как Гегель и Маркс». Как он объясняет, реалист — это «тот, кто рассматривает мораль как функцию политики» и «не может логически допустить никаких ценностей, кроме основанных на фактах». В полном соответствии с немецкой традицией «реализм» противостоит «утопизму», восходящему к XVIII веку, «который является индивидуалистическим принципом, то есть объявляет высшим судьей совесть человека». Но старая мораль с ее «абстрактными общими принципами» должна исчезнуть, поскольку «эмпирик рассматривает и решает каждый конкретный вопрос отдельно». Иными словами, значение имеет только целесообразность, и, как убеждает нас автор, даже «правило pacta sunt servanda [договоры должны соблюдаться] не является моральным принципом». И профессора Карра совсем не беспокоит, что без общих принципов решение конкретных дел окажется в зависимости от чьих-то мнений, а международные договоры, не будучи сопряжены с моральными обязательствами, потеряют смысл.

Хотя профессор Карр и не говорит об этом прямо, из всех его суждений вытекает, что Англия воевала в последней войне не на той стороне, на которой следовало. Всякий, кто обратится сегодня к заявлениям двадцатипятилетней давности, в которых формулировались военные цели Великобритании, и сравнит их со взглядами, высказываемыми ныне профессором Карром, сможет убедиться, что его взгляды в точности совпадают с немецкими воззрениями того периода. Сам он, вероятно, возразит на это, что взгляды, которых придерживались тогда политики в нашей стране, являются не более чем плодом английского лицемерия. Насколько он не по-

нимает различия между идеалами нашей страны и идеалами современной Германии, видно из следующего его утверждения: «Когда один из нацистских лидеров заявляет, что все, что идет на благо немецкого народа, — хорошо, а все, что идет ему во вред, — плохо, — он лишь облекает в слова принцип отождествления национальных интересов со всеобщим правом, который для англоязычных наций был уже установлен президентом Вильсоном, профессором Тойнби, лордом Сесилом и многими другими».

Поскольку книги профессора Карра посвящены международным проблемам, в этой области его идеи выявляются особенно отчетливо. Но и из отдельных его замечаний по поводу будущего общества можно заключить, что он ориентируется на тоталитарную модель. Иногда приходится даже задуматься, случайно ли сходство некоторых его положений с высказываниями откровенных тоталитаристов, или он следует этой тенденции сознательно. Например, утверждая, что «мы более не видим смысла в привычном для XIX века разграничении общества и государства», отдает ли он себе отчет, что это один к одному доктрина ведущего нацистского теоретика Карла Шмитта и самая суть введенного им понятия тоталитаризма? И понимает ли он, что воспроизводит нацистское обоснование ограничения свободы мнений, заявляя, что «массовое производство мнений осуществляется так же, как и массовое производство товаров», и, следовательно, «существующее до сих пор предубежденное отношение к слову „пропаганда“ — это то же самое, что и предубеждение против контроля в промышленности и торговле»?

В своей более поздней книге «Условия мира» профессор Карр дает однозначный утвердительный ответ на вопрос, которым мы закончили предыдущую главу. Он пишет: «Победители потеряли мир, а Советская Россия и Германия обрели его; ибо первые продолжали исповедовать и отчасти применять когда-то верные, но теперь ставшие разрушительными идеалы прав наций и конкурентного капитализма, в то время как вторые, сознательно или несознательно, двинулись вперед на волне XX столетия, стремясь построить новый мир, состоящий из более крупных единиц, организованных по принципу централизованного планирования и контроля».

Профессор Карр воистину издает боевой клич германцев, провозглашая социалистическую революцию, идущую с Востока и направленную против Запада, в которой Германия является лидером: «Революция, начатая прошлой войной, вдохновляющая всякое значительное политическое движение последних двадцати

лет... Революция, направленная против господства идей XIX века — либеральной демократии, самоопределения наций и конкурентной экономики...» Он прав: «Этот вызов, брошенный убеждениям XIX века, должен был найти самую активную поддержку в Германии, которая никогда по-настоящему не разделяла этих убеждений». Но с фанатизмом, свойственным всем псевдоисторикам начиная с Гегеля и Маркса, отстаивает он неизбежность такого развития событий: «Мы знаем, в каком направлении движется мир, и мы должны подчиниться этому движению или погибнуть».

Уверенность в неизбежности этой тенденции базируется на уже знакомых нам экономических недоразумениях — на предположении о неотвратимом росте монополий как следствии технологического развития, на обещании «потенциального изобилия» и других уловках, которыми щедро приправлены работы такого рода. Профессор Карр не является экономистом, и его экономические рассуждения не выдерживают серьезной критики. Но ни это обстоятельство, ни то, что одновременно он доказывает, что значение экономических факторов в жизни общества стремительно падает, не мешает ему строить на экономических рассуждениях все свои предсказания о неизбежном пути исторического развития, а также настаивать на необходимости «новой, преимущественно экономической интерпретации демократических идеалов — свободы и равенства»!

Презрение профессора Карра к идеалам либеральных экономистов (которые он упорно называет идеалами XIX века, хотя знает, что Германия «никогда по-настоящему не разделяла этих убеждений» и уже в XIX веке применяла на практике принципы, которые он сейчас защищает) является столь же глубоким, как и у любого из немецких авторов, процитированных нами в предыдущей главе. Он даже заимствует у Фридриха Листа тезис, что политика свободной торговли была продиктована исключительно интересами Англии XIX века и служила только этим интересам. Однако теперь «необходимым условием упорядочения социального существования является искусственное хозяйственное обособление отдельных стран». А «возврат к неупорядоченной и не знающей границ мировой торговле... путем снятия торговых ограничений или возрождения отживших принципов *laissez-faire*» является «немыслимым». Будущее за *Grossraumwirtschaft* — крупномасштабным хозяйством немецкого типа, и «достичь желаемых результатов можно только путем сознательной реорганизации европейской жизни, примером которой является деятельность Гитлера»!

После всего этого у читателя уже не вызывает удивления примечательный раздел, озаглавленный «Нравственные функции войны», в котором профессор Карр снисходит до жалости к «добропорядочным людям (особенно — жителям англоязычных стран), которые, находясь в плену традиций XIX века, по-прежнему считают войну делом бессмысленным и бесцельным». Сам же автор, наоборот, упивается «ощущением значительности и целесообразности» войны — этого «мощнейшего инструмента сплочения общества». Увы, все это слишком хорошо знакомо, только меньше всего ожидаешь встретить подобные взгляды в работах английских ученых.

Мы должны далее остановиться подробнее на одной тенденции в интеллектуальном развитии Германии, наблюдающейся в течение последних ста лет, которая теперь почти в тех же формах проявляется и в англоязычных странах. Я имею в виду призывы ученых к «научной» организации общества. Идея организации, идущей сверху и пронизывающей все общество насквозь, получила в Германии особенное развитие благодаря тому, что здесь были созданы уникальные условия, позволявшие специалистам в области науки и техники влиять на политику и на формирование общественного мнения. Мало кто теперь вспоминает, что еще в недавнем прошлом в Германии профессора, активно занимавшиеся политикой, играли примерно такую же роль, как во Франции политики-адвокаты[4]. При этом вовсе не всегда ученые-политики отстаивали принципы свободы. «Интеллектуальная нетерпимость», свойственная нередко людям науки, надменность, с которой специалисты воспринимают мнения простых людей, и презрение ко всему, что не является результатом сознательной организации, осуществляемой лучшими умами в соответствии с научными представлениями, — все эти явления были хорошо знакомы немцам за несколько поколений до того, как они стали сколько-нибудь заметными в Англии. И наверное, ни одна страна не может служить более яркой иллюстрацией тех последствий, к которым приводит переориентация образования от «классического» к «реальному», чем Германия 1840–1940 годов[5].

4 Ср.: *Schnabel F.* Deutsche Geschichte im neunzchnten Jahrhundert. [Freiburg im Breisgau,] 1933. Bd. II. S. 204

5 По-моему, первым, кто предложил свернуть классическое образование, поскольку оно насаждает опасный дух свободы, был автор «Левиафана»!

И то, что в конце концов ученые мужи этой страны (за исключением очень немногих) с готовностью пошли на службу новому режиму, является одним из самых печальных и постыдных эпизодов в истории возвышения национал-социализма[6]. Ни для кого не секрет, что именно ученые и инженеры, которые на словах всегда возглавляли поход к новому и лучшему миру, прежде всех других социальных групп подчинились новой тирании[7].

Роль, которую сыграли интеллектуалы в тоталитарном преобразовании общества, была предугадана Жюльеном Бенда, чья книга «Измена клерков» обретает совершенно новое звучание сегодня, через пятьдесят лет после того, как она была написана. По крайней мере над одним местом в этой книге стоит как следует поразмыслить, рассматривая экскурсы некоторых британских ученых в область политики. Бенда пишет о «предрассудке, появившемся в XIX веке, который заключается в убеждении, что наука всемогущественна и, в частности, компетентна в вопросах морали. Остается выяснить, верят ли в эту доктрину те, кто ее пропагандирует, или

6 Готовность ученых оказывать услуги властям, какими бы они ни были, наблюдавшаяся в Германии и раньше, всегда шла здесь рука об руку с развитием государственной организации науки, которую сейчас так превозносят на Западе. Один из наиболее известных исследователей — физиолог Эмиль дю Буа-Реймон не постыдился заявить в речи, которую произнес в 1870 году, будучи ректором Берлинского университета и президентом Прусской академии наук: «Благодаря самому нашему положению Берлинский университет, расположенный напротив дворца кайзера, выступает в роли интеллектуального телохранителя дома Гогенцоллернов». (Примечательно, что дю Буа-Реймон счел уместным опубликовать и английский перевод этой речи. См.: *Bois-Reymond E. du*. A Speech on the German War. London, 1870. P. 31.)

7 Достаточно привести свидетельство зарубежного очевидца событий. Р.А. Брэди, рассматривая в своем исследовании «Дух и структура немецкого фашизма» изменения, происходившие в академических кругах Германии, приходит к заключению, что «из всех специалистов, существующих в современном обществе, ученые, вероятно, самые податливые и легче всего поддаются манипулированию». Конечно, нацисты уволили многих университетских профессоров и многих исследователей, работавших в научных лабораториях. Но в основном это были не представители естествознания, мышление которых считается более точным, но по большей части гуманитарии, которые в целом лучше знали и сильнее критиковали нацистские программы. В естествознании репрессиям подвергались прежде всего евреи, а также критически настроенные к режиму ученые, которые были здесь в меньшинстве. В результате нацистам не составило большого труда "скоординировать" научную деятельность и заставить свою изощренную пропаганду трубить на каждом углу, что просвещенные круги Германии оказывают им всяческую поддержку» (*Brady R.A.* The Spirit and Structure of German Fascism. [N.Y., 1937]).

же они просто хотят, придавая научную форму устремлениям своего сердца, сделать их более авторитетными, прекрасно зная при этом, что речь идет не более чем о страстях. Следует также отметить, что положение, согласно которому история подчиняется научным законам, особенно рьяно поддерживают сторонники деспотизма. И это вполне естественно, поскольку такой взгляд позволяет исключить две вещи, им особенно ненавистные, — свободу человека и значение личности в истории».

Мы уже упоминали одну английскую работу, где на фоне марксистской идеологии проступали характерные черты позиции интеллектуала-тоталитариста — неприятие, даже ненависть ко всему, что стало наиболее значимым в западной цивилизации со времени Ренессанса, и одновременно одобрение методов инквизиции. Но нам бы не хотелось еще раз рассматривать здесь столь крайние взгляды. Поэтому мы обратимся теперь к произведению более умеренному и в то же время вполне типичному, получившему широкую известность. Небольшая книжка К.Х. Уоддингтона с характерным названием «Научный подход» является достаточно характерным образчиком литературы, пропагандируемой английским еженедельником Nature, в которой требования допустить к власти ученых сочетаются с призывами к широкомасштабному «планированию». Д-р Уоддингтон не так откровенен в своем презрении к свободе, как Кроутер. Однако от других авторов его отличает ясное понимание того, что тенденции, которые он описывает и защищает, неизбежно ведут к тоталитаризму. И такая перспектива представляется ему более предпочтительной, чем то, что он называет «современной цивилизацией обезьяньего питомника».

Утверждая, что ученый способен управлять тоталитарным обществом, д-р Уоддингтон исходит главным образом из того, что «наука может выносить нравственные суждения о человеческом поведении». Этот тезис, выношенный, как мы видели, несколькими поколениями немецких ученых-политиков и отмеченный уже Ж. Бенда, получает самую горячую поддержку в Nature. И чтобы объяснить, что из этого следует, не понадобится даже выходить за пределы книги д-ра Уоддингтона. «Ученому, — объясняет нам автор, — трудно говорить о свободе, в частности, потому, что он не убежден, что такая вещь вообще существует». Тем не менее «наука признает» некоторые виды свободы, но «свобода, которая заключается в том, чтобы быть не похожим на других, не обладает

научной ценностью». По-видимому, мы были введены в заблуждение, стали чересчур терпимыми, и виной тому — «зыбкие гуманитарные представления», в адрес которых Уоддингтон произносит немало нелестных слов.

Когда речь заходит об экономических и социальных вопросах, эта книга о «научном подходе» теряет, как это вообще свойственно литературе такого рода, всякую связь с научностью. Мы вновь находим здесь все знакомые клише и беспочвенные обобщения насчет «потенциального изобилия», «неизбежности монополий» и т.п. Непререкаемые авторитеты, высказывания которых автор приводит для подкрепления своих взглядов, на поверку оказываются чистыми политиками, имеющими сомнительное отношение к науке, в то время как труды серьезных исследователей он оставляет без внимания.

Как и в большинстве работ подобного рода, рассуждения автора базируются в значительной степени на его вере в «неизбежные тенденции», постигать которые — задача науки. Это представление непосредственно вытекает из марксизма, который, будучи «подлинно научной философией», является, по убеждению д-ра Уоддингтона, вершиной развития человеческой мысли, а основные его понятия «почти тождественны понятиям, составляющим фундамент научного изучения природы». «Трудно отрицать, — пишет далее автор, — что жизнь в сегодняшней Англии гораздо хуже, чем она была прежде» — в 1913 году. Но он не отчаивается и смело заглядывает в будущее, предрекая построение новой экономической системы, которая станет «централизованной и тоталитарной в том смысле, что все стороны экономического развития больших регионов будут сознательно организованы в соответствии с единым планом». Что же касается его оптимистической уверенности, что в тоталитарном обществе удастся сохранять свободу мысли, то основанием для нее служит убеждение, вытекающее, по-видимому, из «научного подхода», что «будет существовать чрезвычайно веская информация по всем важным вопросам, доступная пониманию неспециалистов, в том числе и по вопросу о совместимости тоталитаризма и свободы мысли».

Описывая существующие в Англии тоталитарные тенденции, следовало бы для полноты картины остановиться еще на различных попытках создания своего рода социализма для среднего класса, удивительно похожих (хотя их авторы, безусловно, об этом не подозревают) на то, что происходило в догитлеровский период

в Германии[8]. И если бы нас здесь интересовали политические движения, нам пришлось бы сосредоточить внимание на деятельности таких новых организаций, как Forward-March («Вперед-марш») или Common-Wealth («Общее дело»), на движении, созданном сэром Ричардом Эклендом, автором книги Unser Kampf («Наша борьба»), или на выступавшем одно время с ним вместе «Комитете 1941 года», руководимом г-ном Дж.Б. Пристли. Но хотя было бы неверно не принимать во внимание все эти в высшей степени симптоматичные явления, вряд ли стоит и переоценивать их значение как политических сил. Помимо интеллектуальных влияний, проиллюстрированных нами на двух примерах, главными движущими силами, ведущими наше общество к тоталитаризму, выявляются две большие социальные группы: объединения предпринимателей и профсоюзы. Быть может, величайшая на сегодняшний день опасность проистекает из того факта, что интересы и политика этих групп направлены в одну точку.

Обе они стремятся к монополистической организации промышленности и для достижения этой цели часто согласуют свои действия. Это чрезвычайно опасная тенденция. У нас нет оснований считать ее неизбежной, но если мы и дальше будем двигаться по этой дороге, она, без сомнения, приведет нас к тоталитаризму.

Движение это, конечно, сознательно спланировано главным образом капиталистами — организаторами монополий, от которых тем самым и исходит основная опасность. И отнюдь не снимает с них ответственности тот факт, что целью их является не тоталитарное, а скорее корпоративное общество, в котором организованные отрасли будут чем-то вроде относительно независимых государств в государстве. Но они недальновидны, как и их немецкие предшественники, ибо верят, что им будет позволено не только создать такую систему, но и управлять ею сколько-нибудь длительное время. Никакое общество не оставит на волю частных лиц решения, которые придется постоянно принимать руководителям таким об-

8 Еще одним фактором, который, вероятно, станет после войны усиливать тоталитарные тенденции, окажутся те люди, которые в военное время почувствовали вкус к принуждению и контролю и не смогут уже мириться с более скромными ролями. Несмотря на то что после предыдущей войны таких людей было значительно меньше, чем будет теперь, они оказали заметное влияние на экономику страны. Помню, как десять или двенадцать лет назад, оказавшись в обществе именно таких людей, я впервые испытал тогда еще редкое для Англии ощущение, будто меня внезапно погрузили в типично «немецкую» интеллектуальную атмосферу.

разом устроенного производства. Государство никогда не допустит, чтобы такая власть и такой контроль осуществлялись в порядке частной инициативы. И было бы наивно думать, что в этой ситуации предпринимателям удастся сохранить привилегированное положение, которое в конкурентном обществе оправдано тем фактом, что из многих, кто рискует, лишь некоторые достигают успеха, надежда на который делает риск осмысленным. Нет ничего удивительного в том, что предприниматели хотели бы иметь и высокие доходы, доступные в условиях конкуренции лишь для наиболее удачливых из них, и одновременно — защищенность государственных служащих. Пока наряду с государственной промышленностью существует большой частный сектор, способные руководители производства, будучи в защищенном положении, могут рассчитывать и на высокую зарплату. Но если эти их надежды и сбудутся, быть может, в переходный период, то очень скоро они обнаружат, как обнаружили их коллеги в Германии, что они более не хозяева положения и должны довольствоваться той властью и тем вознаграждением, которые соблаговолит дать им правительство.

Я надеюсь, что, учитывая весь пафос этой книги, меня вряд ли заподозрят в излишней мягкости по отношению к капиталистам. Тем не менее я возьмусь утверждать, что нельзя возлагать ответственность за нарастание монополистических тенденций только на этот класс. Хотя его стремление к монополистической организации очевидно, само по себе оно не способно стать решающим фактором в этом процессе. Роковым является то обстоятельство, что капиталистам удалось заручиться поддержкой других общественных групп и с их помощью — поддержкой правительства.

Эту поддержку монополисты получили, позволив другим группам участвовать в их прибылях и (что, по-видимому, даже более важно) убедив всех в том, что монополии идут навстречу интересам общества. Однако перемены в общественном мнении, повлиявшие на законодательство и правосудие[9] и тем ускорившие этот процесс, стали возможны в основном благодаря пропаганде левых сил, направленной против конкурентной системы. Нередко при этом меры, направленные против монополий, вели в действительности только к их укреплению. Каждый удар по прибылям монополий, будь то в интересах отдельных групп или государства в целом, приводит

9 См. в связи с этим поучительную статью У.А. Льюиса «Монополия и закон» (Modern Law Review. 1943. Vol. VI. № 3).

к возникновению новых групп, готовых поддерживать монополии. Система, в которой большие привилегированные группы участвуют в прибылях монополий, является в политическом отношении даже более опасной, а монополии в таких условиях становятся более прочными, чем в случае, когда прибыли достаются немногим избранным. Но хотя ясно, например, что высокие зарплаты, которые имеет возможность платить монополист, являются таким же результатом эксплуатации, как и его собственные прибыли, и что они представляют собой грабеж по отношению не только к потребителю, но и к другим категориям рабочих и служащих, живущих на зарплату, тем не менее высокие зарплаты рассматриваются сегодня как веский аргумент в пользу монополий, причем в очень широких кругах, а не только среди тех, кто в этом непосредственно заинтересован[10].

Есть серьезные основания для сомнений, что даже в тех случаях, когда монополия является неизбежной, лучшим способом контроля является передача ее государству. Если бы речь шла о какой-то одной отрасли, это, быть может, и было бы верно. Но если мы имеем дело со множеством монополизированных отраслей, то по целому ряду причин лучше отдать их в частные руки, чем оставлять под опекой государства. Пусть существуют монополии на железнодорожный или воздушный транспорт, на снабжение газом или электричеством, — позиция потребителя будет, безусловно, более прочной, пока все они принадлежат различным частным лицам, а не являются объектом централизованной «координации». Частная монополия почти никогда не бывает полной и уж во всяком случае не является вечной или гарантированной от потенциальной конкуренции, в то время как государственная монополия всегда защищена — и от потенциальной конкуренции, и от критики. Государство предоставляет монополиям возможность закрепиться на все времена, и возможность эта, без сомнения, будет использована. Когда власти, которые должны контролировать эффективность деятельности монополий, заинтересованы в их защите, ибо критика

10 Еще более удивительным является то откровенное расположение, с которым многие социалисты относятся к рантье — держателям акций, имеющим с монополий твердый доход. Слепая ненависть к прибылям приводит в данном случае к социальному и этическому оправданию не требующего никаких усилий, но фиксированного дохода, например держателей акций железных дорог, и признанию монополий в качестве гаранта такого рода дохода. Это один из странных симптомов извращения ценностей, происходящего в жизни нашего поколения.

монополий является одновременно критикой правительства, вряд ли можно надеяться, что монополии будут по-настоящему служить интересам общества. Государство, занятое всесторонним планированием деятельности монополизированных отраслей, будет обладать сокрушительной властью по отношению к индивиду и вместе с тем окажется крайне слабым и несвободным в том, что касается выработки собственного политического курса. Механизмы монополий станут тождественны механизмам самого государства, которое все больше и больше будет служить интересам аппарата, но не интересам общества в целом.

Пожалуй, если монополии в каких-то сферах неизбежны, то лучшим является решение, которое до недавнего времени предпочитали американцы, — контроль сильного правительства над частными монополиями. Последовательное проведение в жизнь этой концепции обещает гораздо более позитивные результаты, чем непосредственное государственное управление. По крайней мере государство может контролировать цены, закрывая возможность получения сверхприбылей, в которых могут участвовать не только монополисты. И если даже в результате таких мер эффективность деятельности в монополизированных отраслях будет снижаться (как это происходило в некоторых случаях в США в сфере коммунальных услуг), это можно будет рассматривать как относительно небольшую плату за сдерживание власти монополий. Лично я, например, предпочел бы мириться с неэффективностью, чем испытывать бесконтрольную власть монополий над различными областями моей жизни. Такая политика, которая сделала бы роль монополиста незавидной на фоне других предпринимательских позиций, позволила бы ограничить распространение монополий только теми сферами, где они действительно неизбежны, и стимулировать развитие иных конкурентных форм деятельности, которые смогли бы их замещать. Поставьте монополиста в положение «мальчика для битья» (в экономическом смысле), и вы увидите, как быстро способные предприниматели вновь обретут вкус к конкуренции.

Проблема монополий была бы гораздо менее трудной, если бы нашим противником были одни только капиталисты-монополисты. Но, как уже было сказано, тенденция к образованию монополий является реальной угрозой не из-за усилий, предпринимаемых кучкой заинтересованных капиталистов, а из-за той поддержки, которую они получают от людей, участвующих в прибылях, а также от тех, кто искренне убежден, что, выступая за монополии, они способ-

ствуют созданию более справедливого и упорядоченного общества. В истории связанных с этим событий поворотным стал момент, когда мощное профсоюзное движение, которое могло решать свои задачи только путем борьбы со всякими привилегиями, подпало под влияние антиконкурентных доктрин и само оказалось втянутым в борьбу за привилегии. Происходящий в последнее время рост монополий является в огромной степени следствием сознательного сотрудничества объединений капиталистов с профсоюзами, результатом которого стало образование в рабочей среде привилегированных групп, участвующих в прибылях и тем самым в грабеже всего общества, в особенности его беднейших слоев — рабочих других, менее организованных отраслей и безработных.

Печально наблюдать, как великое демократическое движение поддерживает в наше время политику, ведущую к разрушению демократии, политику, которая в конечном счете принесет выгоду очень немногим из тех, кто защищает ее сегодня. Тем не менее именно поддержка левых сил делает тенденцию к монополизации столь сильной, а наши перспективы — столь мрачными. Пока рабочие будут продолжать способствовать демонтажу единственной системы, которая дает им хоть какую-то степень независимости и свободы, ситуация останется практически безнадежной. Профсоюзные лидеры, заявляющие сегодня, что «с конкурентной системой покончено раз и навсегда»[11], возвещают конец свободы личности. Надо понять, что мы подчиняемся либо безличным законам рынка, либо диктатуре какой-то группы лиц; третьей возможности нет. И те, кто способствует отказу от первого пути, сознательно или неосознанно толкают нас на второй. Даже если в случае победы второй системы некоторые рабочие станут лучше питаться и получат, без сомнения, красивую униформу, я все же сомневаюсь, что большинство трудящихся Англии останутся в конце концов благодарны интеллектуалам из числа их лидеров, навязавшим им социалистическую доктрину, чреватую личной несвободой.

На всякого, кто знаком с историей европейских стран последних двадцати пяти лет, произведет удручающее впечатление недавно принятая программа английской лейбористской партии, где

11 Из обращения профессора Г.Дж. Ласки к 41-й ежегодной конференции лейбористской партии (Лондон, 26 мая 1942 года). Стоит отметить, что, по мнению профессора Ласки, «эта безумная конкурентная система означает бедность для всех народов и войну как результат этой бедности», — весьма странное прочтение истории последних ста пятидесяти лет.

поставлена задача построения «планового общества». Всяким «попыткам реставрации традиционной Британии» противопоставлена здесь схема, которая не только целиком, но и в деталях, и даже по своей терминологии, неотличима от социалистических мечтаний, охвативших двадцать пять лет назад Германию. И резолюция, принятая по предложению профессора Ласки, в которой содержится требование сохранить в мирное время «меры правительственного контроля, необходимые для мобилизации национальных ресурсов во время войны», и все характерные словечки и лозунги вроде «сбалансированной экономики» (которой не хватает Великобритании, по мнению того же Ласки) или «общественного потребления», долженствующего быть целью централизованного управления промышленным производством, взяты из немецкого идеологического словаря.

Четверть века назад существовало еще, возможно, какое-то извинение для наивной веры, что «плановое общество может быть гораздо более свободным, чем либеральное конкурентное общество, на смену которому оно приходит»[12]. Но повторять это, имея за плечами двадцатипятилетний опыт проверки и перепроверки этих убеждений, повторять в тот момент, когда мы с оружием в руках боремся против системы, порожденной этой идеологией, — поистине трагическое заблуждение. И то, что великая партия, занявшая как в парламенте, так и в общественном мнении место прогрессивных партий прошлого, ставит перед собой задачу, которую в свете всех недавних событий можно расценивать только как реакционную, — это огромная перемена, происходящая на наших глазах и несущая смертельную угрозу всем либеральным ценностям. То, что прогрессивному развитию в прошлом противостояли консервативные правые силы, — явление закономерное и не вызывающее особой тревоги. Но если место оппозиции и в парламенте, и в общественных дискуссиях займет вторая реакционная партия, — тогда уж действительно не останется никакой надежды.

12 Reconstruction in war and peace: Interim report of the National Executive Committee of the British Labor Party. [N.Y., 1943]. P. 12, 16.

XIV. Материальные обстоятельства и идеальные цели

Разве справедливо, чтобы большинство, возражающее против свободы,
порабощало меньшинство, готовое эту свободу отстаивать?
Несомненно, правильнее, если уж речь идет о принуждении,
чтобы меньшее число людей заставило остальных сохранить свободу,
которая ни для кого не является злом, нежели большему числу,
из потакания собственной подлости, превратить оставшихся
в таких же, как они, рабов. Те, кто не стремится ни к чему иному,
кроме собственной законной свободы, всегда вправе отстаивать ее
по мере сил, сколько бы голосов ни было против.
Джон Мильтон

Наше поколение тешит себя мыслью, что оно придает экономическим соображениям меньшее значение, чем это делали отцы и деды. «Конец экономического человека» обещает стать одним из главных мифов нашей эпохи. Но прежде чем соглашаться с этой формулой или усматривать в ней положительный смысл, давайте посмотрим, насколько она соответствует истине. Когда мы сталкиваемся с призывами к перестройке общества, которые раздаются сегодня повсеместно, мы обнаруживаем, что все они носят экономический характер. Как мы уже видели, новое истолкование политических идеалов прошлого — свободы, равенства, защищенности — «в экономических терминах» является одним из главных требований, выдвигаемых теми же людьми, которые провозглашают конец «экономического человека». При этом нельзя не отметить, что люди сегодня больше, чем когда-либо, руководствуются в своих устремлениях теми или иными экономическими соображениями: упорно распространяемым взглядом, что существующее экономическое устройство нерационально, иллюзорными надеждами на «потенциальное благосостояние», псевдотеориями о неизбежности монополий и разного рода досужими разговорами о кончающихся запасах естественного сырья или об искусственном замораживании изобретений, в котором якобы повинна конкуренция (хотя как раз это ни-

когда не может случиться в условиях конкуренции, а является обычно следствием деятельности монополий, причем поддерживаемых государством)[1].

Однако, с другой стороны, наше поколение, безусловно, меньше, чем предыдущее, прислушивается к экономическим доводам. Люди сегодня решительно отказываются жертвовать своими устремлениями, когда этого требуют экономические обстоятельства. Они не хотят учитывать факторы, ограничивающие их запросы, или следовать в чем-то экономической необходимости. Не презрение к материальным благам и не отсутствие стремления к ним, но, напротив, нежелание признавать, что на пути осуществления потребностей есть и препятствия, и конфликты различных интересов, — вот характерная черта нашего поколения. Речь следовало бы вести скорее об «экономофобии», чем о «конце экономического человека», — формуле дважды неверной, ибо она намекает на продвижение от состояния, которого не было, к состоянию, которое нас вовсе не ждет. Человек, подчинявшийся прежде безличным силам, хотя они и мешали порой осуществлению его индивидуальных замыслов, теперь возненавидел эти силы и восстал против них.

Бунт этот является свидетельством гораздо более общей тенденции, свойственной современному человеку: нежелания подчиняться необходимости, не имеющей рационального обоснования. Данная тенденция проявляется в различных сферах жизни, в частности в области морали, и приносит порой положительные результаты. Но есть сферы, где такое стремление к рационализации полностью удовлетворить нельзя, и вместе с тем отказ подчиняться установлениям, которые для нас непонятны, грозит разрушением основ нашей цивилизации. И хотя по мере усложнения нашего мира мы, естественно, все больше сопротивляемся силам, которые, не будучи до конца понятыми, заставляют нас все время корректировать наши надежды и планы, именно в такой ситуации

1 Частые упоминания в качестве аргументов против конкуренции случаев уничтожения запасов зерна, кофе и т.д. свидетельствуют лишь об интеллектуальной недобросовестности. Нетрудно понять, что в условиях конкурентной рыночной системы никакому владельцу таких запасов не может быть выгодно их уничтожение. Случай замораживания патентов сложнее — его нельзя проанализировать между делом. Однако, для того чтобы полезное для общества изобретение было положено «под сукно», требуется такое исключительное стечение обстоятельств, что возникает сомнение, имели ли в действительности место такие случаи, заслуживающие серьезного рассмотрения.

непостижимость их неумолимо возрастает. Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен приспосабливаться к переменам, причины и природа которых ему неизвестны. Человеку не ясно, почему его доходы возрастают или падают, почему он должен менять занятие, почему какие-то вещи получить становится труднее, чем другие, и т.д. Те, кого это затрагивает, склонны искать непосредственную, видимую причину, винить очевидные обстоятельства, в то время как реальная причина тех или иных изменений коренится обычно в системе сложных взаимозависимостей и скрыта от сознания индивида. Даже правитель общества, живущего по единому плану, чтобы объяснить какому-нибудь функционеру, почему ему изменяют зарплату или переводят на другую работу, должен был бы изложить и обосновать весь свой план целиком. А это означает, что причины могут узнавать лишь очень немногие.

Только подчинение безличным законам рынка обеспечивало в прошлом развитие цивилизации, которое в противном случае было бы невозможным. Лишь благодаря этому подчинению мы ежедневно вносим свой вклад в создание того, чего не в силах вместить сознание каждого из нас в отдельности. И неважно, если мотивы такого подчинения были в свое время обусловлены представлениями, которые теперь считаются предрассудками, — религиозным духом терпимости или почтением к незамысловатым теориям первых экономистов. Существенно, что найти рациональное объяснение силам, механизм действия которых в основном от нас скрыт, труднее, чем просто следовать принятым религиозным догматам или научным доктринам. Может оказаться, что если никто в нашем обществе не станет делать того, чего он до конца не понимает, то только для поддержания нашей цивилизации на современном уровне сложности каждому человеку понадобится невероятно мощный интеллект, которым в действительности никто не располагает. Отказываясь покоряться силам, которых мы не понимаем и в которых не усматриваем чьих-то сознательных действий или намерений, мы впадаем в ошибку, свойственную непоследовательному рационализму. Он непоследователен, ибо упускает из виду, что в сложном по своей структуре обществе для координации многообразных индивидуальных устремлений необходимо принимать в расчет факты, недоступные никакому отдельному человеку. И если речь не идет о разрушении такого общества, то единственной альтернативой подчинению безличным и на первый

взгляд иррациональным законам рынка является подчинение столь же неконтролируемой воле каких-то людей, т.е. их произволу. Стремясь избавиться от оков, которые они ныне ощущают, люди не отдают себе отчета, что оковы авторитаризма, которые они наденут на себя сознательно и по собственной воле, окажутся гораздо более мучительными.

Некоторые утверждают, что, научившись управлять силами природы, мы все еще очень плохо умеем использовать возможности общественного сотрудничества. Это правда. Однако обычно из этого утверждения делают ложный вывод, Что мы должны теперь овладевать социальными силами точно так же, как овладели силами природы. Это не только прямая дорога к тоталитаризму, но и путь, ведущий к разрушению всей нашей цивилизации. Ступив на него, мы должны будем отказаться от надежд на ее дальнейшее развитие. Те, кто к этому призывает, демонстрируют полное непонимание того, что сохранить наши завоевания можно, лишь координируя усилия множества индивидов с помощью безличных сил.

Теперь мы должны ненадолго вернуться к той важнейшей мысли, что свобода личности несовместима с главенством одной какой-нибудь цели, подчиняющей себе всю жизнь общества. Единственным исключением из этого правила является в свободном обществе война или другие локализованные во времени катастрофы. Мобилизация всех общественных сил для устранения такой ситуации становится той ценой, которую мы сознательно платим за сохранение свободы в будущем. Из этого ясно, почему бессмысленны модные ныне фразы, что в мирное время мы должны будем делать то-то и то-то так, как делаем во время войны. Можно временно пожертвовать свободой во имя более прочной свободы в будущем. Но нельзя делать этот процесс перманентным.

Принцип, что никакая цель не должна стоять в мирное время выше других целей, применим и к такой задаче, имеющей сегодня, по общему признанию, первостепенную важность, как борьба с безработицей. Нет сомнений, что мы должны приложить к ее решению максимум усилий. Тем не менее это не означает, что данная задача должна доминировать над всеми другими или, если воспользоваться крылатым выражением, что ее надо решать «любой ценой». Категорические требования зашоренных идеалистов или расплывчатые, но хлесткие призывы вроде «обеспечения всеобщей

занятости» ведут обычно к близоруким мерам и в конечном счете не приносят ничего, кроме вреда.

Мне представляется крайне важным, чтобы после войны, когда мы вплотную столкнемся с этой задачей, наш подход к ее решению был абсолютно трезвым и мы бы полностью понимали, на что здесь можно рассчитывать. Одна из основных особенностей послевоенной ситуации будет определяться тем обстоятельством, что сотни тысяч людей — мужчин и женщин, будучи заняты в специализированных военных областях, неплохо зарабатывали в военное время. В мирное время возможности такого трудоустройства резко сократятся. Возникнет нужда в перемещении работников в другие области, где заработки многих из них станут значительно меньше. Даже целенаправленная переквалификация, которую, безусловно, придется проводить в широких масштабах, целиком не решит проблемы. Все равно останется много людей, которые, получая за свой труд вознаграждение, соответствующее его общественной пользе, будут вынуждены смириться с относительным снижением своего материального благосостояния.

Если при этом профсоюзы будут успешно сопротивляться всякому снижению заработков тех или иных групп людей, то развитие ситуации пойдет по одному из двух путей: либо будет применяться принуждение и в результате отбора кого-то станут переводить на относительно низко оплачиваемые должности, либо людям, получавшим во время войны высокую зарплату, будет позволено оставаться безработными, пока они не согласятся работать за относительно более низкую плату. В социалистическом обществе эта проблема возникает точно так же, как и во всяком другом: подавляющее большинство работников будут здесь против сохранения высоких заработков тем, кто получал их только ввиду военной необходимости. И социалистическое общество в такой ситуации, безусловно, прибегнет к принуждению. Но для нас важно, что, если мы не захотим прибегать к принуждению и будем в то же время стремиться не допустить безработицы «любой ценой», мы станем принимать отчаянные и бессмысленные меры, которые будут приносить лишь временное облегчение, но в конечном счете приведут к серьезному снижению продуктивности использования трудовых ресурсов. Следует отметить, что денежная политика не сможет стать средством преодоления этих затруднений, ибо она не приведет ни к чему, кроме общей и значительной инфляции, необходимой, чтобы поднять все заработки и цены до

уровня тех, которые невозможно снизить. Но и это принесет желаемые результаты только путем снижения реальной заработной платы, которое произойдет при этом не открыто, а «под сурдинку». А кроме того, поднять все доходы и заработки до уровня рассматриваемой группы означает создать такую чудовищную инфляцию, что вызванные ею рассогласования и несправедливости будут значительно выше тех, с которыми мы собираемся таким образом бороться.

Эта проблема, которая с особой остротой встанет после войны, возникает в принципе всякий раз, когда экономическая система вынуждена приспосабливаться к переменам. И всегда существует возможность занять на ближайшее время всех работников в тех отраслях, где они уже работают, путем увеличения денежной массы. Но это будет приводить только к росту инфляции и к сдерживанию процесса перетекания рабочей силы из одних отраслей в другие, необходимого в изменившейся ситуации, — процесса, который в естественных условиях всегда происходит с задержкой и, следовательно, порождает определенный уровень безработицы. Однако главным недостатком этой политики является все же то, что в конечном счете она приведет к результатам, прямо противоположным тем, на которые она нацелена: к снижению производительности труда и соответственно к возрастанию относительного числа работников, заработки которых придется искусственно поддерживать на определенном уровне.

Не подлежит сомнению, что в первые годы после войны мудрость в экономической политике будет необходима как никогда и что от того, как мы станем решать экономические проблемы, будет зависеть сама судьба нашей цивилизации. Во всяком случае сначала мы будем очень бедны, и восстановление прежнего жизненного уровня станет для Великобритании более сложной задачей, чем для многих других стран. Но, действуя разумно, мы, безусловно, сможем самоотверженным трудом и специальными усилиями, направленными на обновление промышленности и системы ее организации, восстановить прежний уровень жизни и даже его превзойти. Однако для этого нам придется довольствоваться потреблением в пределах, позволяющих решать задачи восстановления, не испытывая никаких чрезмерных ожиданий, способных этому воспрепятствовать, и используя наши трудовые ресурсы оптимальным образом и для насущных целей, а не так, чтобы просто как-нибудь занять всех

и каждого[2]. Вероятно, не менее важно не пытаться быстро излечить бедность, перераспределяя национальный доход вместо того, чтобы его наращивать, ибо мы рискуем при этом превратить большие социальные группы в противников существующего политического строя. Не следует забывать, что одним из решающих факторов победы тоталитаризма в странах континентальной Европы было наличие большого малоимущего среднего класса. В Англии и США ситуация пока что иная.

Мы сможем избежать угрожающей нам печальной участи только при условии быстрого экономического роста, способного вывести нас к новым успехам, какими бы низкими ни были наши стартовые позиции. При этом главным условием развития является готовность приспособиться к происходящим в мире переменам, невзирая ни на какие привычные жизненные стандарты отдельных социальных групп, склонных противиться изменениям, и принимая в расчет только необходимость использовать трудовые ресурсы там, где они нужнее всего для роста национального богатства. Действия, необходимые для возрождения экономики страны и достижения более высокого уровня жизни, потребуют от всех небывалого напряжения сил. Залогом успешного преодоления этого непростого периода может быть только полная готовность каждого подчиняться этим мерам и встретить трудности, как подобает свободным людям, самостоятельно прокладывающим свой жизненный путь. Пусть каждому будет гарантирован необходимый прожиточный минимум, но пусть при этом будут ликвидированы все привилегии. И пусть не будет извинения ни для каких попыток создать замкнутые групповые структуры, препятствующие во имя сохранения определенного уровня материального благосостояния группы вхождению новых членов извне.

«К черту экономику, давайте строить честный мир» — такое заявление звучит благородно, но в действительности является совершенно безответственным. Сегодня в нашем мире каждый

---

2 Здесь, по-видимому, стоит подчеркнуть, что, как бы нам ни хотелось ускорить возврат к свободной экономике, это не означает, что все ограничения военного времени можно будет снять в один миг. Ничто так не подорвет веру в систему свободного предпринимательства, как резкая (пусть даже и кратковременная) дестабилизация, которая возникнет в результате такого шага. Несомненно, что экономика военного времени должна быть преобразована путем тщательно продуманного постепенного ослабления контроля, которое может растянуться на несколько лет. Вопрос заключается только в том, к какой системе мы будем при этом стремиться.

убежден, что надо улучшать материальные условия жизни в той или иной конкретной сфере, для той или иной группы людей. Сделать такой мир лучше можно, только подняв в нем общий уровень благосостояния. Единственное, чего не выдержит демократия, от чего она может дать трещину, — это необходимость существенного снижения уровня жизни в мирное время или достаточно длительный период, в течение которого будут отсутствовать видимые улучшения.

Даже те, кто допускает, что современные политические тенденции представляют существенную опасность для нашего экономического развития и опосредованно, через экономику, угрожают более высоким ценностям, продолжают все же тешить себя иллюзией, полагая, что мы идем на материальные жертвы во имя нравственных идеалов. Есть, однако, серьезные сомнения, что пятьдесят лет развития коллективизма подняли наши моральные стандарты, а не привели, наоборот, к их снижению. Хотя мы любим с гордостью утверждать, что стали чувствительнее к социальной несправедливости, но наше поведение как индивидов отнюдь этого не подтверждает. В негативном плане — в смысле возмущения несовершенством и несправедливостью теперешнего строя — наше поколение действительно не знает себе равных. Но как это отражается в наших позитивных установках, в сфере морали, индивидуального поведения и в попытках применять моральные принципы, сталкиваясь с различными и не всегда однозначными проявлениями функционирования социальной машины?

В этой области дела так запутанны, что придется начинать анализ с самых основ. Наше поколение рискует забыть не только то обстоятельство, что моральные принципы неразрывно связаны с индивидуальным поведением, но также и то, что они могут действовать, только если индивид свободен, способен принимать самостоятельные решения и ради соблюдения этих принципов добровольно приносить в жертву личную выгоду. Вне сферы личной ответственности нет ни добра, ни зла, ни добродетели, ни жертвы. Только там, где мы несем ответственность за свои действия, где наша жертва свободна и добровольна, решения, принимаемые нами, могут считаться моральными. Как невозможен альтруизм за чужой счет, так же невозможен он и в отсутствие свободы выбора. Как сказал Мильтон, «если бы всякий поступок зрелого человека, — добрый или дурной, — был ему предписан, или вынужден, или навязан, что была бы добродетель, как не пустой звук, какой похвалы

заслуживало бы нравственное поведение, какой благодарности — умеренность и справедливость?»

Свобода совершать поступки, когда материальные обстоятельства навязывают нам тот или иной образ действий, и ответственность, которую мы принимаем, выстраивая нашу жизнь по совести, — вот условия, необходимые для существования нравственного чувства и моральных ценностей, для их ежедневного воссоздания в свободных решениях, принимаемых человеком. Чтобы мораль была не «пустым звуком», нужны ответственность — не перед вышестоящим, но перед собственной совестью, сознание долга, не имеющего ничего общего с принуждением, необходимость решать, какие ценности предпочесть, и способность принимать последствия этих решений.

Совершенно очевидно, что в области индивидуального поведения влияние коллективизма оказалось разрушительным. И это было неизбежно. Движение, провозгласившее одной из своих целей освобождение от личной ответственности[3], не могло не стать аморальным, какими бы ни были породившие его идеалы. Можно ли сомневаться, что такой призыв отнюдь не укрепил в людях способность принимать самостоятельные моральные решения или чувство долга, заставляющее их бороться за справедливость? Ведь одно дело — требовать от властей улучшения положения и даже быть готовым подчиниться каким-то мерам, когда им подчиняются все, и совсем другое — действовать, руководствуясь собственным нравственным чувством и, быть может, вразрез с общественным мнением. Многое сегодня свидетельствует о том, что мы стали более терпимы к конкретным злоупотреблениям, равнодушны к частным проявлениям несправедливости и в то же время сосредоточились на некой идеальной

3 По мере того как социализм перерастает в тоталитаризм, это проявляется все более отчетливо. В Англии такое требование откровенно сформулировано в программе новейшего и наиболее тоталитаристского социалистического движения «Общее дело», возглавляемого сэром Ричардом Эклендом. Главной чертой обещанного им нового строя является то, что общество скажет индивиду: «Не беспокойся больше о том, как тебе зарабатывать на жизнь». Ибо, разумеется, «общество в целом должно оценивать свои ресурсы и решать, получит ли человек работу и как, когда и каким образом он будет трудиться». И общество «организует лагеря с довольно мягким режимом для тех, кто уклоняется от своих обязанностей». Может ли после этого кого-то удивить заявление автора, что Гитлер «случайно обнаружил (или вынужден был использовать) лишь малую часть или частный аспект того, что в конечном счете потребуется от человечества» (*Acland R.* The Forward March. [London,] 1941. P. 127, 126, 135, 32).

системе, в которой государство организует все наилучшим образом. Быть может, страсть к коллективным действиям — это способ успокоить совесть и оправдать эгоизм, который мы научились немного смирять в личной сфере.

Есть добродетели, которые сегодня не в цене: независимость, самостоятельность, стремление к добровольному сотрудничеству с окружающими, готовность к риску и к отстаиванию своего мнения перед лицом большинства. Это как раз те добродетели, благодаря которым существует индивидуалистическое общество. Коллективизм ничем не может их заменить. А в той мере, в какой он уже их разрушил, он создал зияющую пустоту, заполняемую лишь требованиями, чтобы индивид подчинялся принудительным решениям большинства. Периодическое избрание представителей, к которому все больше и больше сводится сфера морального выбора индивида, — это не та ситуация, где проверяются его моральные ценности или где он должен, постоянно принося одни ценности в жертву другим, испытывать на прочность искренность своих убеждений и утверждаться в определенной иерархии ценностей.

Поскольку источником, из которого коллективистская политическая деятельность черпает свои нравственные нормы, являются правила поведения, выработанные индивидами, было бы странно, если бы снижение стандартов индивидуального поведения сопровождалось повышением стандартов общественной деятельности. Серьезные изменения в этой области налицо. Конечно, каждое поколение ставит одни ценности выше, другие — ниже. Но давайте спросим себя: какие ценности и цели сегодня не в чести, какими из них мы будем готовы пожертвовать в первую очередь, если возникнет такая нужда? Какие из них занимают подчиненное место в картине будущего, которую рисуют наши популярные писатели и ораторы? И какое место занимали они в представлениях наших отцов?

Очевидно, что материальный комфорт, рост уровня жизни и завоевание определенного места в обществе находятся сегодня отнюдь не на последнем месте на нашей шкале ценностей. Найдется ли ныне популярный общественный деятель, который решился бы предложить массам ради высоких идеалов пожертвовать ростом материального благополучия? И кроме того, разве не убеждают нас со всех сторон, что такие моральные ценности, как свобода и независимость, правда и интеллектуальная честность, а также уважение человека как человека, а не как члена организованной группы, являются «иллюзиями XIX столетия»?

Каковы же сегодня те незыблемые ценности, те святыни, в которых не рискует усомниться ни один реформатор, намечающий план будущего развития общества? Это более не свобода личности. Право свободно передвигаться, свободно мыслить и выражать свои мнения не рассматривается уже как необходимость. Но огромное значение получают при этом «права» тех или иных групп, которые могут поддерживать гарантированный уровень благосостояния, исключая из своего состава каких-то людей и наделяя привилегиями оставшихся. Дискриминация тех, кто не входит в определенную группу, не говоря уж о представителях других национальностей, сегодня нечто само собой разумеющееся. Несправедливости по отношению к индивидам, вызванные правительственной поддержкой групповых интересов, воспринимаются с равнодушием, граничащим с жестокостью. А очевидные нарушения элементарных прав человека, например, в случаях массовых принудительных переселений, получают поддержку даже у людей, называющих себя либералами.

Все это свидетельствует о притуплении морального чувства, а вовсе не о его обострении. И когда нам все чаще напоминают, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, то в роли яиц выступают обычно те ценности, которые поколение или два назад считались основами цивилизованной жизни. Каких только преступлений властей не прощали в последнее время, солидаризуясь с ними, наши так называемые «либералы»!

В сдвигах моральных ценностей, вызванных наступлением коллективизма, есть один аспект, который сегодня дает особую пищу для размышлений. Дело в том, что добродетели, ценимые нами все меньше и становящиеся поэтому все более редкими, прежде составляли гордость англосаксов и отличали их, по общему признанию, от других народов. Этими качествами (присущими в такой же степени, пожалуй, еще только нескольким малочисленным нациям, таким, как голландцы или швейцарцы) были независимость и самостоятельность, инициативность и ответственность, умение многое делать добровольно и не лезть в дела соседа, терпимость к людям странным, непохожим на других, уважение к традициям и здоровая подозрительность по отношению к властям. Но наступление коллективизма с присущими ему нейтралистскими тенденциями последовательно разрушает именно те традиции и установления, в которых нашел свое наиболее яркое воплощение демократический

гений и которые, в свою очередь, существенно повлияли на формирование национального характера и всего морального климата Англии и США.

Иностранцу бывает порой легче разглядеть, чем обусловлен нравственный облик нации. И если мне, который, что бы ни гласил закон, навсегда останется здесь иностранцем, будет позволено высказать свое мнение, я вынужден буду констатировать, что являюсь свидетелем одного из самых печальных событий нашего времени, наблюдая, как англичане начинают относиться со все большим презрением к тому, что было поистине драгоценным вкладом Англии в мировое сообщество. Жители Англии вряд ли отдают себе отчет, насколько они отличаются от других народов тем, что независимо от партийной принадлежности все они воспитаны на идеях, известных под именем «либерализм». Еще двадцать лет назад англичане, если их сравнивать с представителями любой другой нации, даже не будучи членами либеральной партии, все были, однако, либералами. И даже теперь английский консерватор или социалист, оказавшись за рубежом, не менее, чем либерал, обнаруживает, что у него мало общего с людьми, разделяющими идеи Карлейля или Дизраэли, Уэббов или Г. Уэллса, — т.е. с нацистами и тоталитаристами, но если он попадает на интеллектуальный островок, где живы традиции Маколея или Гладстона, Дж. Ст. Милля или Джона Морли, он находит там родственные души и может легко говорить с ними на одном языке, пусть даже его собственные идеалы и отличаются от тех, которые отстаивают эти люди.

Утрата веры в традиционные ценности британской цивилизации ни в чем не проявилась так ярко, как в потрясающей неэффективности британской пропаганды, оказавшей ни с чем не сравнимое парализующее воздействие на достижение стоящей сейчас перед нами великой цели. Чтобы пропаганда, направленная на другую страну, была успешной, надо прежде всего с гордостью признавать за собой те черты и ценности, которые известны как характерные особенности нашей страны, выделяющие ее среди других. Британская пропаганда потому оказалась неэффективной, что люди, за нее ответственные, сами утратили веру в специфические английские ценности или не имеют ни малейшего представления, чем эти ценности существенно отличаются от ценностей других народов. В самом деле, наша левая интеллигенция так долго поклонялась чужим богам, что разучилась видеть положительные черты в английских институтах и традициях. Эти люди, являющиеся в боль-

шинстве социалистами, не могут допустить и мысли, что моральные ценности, составляющие предмет их гордости, возникли в огромной степени благодаря тем институтам, которые они призывают разрушить. К сожалению, такой точки зрения придерживаются не только социалисты. Хочется думать, что менее речистые, но более многочисленные англичане считают иначе. Однако если судить по идеям, пронизывающим современные политические дискуссии и пропаганду, англичан, которые не только «говорят языком Шекспира», но и верят в то, во что верил Мильтон, уже практически не осталось[4].

Верить, что пропаганда, основанная на таком подходе, окажет какое-либо воздействие на врага, в особенности на немцев, означает фатально заблуждаться. Немцы, возможно, и не знают как следует Англию и США, но они все же знают достаточно, чтобы иметь представление о традиционных ценностях английской демократии и о тех расхождениях между нашими странами, которые последовательно углублялись на памяти двух-трех поколений. И если мы хотим их убедить не только в искренности наших заявлений, но и в том, что мы предлагаем реальную альтернативу тому пути, по которому они ныне следуют, то это невозможно сделать, принимая их образ мыслей. Мы не сможем обмануть их, подсовывая вторичные толкования идей, заимствованных в свое время у их отцов, — будь то идеи «реальной политики», «научного планирования» или корпоративизма. И мы не сможем их ни в чем убедить, пока идем за ними след в след по дороге, ведущей к тоталитаризму. Если демократические страны откажутся от высших идеалов свободы и счастья индивида, фактически признавая таким образом несостоятельность своей цивилизации и свою готовность следовать за Германией, то им в самом деле нечего будет предложить другим народам. Для немцев это выглядит как запоздалое признание коренной неправоты либерализма и права Германии прокладывать дорогу к новому миру, каким бы ужасным ни был переходный период. При этом немцы вполне отдают себе отчет, что английские и американские традиции находятся в непримиримом противоречии с их идеалами и образом

4 В этой главе мы уже не раз ссылались на Мильтона. Но трудно удержаться, чтобы не привести еще одно его высказывание, которое, несмотря на то что оно широко известно, сегодня осмелится напомнить только иностранец: «Пусть Англия не забывает, что она первой стала учить другие народы, как надо жить». Примечательно, что в нашем поколении нашлось множество ниспровергателей Мильтона — как в Англии, так и в США. И не случайно, по-видимому, главный из них — Эзра Паунд — вел во время войны радиопередачи из Италии!

жизни. Их можно было бы убедить, что они избрали неверный путь, но они никогда не поверят, что англичане или американцы будут лучшими проводниками на дороге, проложенной Германией.

И в последнюю очередь пропаганда такого рода найдет отклик у тех людей, на чью помощь в деле восстановления Европы мы в конечном счете можем рассчитывать, поскольку их ценности близки к нашим. Но их опыт прибавил им мудрости и избавил от иллюзий: они поняли, что ни благие намерения, ни эффективная организация не сохранят человечности в системе, где отсутствуют свобода и ответственность личности. Немцы и итальянцы, усвоившие этот урок, хотят превыше всего иметь надежную защиту от чудовищного государства. Им нужны не грандиозные планы переустройства всего общества, но покой, свобода и возможность выстроить еще раз свою собственную жизнь. Мы можем рассчитывать на помощь некоторых жителей стран, с которыми мы воюем, не потому, что они предпочтут английское владычество прусскому, а потому, что они верят, что в мире, где когда-то победили демократические идеалы, их избавят от произвола, оставят в покое и позволят заниматься своими идеалами.

Чтобы победить в идеологической войне и привлечь на свою сторону дружественные элементы во вражеском стане, мы должны прежде всего вновь обрести веру в традиционные ценности, которые мы готовы были отстаивать прежде, и смело встать на защиту идеалов, являющихся главной мишенью врага. Мы завоюем доверие и обретем поддержку не стыдливыми извинениями за свои взгляды, не обещаниями их немедленно изменить и не заверениями, что мы найдем компромисс между традиционными либеральными ценностями и идеями тоталитаризма. Реальное значение имеют не последние усовершенствования наших общественных институтов, которые ничтожны по сравнению с пропастью, разделяющей два пути развития, но наша приверженность тем традициям, которые сделали Англию и США странами, где живут независимые и свободные, терпимые и благородные люди.

XV. Каким будет мир после войны?

Из всех форм контроля демократии наиболее адекватной и действенной оказалась федерация... Федеративная система ограничивает и сдерживает верховную власть, наделяя правительство четко очерченными правами. Это единственный метод держать в узде не только большинство, но и народовластие в целом.
Лорд Актон

Ни в какой другой области мир не заплатил еще такой цены за отступление от принципов либерализма XIX века, как в сфере международных отношений, где это отступление впервые и началось. И все же мы выучили еще далеко не весь урок, преподанный нам этим опытом. Быть может, наши представления о целях и возможностях в этой области все еще таковы, что грозят привести к результатам, прямо противоположным тем, которые они обещают.

Один из уроков недавнего времени, который постепенно доходит до нашего сознания, заключается в том, что различные системы экономического планирования, реализуемые независимо друг от друга в отдельных странах, не только губительно сказываются на состоянии экономики как таковой, но также приводят к серьезному обострению международных отношений. Сегодня уже не надо объяснять, что, пока каждая страна может осуществлять в своих интересах любые меры, которые сочтет необходимыми, нельзя надеяться на сохранение прочного мира. А поскольку многие виды планирования возможны только в том случае, если властям удается исключить все внешние влияния, то результатом такого планирования становятся ограничения передвижения людей и товаров.

Менее очевидной, но не менее реальной является угроза миру, коренящаяся в искусственно культивируемом экономическом единстве всех жителей страны, ступившей на путь планирования, и в возникновении блоков со взаимоисключающими интересами. В принципе нет никакой необходимости, чтобы границы между странами являлись одновременно водоразделами между различными жизненными стандартами и чтобы принадлежность к какой-то нации га-

рантировала блага, недоступные представителям других наций. Больше того, это нежелательно. Если национальные ресурсы рассматриваются как исключительная собственность соответствующих наций, если международные экономические связи вместо того, чтобы быть связями индивидов, превращаются в отношения между нациями как едиными и единственными субъектами производства и торговли, зависть и разногласия между народами становятся неизбежными. В наши дни получила распространение поистине фатальная иллюзия, что, проводя переговоры между государствами или организованными группами по поводу рынков сбыта и источников сырья, можно добиться снижения международной напряженности. Этот путь ведет к тому, что силовые аргументы окончательно вытеснят то, что лишь метафорически называется «конкурентной борьбой». В результате вопросы, которые между индивидами никогда не решались с позиций силы, будут решаться в противоборстве сильных и хорошо вооруженных государств, не контролируемых никаким высшим законом. Экономическое взаимодействие между государствами, каждое из которых само является высшим судьей своих действий и руководствуется только своими актуальными интересами, неизбежно приведет к жестоким межгосударственным столкновениям[1].

Если мы используем дарованную нам победу для того, чтобы проводить в послевоенном мире эту политику, результаты которой были очевидны еще в 1939 году, мы очень скоро обнаружим, что победили национал-социализм лишь с целью создать мир, целиком состоящий из таких «национал-социализмов», отличающихся друг от друга в деталях, но одинаково тоталитарных, националистических и находящихся в постоянном противоборстве. Тогда немцы окажутся агрессорами (многие уже и теперь так считают[2]) только в том смысле, что они первыми ступили на этот путь.

Те, кто хотя бы отчасти сознает эту опасность, приходят обычно к выводу, что экономическое планирование должно быть «международным» и осуществляться некими наднациональными властями. Очевидно, что это вызовет все те же затруднения,

1 По этому и другим вопросам, которых я могу коснуться в этой главе лишь очень кратко, см. книгу профессора Лайонела Роббинса: *Robbins L.* Economic Planning and International Order. [London,] 1937, passim.

2 В этом отношении весьма показательной является книга: *Burham J.* The Managerial Revolution. [N.Y.,] 1939.

которые встречаются при попытках планирования на национальном уровне. Но есть здесь и гораздо большие опасности, в которых сторонники этой концепции вряд ли отдают себе отчет. Прежде всего проблемы, возникающие в результате сознательного управления экономикой отдельной страны, при переходе к международным масштабам усугубляются многократно. Конфликт между планированием и свободой не может не стать более глубоким, когда возрастет разнообразие жизненных стандартов и ценностей, которые должны быть охвачены единым планом. Нетрудно планировать экономическую жизнь семьи, если она относительно невелика и живет в небольшом поселении. Но по мере увеличения размеров группы согласие между ее членами по поводу иерархии целей будет все меньше, и соответственно будет расти необходимость использовать принуждение. В небольшом сообществе существует согласие по многим вопросам, обусловленное общностью взглядов на относительную важность тех или иных задач, общими оценками и ценностями. Но чем шире мы будем раскидывать сети, тем больше найдется у нас причин использовать силу.

Людей, проживающих в одной стране, можно относительно легко убедить пойти на жертвы, чтобы помочь развитию «их» металлургии, или «их» сельского хозяйства или обеспечить всем определенный уровень благосостояния. Пока речь идет о том, чтобы помогать людям, чьи жизненные устои и образ мыслей нам знакомы, о перераспределении доходов или реорганизации условий труда людей, которых мы по крайней мере можем себе представить и взгляды которых на необходимый уровень материальной обеспеченности близки к нашим, мы обычно готовы идти ради них на какие-то жертвы. Но чтобы понять, что в более широких масштабах моральные критерии, необходимые для такого рода взаимопомощи, совершенно исчезают, достаточно вообразить проблемы, которые встанут в ходе экономического планирования хотя бы такой области, как Западная Европа. Неужели кто-то может помыслить такие общезначимые идеалы справедливого распределения, которые заставят норвежского рыбака отказаться от перспектив улучшения своего экономического положения, чтобы помочь своему коллеге в Португалии, или голландского рабочего — покупать велосипед по более высокой цене, чтобы поддержать механика из Ковентри, или французского крестьянина — платить более высокие налоги ради индустриализации в Италии?

Если те, кто предлагает все это осуществить, отказываются замечать эти проблемы, то только потому, что, сознательно или бессознательно, они полагают, что станут сами решать эти вопросы за других, и считают себя способными делать это справедливо и беспристрастно. Чтобы англичане поняли, что в действительности означают такие идеи, они должны представить себе, что в глазах планирующей инстанции они окажутся малой нацией, и все основные цели развития экономики Великобритании будут определяться большинством небританского происхождения. Много ли найдется в Англии людей, готовых подчиняться решениям международного правительства, какими бы демократическими ни были принципы его создания, имеющего власть объявить развитие испанской металлургии приоритетным направлением по сравнению с развитием той же отрасли в Южном Уэльсе, или сконцентрировать всю оптическую промышленность в Германии, ликвидировав ее в Великобритании, или постановить, что в Великобританию будет ввозиться только готовый бензин, а вся нефтеперерабатывающая промышленность будет сосредоточена в нефтедобывающих странах?

Воображать, что экономическая жизнь обширной области, включающей множество различных наций, будет спланирована с помощью демократической процедуры, — можно, лишь будучи слепым к такого рода проблемам. Международное планирование в гораздо большей степени, чем планирование в масштабах одной страны, будет неприкрытой диктатурой, разгулом насилия и произвола, осуществляемого небольшой группой, навязывающей всем остальным свои представления о том, кто к чему пригоден и кто чего достоин. Это будет воплощением немецкой идеи *Grossraumwirtschaft* — крупномасштабного централизованного хозяйства, которое может управляться только расой господ — *Herrenvolk*.

Неверно считать жестокость и пренебрежение к стремлениям малых народов, проявленные немцами, выражением их врожденной порочности; это было неизбежным следствием той задачи, которую они перед собой поставили. Чтобы осуществлять управление экономической жизнью людей, обладающих крайне разнообразными идеалами и ценностями, надо принять на себя ответственность применения силы. Людей, которые поставили себя в такое положение, даже самые благие намерения не могут уберечь от необходимости действовать так, что те,

на кого направлены эти действия, будут считать их в высшей степени аморальными[3].

Это верно даже в том случае, если высшие власти будут отличаться крайней степенью идеализма и альтруизма. Но как ничтожно мала вероятность альтруистической власти, как велики оказываются здесь искушения! Я убежден, что в Англии уровень порядочности и честности, особенно в международных делах, выше, чем где бы то ни было. И все же здесь теперь раздаются во множестве голоса, призывающие использовать победу для создания условий, в которых британская промышленность сможет максимально применять специальное оборудование, изготовленное во время войны, и направить процесс восстановления Европы по такому руслу, которое обеспечило бы исключительные возможности для развития индустрии нашей страны и гарантировало бы каждому ее жителю работу, которую он считает для себя подходящей. В этих предложениях поражает даже не то, что они вообще возникают, а то, что они звучат как абсолютно невинные, само собой разумеющиеся, а их авторами являются вполне порядочные люди, которые просто не отдают себе отчета, к каким чудовищным моральным последствиям приведет насилие, неизбежное в случае их осуществления[4].

Пожалуй, самым популярным доводом, укрепляющим веру в возможность централизованного демократического управления экономической жизнью множества различных наций, является роковое

3 Опыт колониальной политики Великобритании, как, впрочем, и любой другой державы, ясно показал, что даже «мягкие» формы планирования, известные как промышленное развитие и освоение ресурсов колоний, неизбежно предполагают навязывание определенных ценностей и идеалов тем народам, которым мы пытаемся оказать помощь. Именно этот опыт заставляет даже самых глобально мыслящих специалистов сомневаться в возможности «международного» управления колониями.

4 Если кто-то еще сомневается в наличии этих трудностей или надеется, что, имея достаточно доброй воли, их можно преодолеть, я могу предложить поразмышлять над некоторыми последствиями централизованного управления экономической деятельностью на международном уровне. Можно ли, например, сомневаться, что при таком повороте событий будет сознательно или неосознанно сделано все, чтобы сохранить в мире доминирующее положение белого человека, и что другие расы воспримут это именно таким образом? Пока я не встречу человека, который, будучи в здравом уме, станет утверждать, что народы Европы согласятся добровольно подчиняться жизненным стандартам, установленным всемирным парламентом, я не смогу не считать подобные планы абсурдными. Но это, к сожалению, не мешает многим всерьез обсуждать конкретные меры так, будто всемирное правительство является вполне достижимым идеалом.

заблуждение, что если решения по всем основным вопросам будет принимать «народ», то в силу общности интересов трудящихся всего мира удастся легко преодолеть различия, существующие между правящими классами разных стран. Есть, однако, все основания предполагать, что если планирование будет осуществляться во всемирном масштабе, то конфликты экономических интересов, возникающие ныне в рамках отдельных стран, уступят место гораздо более серьезным конфликтам между целыми народами, разрешить которые можно будет только с применением силы. У трудящихся разных стран будут возникать взаимоисключающие мнения по вопросам, которые придется решать международному правительству, а общезначимые критерии, необходимые для мирного разрешения таких конфликтов, найти будет гораздо сложнее, чем в ситуации классовых противоречий в одной стране. Для рабочих из бедной страны требование их более обеспеченных коллег, стремящихся обезопасить себя от конкуренции, законодательно ввести минимум заработной платы, будет не защитой их интересов, а лишением их единственной возможности улучшить свое материальное положение. Жители бедной страны исходно поставлены в невыгодные условия, так как вынуждены работать за более низкую плату и обменивать продукт своего десятичасового труда на продукт пятичасового труда жителей развитых стран, имеющих более производительное оборудование. И такая «эксплуатация» для них ничем не лучше капиталистической.

Совершенно очевидно, что в планируемом международном сообществе богатые и, следовательно, более сильные нации станут объектом гораздо большей зависти и ненависти, чем в мире, построенном на принципах свободной экономики. А бедные нации будут убеждены (неважно, с основанием или без основания), что их положение можно легко поправить, если позволить им действовать по собственному усмотрению. И если обязанностью международного правительства станет распределение богатств между народами, то, как следует из социалистического учения, классовая борьба превратится в борьбу между трудящимися разных стран.

В последнее время приходится часто слышать не слишком внятные рассуждения о «планировании во имя выравнивания различных жизненных уровней». Чтобы понять, к чему они сводятся, рассмотрим конкретный пример. Областью, к которой сегодня приковано внимание наших сторонников планирования, является бассейн Дуная и прилегающие к нему страны Юго-Восточной Европы. Нет сомнения, что как из гуманистических и экономических

соображений, так и для упрочения в будущем мира в Европе необходимо улучшить экономическое положение этого региона и пересмотреть существовавшее там до войны политическое устройство. Но это не равнозначно подчинению единому плану всей происходящей там экономической жизни, чтобы развитие различных отраслей шло по заранее продуманной схеме, а всякая местная инициатива требовала бы одобрения центральных властей. Нельзя, например, создать для бассейна Дуная нечто вроде «Управления долины реки Теннесси», не определив заранее и на много лет вперед относительные темпы экономического развития разных народов, живущих в этом регионе, и не подчинив все их устремления этой единой цели.

Такого рода планирование должно начинаться с установления приоритетных интересов. Для сознательного выравнивания по единому плану различных уровней жизни необходимо взвесить разные потребности и выделить из них наиболее важные, требующие первоочередного удовлетворения. При этом группы, интересы которых не попали в число приоритетных, могут быть убеждены не только в несправедливости такой дискриминации, но и в том, что они смогут легко удовлетворить свои запросы, если будут действовать независимо. Нет такой шкалы ценностей, которая позволила бы нам решить, являются ли нужды бедного румынского крестьянина более (или менее) насущными, чем нужды еще более бедного албанца. Но если мы собираемся поднимать их уровень жизни по единому плану, мы должны как-то все это взвесить и увязать одно с другим. И когда такой план будет принят к исполнению, все ресурсы данного региона окажутся подчиненными содержащимся в нем указаниям, и никто уже не сможет действовать по своему усмотрению, даже если видит не предусмотренные планом пути улучшения своего материального положения. Если запросы какой-то группы не получают приоритетного статуса, то члены этой группы вынуждены трудиться для удовлетворения запросов тех, кому было отдано предпочтение.

При таком положении буквально у каждого будет возникать ощущение, что он несправедливо обижен, что другой план мог бы дать ему больше и что решением властей он оказался приговоренным занимать в обществе место, которое он считает для себя недостойным. Предпринимать такие действия в регионе, густо населенном малыми народами, каждый из которых считает себя выше остальных, значит заранее обречь себя на применение насилия. На практике это означает, что большие нации будут своей волей решать, какими темпами наращивать уровень жизни болгарским,

а какими — македонским крестьянам и кто быстрее будет приближаться к западным стандартам благосостояния — чешский или венгерский шахтер. Не надо быть экспертом в области психологии народов Центральной Европы (и даже просто в области психологии), чтобы понять, что, как бы ни были установлены приоритеты, недовольных будет много, скорее всего большинство. И очень скоро ненависть людей, считающих себя несправедливо обиженными, обратится против властей, которые, хотя и не преследуют корыстных целей, все же решают судьбы людей.

Тем не менее есть много людей, искренне убежденных, что если им будет доверена такая задача, то они окажутся в состоянии решить все проблемы беспристрастно и справедливо. Они будут страшно удивлены, обнаружив, что являются объектом ненависти и подозрений. И именно такие люди первыми пойдут на применение силы, когда те, кому они намеревались помочь, ответят на это непониманием и неблагодарностью. Это опасные идеалисты, и они будут безжалостно насаждать все, что, по их мнению, соответствует интересам других. Они просто не подозревают, что, когда они берутся силой навязывать другим людям нравственные представления, которых те не разделяют, они рискуют попасть в положение, в котором им придется действовать безнравственно. Ставить такую задачу перед народами-победителями — значит толкать их на путь морального разложения.

Мы можем употребить все силы, чтобы помочь бедным, которые сами стремятся поднять уровень своего материального благосостояния. И международные организации будут в высшей степени справедливыми и внесут огромный вклад в дело экономического развития, если они будут способствовать созданию условий, в которых народы смогут сами устраивать свою жизнь. Но невозможно осуществлять справедливость и помогать людям, если центральные власти распределяют ресурсы и рынки сбыта и если каждая инициатива должна получать одобрение сверху.

После всех аргументов, прозвучавших на страницах этой книги, вряд ли надо специально доказывать, что мы не решим проблемы, обязав международное правительство решать «только» экономические вопросы. Убеждение, что это может стать практическим выходом, основано на иллюзорном представлении, что планирование — чисто техническая задача, которую можно решать объективно усилиями группы специалистов, оставляя все действительно жиз-

ненные вопросы на усмотрение политиков. Но любой международный экономический орган, не подчиненный никакой политической власти, даже если его деятельность будет строго ограничена решением определенного круга вопросов, сможет легко превратиться в орган безответственной тирании, обладающий неограниченной властью. Полный контроль предложения даже в какой-нибудь одной области (например, в воздушном транспорте) дает по сути дела неограниченные возможности. И поскольку практически все что угодно можно представить как «техническую необходимость», недоступную пониманию неспециалиста, или обосновать гуманистическими соображениями, ссылаясь на ущемленные интересы какой-нибудь социальной группы (что, может быть, даже недалеко от истины), то контролировать эту власть оказывается невозможно. Проекты объединения мировых ресурсов под эгидой специального органа, вызывающие ныне одобрение в самых неожиданных кругах, т.е. создания системы всемирных монополий, признаваемых правительствами всех стран, но ни одному из них не подчиненных, грозят привести к появлению зловещей мафии, занимающейся крупномасштабным рэкетом, даже если люди, непосредственно ее возглавляющие, будут честно блюсти вверенные им общественные интересы.

Если серьезно задуматься над последствиями невинных на первый взгляд предложений, которые многие считают основой будущего экономического уклада, таких, как сознательный контроль за распределением сырья, можно увидеть, какие нас подстерегают сегодня политические и нравственные опасности. Тот, кто контролирует поставки основных видов сырья — бензина, леса, каучука, олова и т.д., будет фактически распоряжаться судьбой целых отраслей промышленности и целых стран. Регулируя размеры сырьевых поставок и цены, он будет решать, сможет ли та или иная страна открыть какое-нибудь производство. «Защищая» интересы определенной группы, которую он считает вверенной его попечению, поддерживая на определенном уровне ее благосостояние, он будет в то же время лишать многих людей, находящихся в гораздо худшем положении, единственного, может быть, шанса его поправить. И если таким образом будут поставлены под контроль все основные виды сырья, не будет ни одного производства, которое смогут открыть жители любой страны, не заручившись согласием контролера. Никакой план промышленного переустройства не будет гарантирован от неожиданного «вето». То же самое относится и к международным

соглашениям о рынках сбыта и в еще большей степени — к контролю капиталовложений и разработке природных ресурсов.

Удивительно наблюдать, как люди, изображающие из себя закоренелых прагматиков, не упускающие ни одной возможности посмеяться над «утопизмом» тех, кто верит в перспективы политического упорядочения международных отношений, в то же самое время усматривают практический смысл в гораздо более тесных и безответственных отношениях между нациями, на которых основана идея международного планирования. И они убеждены, что если наделить международное правительство невиданной доселе властью, не сдерживаемой, как мы видели, даже принципами правозаконности, то власть эта будет использоваться таким альтруистическим и справедливым образом, что все ей с готовностью подчинятся. Между тем очевидно, что страны, может быть, и соблюдали бы формальные правила в отношениях друг с другом, если бы сумели об этих правилах договориться, но они никогда не станут подчиняться решениям международной планирующей инстанции. Иначе говоря, они готовы играть по правилам, но ни за что не согласятся на такую систему, при которой значимость их потребностей будет определяться большинством, голосов. Если даже под гипнозом этих иллюзорных идей народы вначале и согласятся наделить такой властью международное правительство, то очень скоро они обнаружат, что делегировали этому органу вовсе не разработку технических вопросов, а власть решать свою судьбу.

Впрочем, наши «реалисты» не так уж непрактичны и поддерживают эти идеи не без задней мысли: великие державы, несогласные подчиняться никакой высшей власти, могут тем не менее использовать ее, чтобы навязывать свою волю малым нациям в какой-нибудь области, где они надеются завоевать гегемонию. И в этом уже чувствуется настоящий реализм, ибо за всем камуфляжем «международного» планирования скрывается на самом деле ситуация, которая вообще является единственно возможной: все «международное» планирование будет осуществлять одна держава. Этот обман, однако, не меняет того факта, что зависимость небольших стран от внешнего давления будет неизмеримо большей, чем если бы они сохраняли в какой-то форме свой политический суверенитет.

Примечательно, что самые горячие сторонники централизованного экономического «нового порядка» в Европе демонстрируют, как и их предшественники — немцы, а в Англии — фабианцы, полное пренебрежение к правам личности и к правам малых

народов. Взгляды профессора Карра, который в этой области является даже более последовательным тоталитаристом, чем во внешнеполитических вопросах, вынудили одного из его коллег обратиться к нему с вопросом: «Если нацистский подход к малым суверенным государствам действительно станет общепринятым, за что же тогда мы воюем?»[5]. Те, кто отметил, какую тревогу проявили наши союзники, не принадлежащие к числу сверхдержав, в связи с недавними высказываниями по этому поводу, опубликованными в таких различных газетах, как Times и New Statesman[6], знают, что уже сейчас такой подход вызывает возмущение у наших ближайших друзей. Как же легко будет растерять запас доброй воли, накопленной во время войны, если мы будем ему следовать!

Те, кто с такой легкостью готов пренебрегать правами малых стран, правы, быть может, только в одном: мы не можем рассчитывать на длительный мир после окончания этой войны, если государства, — неважно, большие или маленькие, — вновь обретут полный экономический суверенитет. Это не означает, что должно быть создано новое сверхгосударство, наделенное правами, которые мы не научились как следует использовать на национальном уровне, или что каким-то международным властям надо предоставить возможность указывать отдельным нациям, как им использовать свои ресурсы. Речь идет о том, что в послевоенном мире нужна сила, которая предотвращала бы действия отдельных государств, наносящие прямой ущерб их соседям, — какая-то система правил, определяющих, что может делать государство, и орган, контролирующий исполнение этих правил. Власть, которой будет обладать этот орган, станет главным образом запретительной. Прежде всего он должен будет говорить «нет» любым проявлениям рестрикционной политики.

Неверно полагать, как это теперь делают многие, что нам нужна международная экономическая власть при сохранении политического суверенитета отдельных государств. Дело обстоит как раз противоположным образом. Что нам действительно нужно и чего мы

5 См. рецензию профессора Мэннинга на книгу профессора Карра «Условия мира» (International Affairs Review Supplement. 1942. June).

6 Как недавно отметил один из еженедельников, «мы уже не удивляемся, когда со страниц New Statesman или Times вдруг повеет идеями профессора Карра» (Four Winds // Time and Tide. 1943. 20 February).

можем надеяться достичь, — это не экономическая власть в руках какого-то безответственного международного органа, а, наоборот, высшая политическая власть, способная контролировать экономические интересы, а в случае конфликта между ними — выступать в роли третейского судьи, ибо сама она в экономической игре никак не будет участвовать. Нам нужен международный политический орган, который, не имея возможности указывать народам, что им делать, мог бы ограничивать те их действия, которые наносят вред другим.

Власть этого международного органа будет совсем не такой, какую взяли на себя в последнее время некоторые государства. Это будет минимум власти, необходимый, чтобы сохранять мирные взаимоотношения, характерный для ультралиберального государства типа *laissez-faire*. И даже в большей степени, чем на национальном уровне, должны здесь действовать принципы правозаконности. Нужда в таком международном органе становится тем более ощутимой, чем больше отдельные государства углубляются в наше время в экономическое администрирование и становятся скорее действующими лицами на экономической сцене, чем наблюдателями, что значительно повышает вероятность межгосударственных конфликтов на экономической почве.

Формой власти, предполагающей передачу международному правительству строго определенных полномочий, в то время как во всех остальных отношениях отдельные государства продолжают нести ответственность за свои внутренние дела, является, разумеется, федерация. В разгар пропаганды «Федеративного союза» можно было услышать много неверных, а часто просто нелепых заявлений по поводу создания всемирной конфедерации. Но все это не должно заслонять того факта, что федеративный принцип является единственной формой объединения различных народов, способной упорядочить взаимоотношения между странами, никак не ограничивая их законного стремления к независимости[7]. Федерализм — это, конечно, не что иное, как приложение к международным отношениям принципов демократии — единственного способа осуществлять мирным путем перемены, изобретенного пока

7 К сожалению, поток федералистских публикаций, обрушившихся на нас в последние годы, был так велик, что от нашего внимания ускользнули несколько важных и глубоких работ. Одну из них по крайней мере надо будет внимательно изучить, когда придет время формировать в Европе новые политические структуры. Это небольшая книжка д-ра Дженнингса, содержащая проект федерации Западной Европы: *Jennings W.I.* A Federation for Western Europe. [Cambridge,] 1940.

человечеством. Но федерация — это демократия с очень ограниченной властью. Если не принимать в расчет гораздо менее практичную форму слияния нескольких стран в единое централизованное государство (необходимость в котором вовсе не очевидна), то федерация представляет единственную возможность для осуществления идеи международного права. Не будем себя обманывать, утверждая, что международное право существовало в прошлом, ибо, употребляя этот термин по отношению к правилам поведения на международной арене, мы выдавали желаемое за действительное. Дело в том, что если мы хотим воспрепятствовать убийствам, недостаточно просто объявить их нежелательными, надо еще дать властям возможность предотвращать убийства. Точно так же не может быть никакого международного права без реальной власти, способной претворять его в жизнь. Препятствием к созданию такой власти служило до недавнего времени представление, что она должна включать все разнообразные аспекты власти, присутствующие в современном государстве. Но если власть разделяется по федеративному принципу, это становится необязательным.

Такое разделение полномочий будет неизбежно ограничивать власть и целого, и входящих в него отдельных государств. В результате многие виды планирования, ныне весьма популярные, окажутся просто невозможными[8]. Но это не будет служить препятствием для всякого планирования вообще. Одним из главных преимуществ федерации является как раз то, что она закрывает дорогу опасным видам планирования и открывает — полезным. Например, она предотвращает — или может быть устроена так, чтобы предотвращать, — рестрикционные меры. И она ограничивает международное планирование областью, в которой может быть достигнуто полное согласие, и не только между непосредственно заинтересованными сторонами, но между всеми, кого это может затрагивать. Полезные формы планирования применяются в условиях федерации локально, осуществляются теми, кто имеет соответствующую компетенцию, и не сопровождаются рестрикционными мерами. Можно даже надеяться, что внутри федерации, — где уже не будет причин, заставлявших в прошлом максимально укреплять отдельные государства, — начнется процесс, обратный централизации, и правительства станут передавать часть своих полномочий местным властям.

8 См. об этом мою статью: Economic Conditions of Inter state Federation // New Commonwealth Quarterly. 1939. Vol. V. September.

Стоит напомнить, что идея воцарения мира во всем мире в результате соединения отдельных государств в большие федеративные группы, а в конечном счете, возможно, и в единую федерацию, совсем не нова. Это был идеал, привлекавший практически всех либеральных мыслителей XIX столетия. Начиная с Теннисона, у которого видение «воздушной битвы» сменяется видением единения народов, возникающего после их последнего сражения, и вплоть до конца века достижение федерации оставалось неугасимой мечтой, надеждой на то, что это будет следующий великий шаг в развитии нашей цивилизации. Либералы XIX века, может быть, и не знали в точности, насколько существенным дополнением к их принципам была идея конфедерации государств[9]. Но мало кто из них не отметил это как конечную цель[10]. И только с приходом XX века, ознаменовавшего торжество «реальной политики», идею федерации стали считать утопической и неосуществимой.

Восстанавливая нашу цивилизацию, мы должны избежать гигантомании. Не случайно в жизни малых народов больше и достоинства, и красоты, а среди больших наций, очевидно, более счастливыми являются те, которым незнакома мертвящая атмосфера централизации. И мы не сможем сохранять и развивать демократию, если власть принимать важнейшие решения будет сосредоточена в организации, слишком масштабной, чтобы ее мог охватить своим разумом обычный человек. Никогда демократия не действовала успешно, если не было достаточно развито звено местного самоуправления, которое является школой политической деятельности как для народа, так и для его будущих лидеров. Только на этом уровне можно усвоить, что такое ответственность, и научиться принимать ответственные решения в вопросах, понятных каждому. Только здесь, где человек руководствуется в своих действиях не теоретическими знаниями о нуждах людей, а умением понимать реальные нужды своего соседа, он может по-настоящему войти в общественную жизнь. Когда же масштабы политической деятельности становятся

9 См. об этом книгу профессора Роббинса, на которую я уже ссылался.

10 В самом конце прошлого века Генри Сиджвик считал «не выходящим за пределы трезвых прогнозов предположение, что в западноевропейских странах может возникнуть какая-то форма интеграции; и если это произойдет, то весьма вероятно, что они последуют примеру Америки и новое политическое единство будет сформировано как федерация» (*Sidgwick H.* The Development of European Polity. [London; N.Y.,] 1903. P. 439).

настолько широкими, что знаниями, необходимыми для ее осуществления, располагает только бюрократия, творческий импульс отдельного человека неизбежно ослабевает. И в этом смысле, я думаю, может оказаться бесценным опыт малых стран, таких, как Голландия или Швейцария. Даже такой счастливой стране, как Великобритания, есть, пожалуй, что из него почерпнуть. И конечно, мы бы все выиграли, если бы нам удалось создать мир, в котором себя хорошо чувствовали малые страны.

Однако небольшие государства смогут сохранить независимость — внутреннюю и внешнюю — только при условии, что будет по-настоящему действовать система международного права, гарантирующая, во-первых, что соответствующие законы будут соблюдаться, а во-вторых, что органы, следящие за их соблюдением, не будут использовать свою власть в других целях. Поэтому с точки зрения эффективности претворения в жизнь норм международного права органы эти должны обладать сильной властью, но в то же время они должны быть так устроены, чтобы была исключена всякая возможность возникновения их тирании как на международном, так и на национальном уровне. Мы никогда не сможем предотвратить злоупотребление властью, если не будем готовы ограничить эту власть, пусть даже затрудняя этим решение стоящих перед ней задач. Величайшая возможность, которая представится нам в конце этой войны, заключается в том, что победившие державы, первыми подчинившись системе правил, которую они сами же установят, будут вместе с тем иметь моральное право обязать другие страны также подчиняться этим правилам.

Одной из лучших гарантий мира станет такой международный орган, который будет ограничивать власть государства над личностью. Международные принципы правозаконности должны стать средством как против тирании государства над индивидом, так и против тирании нового супергосударства над национальными сообществами. Нашей целью является не могущественное супергосударство и не формальная ассоциация «свободных наций», но сообщество наций, состоящих из свободных людей. Мы долго сокрушались, что стало невозможно осмысленно действовать на международной арене, потому что другие все время нарушают правила игры. Приближающаяся развязка войны даст нам возможность продемонстрировать, что мы были искренни и что теперь мы готовы принять те же ограничения нашей свободы действий, которые считаем обязательными для всех.

Разумно используя федеративный принцип, мы сможем решить многие сложнейшие проблемы, стоящие в современном мире. Но мы никогда не добьемся успеха, если будем стремиться получить то, чего этот принцип не может дать. Возможно, возникнет тенденция распространять деятельность любой международной организации на весь мир. И наверное, возникнет нужда в какой-то всеобъемлющей организации, которая смогла бы заменить Лигу Наций. Величайшая опасность, на мой взгляд, состоит в том, что, возлагая на эту организацию все задачи, которые необходимо решать в области международных отношений, мы сделаем ее неэффективной. Я всегда полагал, что именно в этом была причина слабости Лиги Наций: безуспешные попытки сделать ее всемирной и всеобъемлющей сделали ее недееспособной, а будь она меньше и в то же время сильнее, она смогла бы стать надежным инструментом сохранения мира. Мне кажется, что эти соображения до сих пор остаются в силе. И уровень сотрудничества, которого можно достичь, скажем, между Британской Империей, странами Западной Европы и, вероятно, Соединенными Штатами, недостижим в масштабах всего мира. Сравнительно узкая ассоциация, построенная на принципах федерации, сможет на первых порах охватить лишь часть Западной Европы, с тем чтобы потом постепенно расширяться.

С другой стороны, конечно, создание такой региональной федерации не снижает вероятности столкновений между различными блоками, и с этой точки зрения, формируя более широкую, но и более формальную ассоциацию, мы уменьшим риск возникновения войны. Я думаю, что нужда в такой организации не является препятствием для возникновения более тесных союзов, включающих страны, близкие по своей культуре, мировоззрению и жизненным стандартам. Стремясь всеми силами предотвратить будущие войны, мы не должны испытывать иллюзии, что можно однажды, раз и навсегда создать организацию, которая сделает невозможной войну в любой части света. Мы не только не добьемся при этом успеха, но и упустим шанс в решении более скромных задач. Как и во всякой борьбе со злом, меры, принимаемые против войны, могут оказаться хуже самой войны. Максимум, на что мы можем разумно рассчитывать, — это снизить риск возможных конфликтов, ведущих к войне.

XVI. Заключение

Целью этой книги не было изложение детальной программы будущего развития. И если, рассматривая международные проблемы, мы несколько отклонились от поставленной первоначально чисто критической задачи, то только потому, что в этой области мы вскоре столкнемся с необходимостью создания принципиально новых структур, в рамках которых будет происходить дальнейшее развитие, возможно очень длительное. И здесь многое зависит от того, как мы используем предоставленную нам возможность. Но, что бы мы ни сделали, это будет только начало трудного процесса, в ходе которого, как все мы надеемся, постепенно выкристаллизуется новый мир, совсем не похожий на тот, в котором мы жили последние двадцать пять лет.

Я сомневаюсь, что на данном этапе может пригодиться подробный проект внутреннего устройства нашего общества и что вообще кто-нибудь способен сегодня такой проект предложить. Сейчас важно договориться о некоторых принципах и освободиться от заблуждений, направлявших наши действия в недавнем прошлом. И как бы это ни было тяжело, мы должны признать, что накануне этой войны мы вновь оказались в положении, когда лучше расчистить путь от препятствий, которые нагромоздила людская глупость, и высвободить творческую энергию индивидов, чем продолжать совершенствовать машину, которая ими «руководит» и «управляет». Иначе говоря, надо создавать благоприятные условия для прогресса, вместо того чтобы «планировать прогресс». Но прежде всего нам надо освободиться от иллюзий, заставляющих нас верить, что все совершенное нами в недавнем прошлом было либо разумным, либо неизбежным. Мы не поумнеем до тех пор, пока не признаем, что наделали много глупостей.

Если нам предстоит строить новый мир, мы должны найти в себе смелость начать все сначала. Чтобы дальше прыгнуть, надо отойти назад для разбега. У тех, кто верит в неизбежные тенденции и проповедует «новый порядок» и идеалы последних сорока лет, кто не находит ничего лучшего, чем пытаться повторить то, что сделал

Гитлер, у тех не может быть этой смелости. Кто громче всех призывает к «новому порядку», находится целиком под влиянием людей, породивших и эту войну, и страдания нашего времени. Правы юноши, отвергающие сегодня идеи старших. Но они заблуждаются, если верят, что это все те же либеральные идеи XIX века, которых молодое поколение просто совсем не знает. И хотя мы не стремимся и не можем вернуться к реальности XIX столетия, у нас есть возможность осуществить его высокие идеалы. Мы не имеем права чувствовать превосходство над нашими дедами, потому что это мы, в XX столетии, а не они — в XIX, перепутали все на свете. Но если они еще не знали, как создать мир, к которому были устремлены их мысли, то мы благодаря нашему опыту уже лучше подготовлены к этой задаче. Потерпев неудачу при первой попытке создать мир свободных людей, мы должны попробовать еще раз. Ибо принцип сегодня тот же, что и в XIX веке, и единственная прогрессивная политика — это попрежнему политика, направленная на достижение свободы личности.

«Дорога к рабству» и дорога к свободе

Один из крупнейших мыслителей XX века, выдающийся экономист и социальный философ, лауреат Нобелевской премии Фридрих Август фон Хайек (1899–1992) — признанный классик современного обществознания. Его жизненный путь, внешне, казалось бы, ровный и бессобытийный, исполнен внутреннего драматизма: времена, когда идеи Хайека приковывали внимание научного мира, сменялись долгими годами забвения, когда о нем если и вспоминали, то лишь как об «одном из тех динозавров, что явно вопреки естественному отбору иногда случайно выползают на свет»[1].

Дело в том, что Хайек всегда был непримиримым противником интеллектуальной моды, в какие бы одежды она ни рядилась, а это не могло не сказываться на его репутации среди левой интеллигенции. Его по праву можно назвать «великим противостоятелем». Хайеку суждено было стать на «дороге» трех, быть может, наиболее влиятельных политических тенденций XX века, суливших радикальное улучшение условий человеческого существования, — социализма, кейнсианства и доктрины «государства благосостояния».

Делом чести для него стала защита «классического либерализма» — неглубокого, как считалось, прекраснодушного и давно отжившего свой век течения мысли. В утверждении философской, этической и научной значимости фундаментальных принципов либерализма, в восстановлении его авторитета после многих десятилетий господства социалистических теорий, в том, наконец, что его идеалы вновь стали силой, оказывающей все возрастающее воздействие на реальную политику самых различных стран мира, — во всем этом нельзя не видеть заслуг Ф. Хайека.

1

Ф. Хайек родился 8 мая 1899 года в Вене. В 1917-м, еще не закончив гимназию, был призван в армию и направлен на итальянский

1 *Hayek F.A.* Socialism and science // New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas. Chicago, 1978. P. 304.

фронт, где провел около года и откуда вернулся больным малярией. После демобилизации он поступает в Венский университет, где в 1921 году ему присуждается ученая степень доктора права, а в 1923-м — доктора политических наук. Недолгое время он состоит на государственной службе, а в 1927 году становится основателем (совместно с Л. фон Мизесом) и первым директором Австрийского института экономических исследований, который под его руководством превращается в ведущий европейский центр по изучению экономических циклов. В одной из своих статей в 1929 году Хайек первым предсказывает наступление в экономике США кризиса, получившего позднее название «Великой Депрессии 30-х годов».

В 1931 году он принимает приглашение Лондонского университета и начинает преподавать в Лондонской школе экономики. В 1930-е годы одна за другой выходят главные работы Хайека по экономической теории, которые приносят ему широкую известность в научном мире. Он завоевывает признание как один из лидеров (наряду с Л. Мизесом) так называемого «неоавстрийского» направления в экономической науке. В центре исследовательских интересов Ф. Хайека тех лет — проблемы экономического цикла, теории капитала и теории денег. Тогда же он оказывается главным оппонентом Дж. М. Кейнса. Выдающийся английский экономист Дж. Хикс много лет спустя отмечал: «Когда будет написана окончательная история развития экономического анализа в 1930-х годах, то главным действующим лицом этой драмы (а это была подлинная драма) окажется профессор Хайек... Было время, когда основное соперничество шло между новыми теориями Хайека и новыми теориями Кейнса. Кто был прав — Кейнс или Хайек?»[2]. В тот период победа, по общему убеждению, осталась за Кейнсом, и его идеи о необходимости государственного регулирования экономики надолго становятся программой практических действий для всех правительств западного мира.

Полемика с кейнсианством на какое-то время затихает, и Хайек обращается к спору с самым опасным, как он полагал, противником — социализмом. Он публикует «Дорогу к рабству» (1944), книгу, сыгравшую в известной мере поворотную роль в его дальнейшей судьбе. К удивлению самого Хайека, книга стала бестселлером (впоследствии она выдержала множество переизданий и была переведена почти на двадцать языков мира). Она привлекла внимание многих серьезных ученых и мыслителей, вызвав сочувственные

2 *Hicks J.* Critical essays in monetary theory. Oxford, 1967. P. 203.

отзывы Дж. Кейнса и Й. Шумпетера, К. Ясперса и Дж. Оруэлла (влияние «Дороги к рабству» на «1984» несомненно). Но нетрудно вообразить реакцию прогрессистской интеллигенции, подвергшей Хайека самому настоящему остракизму: «...Так называемые интеллектуалы присудили его к научной смерти. В академических кругах к нему начали относиться почти как к неприкасаемому, если не как к подходящему мальчику для битья, которого ученые мужи могли разносить в пух и прах всякий раз при обнаружении, как им представлялось, «дефектов» рынка или свободного общества»[3].

Разноречивый прием, оказанный книге, побуждает Хайека организовать в 1947 году «Общество Мон-Пелерин», объединившее «не утративших надежду» либералов из числа близких ему по духу экономистов, философов, историков, правоведов, политологов и публицистов (среди учредителей общества были, например, К. Поппер и М. Полани, с которыми Хайека связывали узы многолетней дружбы).

«Дорогу к рабству» можно считать водоразделом между «ранним» и «поздним» Хайеком. С середины 1940-х годов направление его научной деятельности меняется, изыскания в области экономической теории постепенно уступают место более общим исследованиям социально-философского плана. Чтобы противостоять тоталитаризму, как ясно осознает после «Дороги к рабству» Хайек, недостаточно ограничиться предупреждением о таящихся в нем опасностях — необходимо отстоять жизнеспособность позитивной программы классического либерализма, показать правовую и политическую возможность осуществления идеалов свободного общества на практике. В последующие годы он реализует намеченную научную программу, предпринимая разносторонние междисциплинарные исследования, охватывающие методологию науки и теоретическую психологию, историю и право, антропологию и экономику, политологию и историю идей.

Экономическая несостоятельность как системы централизованного планирования, так и различных моделей «рыночного социализма» выявляется в «Индивидуализме и экономическом порядке» (1948)[4]. В «Контрреволюции науки» (1952)[5], посвященной

3 The essence of Hayek. Stanford, 1984. P. LV.

4 *Хайек Ф.А.* Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000.

5 *Хайек Ф.А.* Контрреволюция науки: Этюды о злоупотреблениях разумом. М.: ОГИ, 2003.

методологической критике холизма, сциентизма и историцизма, Хайек прослеживает интеллектуальные истоки социализма, которые возводятся им к идеям А. Сен-Симона и сложившейся вокруг него группы студентов и выпускников парижской Политехнической школы. Именно отсюда берет начало «инженерный» взгляд на общество, согласно которому человечество способно сознательно, по заранее составленному рациональному плану контролировать и направлять свою будущую эволюцию. Эта претензия разума, обозначенная позднее Хайеком как «конструктивистский рационализм», имела фатальные последствия для судеб индивидуальной свободы. (Почва для тоталитаризма XX века была подготовлена, по его мнению, прежде всего идеями Гегеля, Конта, Фейербаха и Маркса.)

Трактат по теоретической психологии «Сенсорный порядок» (1952) раскрывает оригинальную эпистемологию Хайека (среди мыслителей, повлиявших на его подход, обычно называют Д. Юма, И. Канта, К. Менгера, Л. Витгенштейна, К. Поппера и М. Поланьи). Тема составленного им сборника «Капитализм и историки» (1954) — демифологизация истории промышленной революции в Англии. «Основной закон свободы» (1960) — труд, который многие поклонники Хайека оценивают как его opus magnum, — представляет собой систематическое изложение принципов классического либерализма, или «философии свободы», по его собственному определению. Трилогию «Право, законодательство и свобода» (1973–1979) можно рассматривать как попытку дальнейшего развития и углубления философии либерализма (первый том — «Правила и порядок», второй — «Мираж социальной справедливости», третий — «Политический строй свободного народа»).

«География» научной и преподавательской деятельности Ф. Хайека разнообразна: в 1950 году он становится профессором социальных наук и этики Чикагского университета (США), в 1962-м — профессором экономической политики Фрейбургского университета (ФРГ), в 1969-м — профессором-консультантом Зальцбургского университета (Австрия), а в 1977-м вновь возвращается во Фрейбург. 1950–1960-е годы — самая трудная полоса в жизни Хайека. Его связи с экономическим сообществом слабеют; для остального научного мира он продолжает оставаться фигурой достаточно одиозной.

Но в 1974 году Ф. Хайеку присуждается Нобелевская премия по экономике (ему к тому времени исполнилось уже 75 лет), что для него самого явилось полной неожиданностью. Однако не только с этим связано пробуждение интереса к хайековским идеям. Кри-

зис кейнсианской политики макроэкономического регулирования, пришедшийся на 1970-е годы, подтвердил правоту давних предостережений Хайека: следование кейнсианским рецептам привело к беспрецедентной для мирного времени глобальной инфляции в сочетании с падающими темпами роста и масштабной безработицей (феномен стагфляции). Хайек переходит в контрнаступление на кейнсианство, предпринимает усилия по возрождению неоавстрийской экономической теории. С не меньшей энергией атакует он систему неограниченной демократии и «государства благосостояния», от которой, по его убеждению, исходят новые угрозы принципам свободного общества. Широкий резонанс получают его проекты парламентской реформы и денационализации денег. Общий поворот в экономической политике стран Запада в минувшие десятилетия в немалой степени был вдохновлен идеями Ф. Хайека.

Когда Хайеку было уже глубоко за восемьдесят, вышла в свет его последняя и, можно сказать, итоговая книга — «Пагубная самонадеянность: заблуждения социализма» (1988), задуманная как своего рода манифест современного либерализма[6]. В ней он, в частности, подробно останавливается на одном из характерных приемов, облюбованных его оппонентами-социалистами, — переиначивании и извращении смысла общеупотребительных понятий (этому посвящена специальная глава, которая так и называется — «Наш отравленный язык»). Подобной участи не избежал и термин, избранный Хайеком для обозначения своей политической философии, — либерализм: в США его «узурпировали» сторонники усиления государственного вмешательства в жизнь общества, по западноевропейским меркам вполне заслуживающие наименования «социалистов». Поэтому во избежание терминологических недоразумений следует помнить, что в важнейших отношениях «классический», «старомодный», «европейский» либерализм Ф. Хайека являет собой прямую противоположность прогрессистскому (и, так сказать, «незаконнорожденному») американскому либерализму Ф. Рузвельта или Дж. К. Гэлбрейта.

Представление о своеобразном стиле мышления Ф. Хайека можно составить по его автобиографическому эссе «Два склада ума», где он выделяет мыслителей двух типов — «мастера-знатока своего предмета» (master of subject) и «головоломщика» (puzzler)[7].

6 *Хайек Ф.А.* Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992.

7 *Hayek F.A.* Two types of mind // New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas… P. 50–56.

«Мастер» плодовит и способен удерживать в памяти великое множество фактов, он прекрасный систематизатор и интерпретатор чужих идей, красноречивый оратор, превосходный популяризатор, удачливый педагог. «Головоломщик» более сосредоточен и не столь блестящ, разработки других ученых не обогащают запас его знаний, а скорее перестраивают систему его видения, его мышление носит по преимуществу невербальный характер и подчас ему с трудом дается выражение собственных теорий, нередко он к своему удивлению обнаруживает, что отдельные выдвинутые им идеи вытекают по существу из некоего общего взгляда на мир[8]. Образ «головоломщика», как должно быть понятно, представляет собой своеобразный автопортрет Ф. Хайека.

В 1970-е годы Хайеку довелось стать свидетелем крушения кейнсианской модели государственного регулирования, в 1980-е — распада системы централизованного планирования, но ни то, ни другое не было для него неожиданностью. На его глазах произошли коренные изменения в интеллектуальном климате, когда ценности классического либерализма — личная независимость и добровольное сотрудничество, индивидуальная собственность и рынок, правовое государство и ограниченное правительство — обрели как бы второе дыхание.

Скончался Ф. Хайек в 1992 году, успев стать свидетелем падения Берлинской стены и краха «реального социализма».

2

«Тяжба» Хайека с социалистами имеет давнюю историю, и началась она не с «Дороги к рабству». Еще в 1930-е годы он обратился к анализу экономических основ социализма, приняв участие в знаменитой теоретической дискуссии о возможностях системы централизованного планирования. Впоследствии он много раз возвращался к сравнительному анализу рыночных структур и структур, сознательно организованных и централизованно управляемых, уточняя и углубляя свой подход.

Непосредственная тема «Дороги к рабству» — политические, нравственные и духовные последствия тоталитаризма. Собственно экономические его аспекты занимают Хайека в этой книге

8 Среди философов выразительными примерами «мастера» и «головоломщика» Хайек считает соответственно Б. Рассела и Д. Уайтхеда, а среди экономистов — Е. Бем-Баверка и Ф. Визера.

несколько меньше, и потому на них, пожалуй, следует остановиться особо.

В какой-то мере взяться за «Дорогу к рабству» Хайека побудили соображения практического порядка. Известно, что в периоды войн, когда государство вынуждено брать на себя многие хозяйственные функции, популярность идей планирования неизменно возрастает. В самом деле: если государство способно справляться с военными задачами, то отчего бы не наделить его еще большими полномочиями для решения проблем мирного времени? Подобный поворот событий Хайек наблюдал еще в Веймарской Германии и именно его он стремился предотвратить, публикуя «Дорогу к рабству». И его книга, по-видимому, действительно сыграла определенную роль в том, что послевоенная волна национализации, прокатившаяся по странам Запада, оказалась все же не слишком масштабной.

Какое-то время многие западные интеллектуалы левого толка были убеждены в существовании антагонизма между свободой и материальным благосостоянием. Как предполагалось, ограничение свободы в рамках системы централизованного планирования — это та жертва, которую приносит социализм ради достижения несравненно более важной цели — обеспечения достойной жизни основной массы народа. Хайек показал несостоятельность подобных представлений: свобода и благосостояние общества не противоречат, а, напротив, необходимо предполагают друг друга. Конечный его вывод однозначен: вопреки обещаниям безграничного материального изобилия централизованная система несостоятельна прежде всего экономически. Другими словами, тоталитаризм чреват не только моральной деградацией общества, но и неминуемым провалом в сфере экономики, означающим катастрофическое падение уровня жизни людей: «Спор о рыночном порядке и социализме есть спор о выживании — ни больше, ни меньше. Следование социалистической морали привело бы к уничтожению большей части современного человечества и обнищанию основной массы оставшегося»[9].

Своеобразие хайековского подхода состоит в том, что он сравнивает альтернативные социально-экономические системы с точки зрения их эпистемологических, «знаньевых» возможностей. Хайек выделяет два основных типа систем, или «порядков», если придерживаться его собственной терминологии. «Сознательные

9 *Хайек Ф.А.* Пагубная самонадеянность… С. 18.

порядки» рождены разумом человека и функционируют по заранее выработанным планам, они направлены на достижение ясно различимых целей и строятся на основе конкретных команд-приказов. «Спонтанные порядки» складываются в ходе органического эволюционного процесса, они не воплощают чьего-то замысла и не контролируются из единого центра, координация в них достигается не за счет подчинения некоей общей цели, а за счет соблюдения универсальных правил поведения. Так, к сознательно управляемым системам относятся армии, правительственные учреждения, промышленные корпорации, к самоорганизующимся и саморегулирующимся структурам — язык, право, мораль, рынок. Последние, по известному выражению А. Фергюсона, можно назвать продуктом человеческого действия, но не человеческого разума.

Сложное переплетение многих спонтанных порядков представляет собой в этом смысле современная цивилизация. В поисках адекватного термина, выражающего ее уникальный характер, Хайек обращался к понятиям «великого общества» (А. Смит) и «открытого общества» (К. Поппер), а в своей последней книге ввел для ее обозначения новый термин — «расширенный порядок человеческого сотрудничества». Его ядро составляют социальные институты, моральные традиции и практики — суверенитет и автономия индивида, частная собственность и частное предпринимательство, политическая и интеллектуальная свобода, демократия и правление права, — спонтанно выработанные человечеством в ходе культурной эволюции, без какого бы то ни было предварительного плана. Моральные правила и традиции, лежащие в основе расширенного порядка, нельзя отнести ни к сознательным, ни к инстинктивным формам поведения человека. С одной стороны, они не служат достижению каких-либо конкретных, ясно осознаваемых целей, а с другой стороны, не обусловлены генетически. Они, по словам Хайека, лежат *между* инстинктом и разумом[10].

Ключевая для расширенного порядка проблема — это проблема координации знаний, рассредоточенных в обществе с развитым разделением труда среди бесчисленного множества индивидов. Разработка концепции рассеянного знания явилась крупнейшим научным достижением Ф. Хайека. В экономических процессах определяющая роль принадлежит личностным, неявным знаниям, специфической информации о местных условиях и особых обстоя-

10 Там же. С. 22.

тельствах. Такие знания воплощаются в разнообразных конкретных умениях, навыках и привычках, которыми их носитель пользуется, порой даже не сознавая этого. (Их первостепенное значение затемняет сциентистский предрассудок, сводящий любое знание исключительно к научному, т.е. теоретическому, артикулируемому знанию.)

Рынок в понимании Хайека представляет собой особое информационное устройство, механизм выявления, передачи и взаимосогласования знаний, рассеянных в обществе. Рынок обеспечивает, во-первых, лучшую их координацию и, во-вторых, более полное их использование. В этом — решающие эпистемологические преимущества децентрализованной рыночной системы по сравнению с централизованным плановым руководством. Как же они достигаются?

В условиях расширенного порядка индивид располагает защищаемой законом сферой частной жизни, в пределах которой он вправе самостоятельно принимать любые решения на свой собственный страх и риск, причем как положительные, так и отрицательные последствия его действий будут сказываться непосредственно на нем самом. Он поэтому заинтересован в учете всей доступной ему информации и может использовать свои конкретные личностные знания и способности в максимально полной мере.

Взаимосогласование разрозненных индивидуальных решений обеспечивается с помощью ценового механизма. Цены выступают как носители абстрактной информации об общем состоянии системы. Они подсказывают рыночным агентам, какие из доступных им технологий и ресурсов (включая их «человеческий капитал») имеют наибольшую относительную ценность, а значит, куда им следует направить усилия, чтобы добиться лучших результатов. Подобный синтез высокоабстрактной ценовой информации с предельно конкретной личностной информацией позволяет каждому человеку вписываться в общий порядок, координируя свои знания со знаниями людей, о существовании которых он чаще всего даже не подозревает. Рыночная конкуренция оказывается, таким образом, процедурой по выявлению, координированию и применению неявного личностного знания, рассеянного среди миллионов индивидуальных агентов.

Рынок способен интегрировать и перерабатывать объем информации, непосильный для системы централизованного планирования. И дело тут не просто в отсутствии технических возможностей (недостаточной мощности компьютеров и т.п.). Централизованное планирование сталкивается с непреодолимыми

эпистемологическими барьерами. Идея социализации экономики исходит из представления, что все имеющиеся в обществе знания можно собрать воедино, так что компетентным органам останется только выработать на этой основе оптимальные решения и спустить указания на места. Это, однако, иллюзия.

Первое, с чем им придется столкнуться, — фактор времени. Пока агент передаст информацию в центр, там произведут расчет и сообщат о принятых решениях, условия могут полностью измениться и информация обесценится. Часто не сознается, что постоянное приспособление к непрерывно меняющимся условиям необходимо не только для повышения, но и для поддержания уже достигнутого жизненного уровня. Централизованное планирование, органически не способное поспевать за непрерывно происходящими изменениями, обрекает общество на замедление экономического роста, а нередко и на абсолютное сокращение его благосостояния. Кроме того, в условиях централизованной системы агент обычно не заинтересован в том, чтобы посылать наверх полные и достоверные данные. Причем такая система не дает достаточных стимулов ни для выявления уже имеющейся, ни для генерирования новой информации (отсюда — фатальные провалы в области научно-технического прогресса). Не менее важно, что основную долю экономически значимой информации составляют неявные, личностные знания, в принципе не поддающиеся вербализации. Их не выразишь на языке формул и цифр, а значит, и не передашь в центр. Больше того: определенную часть своих знаний и способностей человек вообще не осознает и удостоверяется в их существовании, лишь попадая в незнакомую среду и реально приспосабливаясь к новым, непривычным для него условиям.

В рамках централизованного планирования огромная масса информации оказывается невостребованной, а координация поступающей — чрезвычайно неэффективной. Модель централизованной экономики, как предсказывали теоретики неоавстрийского направления, обречена на провал. В этом смогли убедиться десятки стран, где она была испробована и где она рано или поздно приводила к экономическому краху.

3

«Дорога к рабству» занимает особое место в истории изучения тоталитаризма, и не только потому, что она была одной из первых работ на эту тему. Правда, по условиям военного времени Хайек был вы-

нужден строить анализ преимущественно на германском материале, лишь изредка касаясь опыта СССР, союзника западных держав по антигитлеровской коалиции[11]. Но для размышлений Хайека это и не столь существенно, потому что «Дорога к рабству» не относится к жанру «разоблачительной литературы»: она не раскрывает никаких жгучих тайн, не рассматривает подробно механизмов завоевания власти, не прослеживает перипетий партийной борьбы и т.д. Исторические примеры призваны иллюстрировать и подтверждать общие положения хайековского анализа.

Хотя книга была рассчитана не на профессионального читателя, Хайек, как всегда, точен в выборе и использовании терминов. Ключевым понятиям — коллективизм и тоталитаризм — придается четкий однозначный смысл: под рубрику коллективизма подводятся любые теоретические системы, стремящиеся (в противоположность либерализму) организовать все общество во имя достижения некоей единой всеподавляющей цели и отказывающиеся признать защищенную законом сферу автономии индивида; под тоталитаризмом понимаются неизбежные практические результаты осуществления коллективистских проектов, чаще всего неожиданные и для самих их творцов.

Вообще «Дорога к рабству» выделяется из других исследований тоталитаризма, идеологически нагруженных и эмоционально насыщенных, своей аналитической тональностью. Й. Шумпетер очень точно выразил своеобразие хайековского подхода: «Это мужественная книга: ее отличительной особенностью от начала до конца остается искренность, презирающая камуфляж и обиняки. Кроме всего прочего, это вежливая книга, в которой противникам никогда не вменяется ничего, кроме интеллектуальных заблуждений»[12].

Действительно, спор с интеллектуалами-социалистами Хайек ведет на их же территории. Он не подозревает их в злых умыслах и недоброжелательности, не ставит под сомнение их искренность и благородство, признает возвышенность и величие проповедуемых ими идеалов. Но тем самым он лишает их возможности произвести свой излюбленный обходной маневр: объявить дискуссию

11 Ф. Хайек был хорошо знаком с советской практикой строительства социализма. Так, он был редактором книги «Экономическое планирование в Советской России» (1935) известного экономиста Бориса Бруцкуса, высланного из СССР на печально знаменитом «философском пароходе».

12 The Journal of Political Economy. 1946. Vol. 54. P. 269.

заведомо бессмысленной из-за несоотносимости ценностных установок ее участников. Как настойчиво подчеркивает Хайек, его спор с социалистами — это спор не о ценностях, а о фактах, не об идеалах, а о последствиях, вытекающих из попыток воплотить эти идеалы в жизнь. И именно рациональная дискуссия призвана решать, насколько избранные социалистами средства отвечают намеченным ими целям и насколько совместимы между собой ценности, составляющие их символ веры. Беспристрастный анализ, считает Хайек, приводит к заключению, что цели социализма недостижимы и программы его невыполнимы: социализм несостоятелен фактически и даже логически[13].

Здесь, по-видимому, уместно напомнить о нетождественности оппозиций тоталитаризм/либерализм и авторитаризм/демократия. В первом случае речь идет о пределах государственной власти, во втором — о ее источнике. Для либерала свобода — цель и высшая ценность (в этом суть политической философии либерализма), демократия же — одно из средств для ее достижения и сохранения. История знает примеры, когда власть, приобретаемая не в результате волеизъявления всего народа (например, при наличии избирательных прав у меньшинства населения), подчинялась тем не менее верховенству права и ограничивалась жесткими конституционными рамками. И, наоборот, неограниченная демократия вполне может принимать тоталитарные формы (хрестоматийный пример — приход Гитлера к власти демократическим путем). Поэтому, говоря в своей книге о «новом рабстве», Хайек, разумеется, понимает под ним не авторитарную систему правления, а тоталитарное устройство общества (хотя по большей части они оказываются тесно взаимосвязаны, точно так же, как демократический строй, характеризующийся свободной конкуренцией политических сил, обычно служит естественным спутником и необходимым элементом либерального порядка, основанного на свободе конкуренции в экономической сфере и в сфере идей).

«Дорога к рабству» задумывалась как предостережение левой интеллигенции и была обращена прежде всего к сторонникам социалистической идеи, как это ясно из посвящения — «социалистам всех партий». Первых читателей книги больше всего шокировало обнаружение фамильного сходства большевизма и социализма с фашизмом и национал-социализмом, хотя очень скоро такого

13 *Хайек Ф.А.* Пагубная самонадеянность… С. 17.

рода сближения стали общим местом в западной литературе. Однако не это было для Хайека главным.

Замысел книги раскрывает эпиграф из Юма: «Свобода, в чем бы она ни заключалась, теряется, как правило, постепенно». Образ дороги, присутствующий в заглавии, не случаен: Хайек показывает, куда, по его мнению, ведет дорога, вымощенная благими намерениями социалистов. Вступив на нее, почти невозможно остановиться на полпути: логика событий заставляет проделать его весь до конца, пока и общество, и отдельная личность не будут поглощены государством и не восторжествует тоталитарное рабство[14]. Поэтому для Хайека концепции конвергенции, «третьего пути» — абсурд и самообман, но не в том смысле, что невозможно никакое временное или случайное сочетание либеральных институтов с ростками тоталитаризма. Главное с его точки зрения — куда обращен общий вектор движения, и здесь вопрос стоит «или-или»: либо к свободному обществу, либо к тоталитарному строю.

Тоталитаризм, по Хайеку, подступает постепенно и незаметно; он оказывается непреднамеренным результатом самых возвышенных устремлений самых достойных людей. Погоня за дорогими нашему сердцу идеалами приводит к последствиям, в корне отличающимся от ожидавшихся, — таков лейтмотив «Дороги к рабству». Чтобы это произошло, нужно совсем немного: поставить себе целью организовать жизнь общества по единому плану и последовательно стремиться к реализации этой цели на практике. Стоит только встать на эту дорогу — остальное довершит неотвратимая логика событий. Вслед за заменой спонтанного рыночного порядка сознательным плановым руководством неминуемо начинают рушиться одна за другой все ценностные скрепы и опоры свободного общества — демократия, правозаконность, нравственность, личная независимость, свободомыслие, что равносильно гибели всей современной культуры и цивилизации[15].

Процесс разворачивается с неумолимой последовательностью: поскольку руководство по единому всеобъемлющему плану подразумевает, что государство вовлекается в решение необозри-

14 Буквальный перевод названия книги — «Дорога к крепостничеству» (serfdom). Оно было навеяно словами А. де Токвиля о «новой крепостной зависимости».

15 Должно быть понятно, что, говоря о плане, Хайек имеет в виду не просто систему экономических заданий, но любой глобальный замысел-проект сознательного переустройства всех сфер общества.

мого множества частных технических проблем, то очень скоро демократические процедуры оказываются неработоспособными. Реальная власть неизбежно начинает сосредоточиваться в руках узкой группы «экспертов». План устанавливает иерархию четко определенных целей, и концентрация власти выступает необходимым условием их достижения. Система централизованного управления, когда решения принимаются исходя из соображений выгодности в каждом отдельном случае, без оглядки на какие-либо общеобязательные стабильные принципы права, являет собой царство голой целесообразности. Твердые юридические правила и нормы сменяются конкретными предписаниями и инструкциями, верховенство права — верховенством политической власти, ограниченная форма правления — неограниченной. Точно так же несовместимо царство целесообразности с существованием каких бы то ни было абсолютных этических правил и норм: нравственным признается все, что служит достижению поставленных целей, независимо от того, к каким средствам и методам приходится для этого прибегать. Но так как органы власти физически не в состоянии издавать приказы по каждому ничтожному поводу, образующиеся пустоты заполняются квазипринципами квазиморали. «Квази» — потому что она предназначается для нижестоящих и ее когда угодно могут перекроить в соответствии с изменившимися условиями момента. План неявно содержит в себе всеобъемлющую систему предпочтений и приоритетов: он определяет, что лучше, а что хуже, что нужно, а что не нужно, кто полезен, а кто бесполезен. Устанавливая неравноценность различных людей и их потребностей, план, по сути, вводит дискриминацию, перечеркивающую формальное равенство всех перед законом: то, что по плану разрешено одним, оказывается запрещено другим. При отсутствии системы нравственных ограничений вступает в действие механизм «обратного отбора»: выживают и оказываются наверху «худшие», те, кто полностью свободен от ненужного бремени нравственных привычек и не колеблясь решается на самые грязные дела. Иллюзией оказывается надежда интеллектуалов, что контроль государства можно ограничить экономикой, сохранив в неприкосновенности сферу личных свобод. В условиях централизованного контроля за производством человек попадает в зависимость от государства при выборе средств для достижения своих личных целей: ведь именно оно в соответствии со своими приоритетами определяет, что и сколько производить, кому какие блага предоставлять. Сужается не только свобода потре-

бительского выбора, но и свобода выбора профессии, работы, места жительства. Это означает размывание и исчезновение защищенной законом сферы частной жизни, где человек был полновластным хозяином принимаемых решений. Единодушие, единомыслие и единообразие поведения облегчают достижение запланированных целей. Отсюда стремление государства установить контроль не только над вещами, но и над умами и душами людей. Общество насквозь политизируется: его членами признаются лишь те, кто разделяют установленные цели; любой человек и любое событие оцениваются по их нужности для общего дела. Несогласие с общепринятым мнением становится несогласием с государством, т.е. — политической акцией. Наука и искусство также ставятся на службу «социальному заказу». Все, что бесполезно — чистое искусство, абстрактная наука — отвергается; общественные дисциплины превращаются в фабрики «социальных мифов». Наступает смерть свободного слова, свободной мысли. Формируется новый человек — «человек единой всеобъемлющей организации», которому причастность к коллективу заменяет совесть. Происходят необратимые психологические изменения: достоинства, на которых держалось прежнее общество — независимость, самостоятельность, готовность идти на риск, способность отстаивать свои убеждения — отмирают, потому что человек привыкает обращаться за решением всех своих проблем к государству.

Процесс «пожирания» государственным Левиафаном общества и личности идет безостановочно, до своего естественного завершения — образования тоталитарного строя. В условиях либерально-рыночного порядка государству отводится роль арбитра, следящего за соблюдением «правил игры». Усилиями социалистов оно становится одним из непосредственных участников «игры». Но кончается все тем, что государство остается вообще единственным «игроком»: «В моральном плане социализм не может не подрывать основу всех этических норм, личной свободы и ответственности. В политическом плане он раньше или позже ведет к тоталитарному правлению. В экономическом плане он будет серьезно препятствовать росту благосостояния или даже вызывать обнищание»[16].

В хайековском описании стоит выделить два принципиальных момента. Первое: фундаментом всех прав и свобод личности оказывается свобода экономическая; с ее уничтожением рушится

16 *Hayek F.A.* Socialism and science... P. 304.

все здание цивилизации. Второе: утверждение тоталитаризма — неизбежный результат переноса на современное общество принципов, по которым живут автономные организации типа фабрики или армии, а кровавые приметы тоталитарных режимов прямо вытекают из возвышенного и, на первый взгляд, безобидного стремления переустроить жизнь общества в соответствии с некоей единой, рациональной, наперед заданной целью.

Итак: установление тоталитарного строя, подчеркивает Хайек, не входит в сознательные замыслы проектировщиков светлого будущего; это — непредумышленное, никем не предполагавшееся следствие их попыток сознательно управлять обществом по единому плану. В свое время А. Смит показал, как благодаря «невидимой руке» рынка индивиды, движимые частным интересом, могут способствовать достижению общего блага, что является непреднамеренным и непредусмотренным итогом их деятельности. На пути к тоталитаризму действует механизм, как бы выворачивающий наизнанку принцип «невидимой руки»: здесь стремление к общему благу приводит к ситуации, которую также никто не предвидел, но которая противоположна интересам отдельного человека.

4

Сам Хайек относил «Дорогу к рабству» к жанру политического памфлета и рассматривал работу над ней как короткий эпизод, как временное отступление от деятельности, которую считал для себя основной, — исследований в области чистой экономической теории. Он не мог предположить, что ее публикация так сильно повлияет на его жизнь и дальнейшую профессиональную карьеру. Однако в интеллектуальной атмосфере той эпохи, когда слово «планирование» воспринималось буквально как панацея от любых социальных бед, выход в свет «Дороги к рабству» произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Хайековские издатели не рассчитывали на коммерческий успех книги и в лучшем случае надеялись продать не более 1–2 тысяч экземпляров. Вопреки их ожиданиям она сразу же превратилась в бестселлер и была полностью раскуплена всего за месяц; спрос оказался настолько велик, что и в Великобритании, и в США в течение первого же года пришлось допечатать несколько дополнительных тиражей, которые также мгновенно разошлись. Но и это не все. Макс Истмен, известнейший публицист, бывший в свое время правоверным коммунистом, подготовил для журнала Reader's Digest

популярную версию «Дороги к рабству», изданную почти миллионным тиражом, а журнал Look решил даже выпустить по ее мотивам комикс! На волне этого успеха Хайека пригласили с лекционным турне в США, где ему нередко приходилось выступать перед тысячными аудиториями[17].

Почувствовав серьезную опасность сторонники левых взглядов — лейбористы в Великобритании, прогрессисты в США — развернули против Хайека настоящую кампанию травли. В ход пошел стандартный набор ярлыков: его клеймили как реакционера, ненавистника демократии, ставленника финансового капитала, противника социального прогресса и т.д. С позиций сегодняшнего дня враждебность, с которой «Дорога к рабству» была воспринята подавляющим большинством ведущих интеллектуалов Запада, кажется почти неправдоподобной. Высказанные Хайеком предостережения натолкнулись на глухую стену непонимания, поскольку явно шли вразрез с духом эпохи. О глубине их неприятия свидетельствуют даже не столько публичные оценки, которыми было встречено появление книги, сколько личные признания многих его современников, не предназначавшиеся для сторонних глаз.

В 1945 года И. Берлин в письме из Вашингтона, где он находился на дипломатической службе, сообщал, что «еще читает этого ужасающего доктора Хайека». Известный экономист Г. Минз признавался, что смог одолеть только первые пятьдесят страниц «Дороги к рабству» и что больше он переварить не в силах. А философ Р. Карнап в письме к другу Хайека К. Попперу недоумевал: «Я несколько озадачен вашим выражением признательности фон Хайеку. Сам я его книги не читал, хотя здесь в США ее много читают и обсуждают; но хвалят ее по большей части поклонники свободного предпринимательства и неограниченного рынка, тогда как все левые считают его реакционером».

Не приходится удивляться, что последствия неожиданно обрушившейся на Хайека славы оказались неоднозначными. С одной стороны, сам того не желая он превратился из типичного кабинетного исследователя в публичную фигуру — к нему начали прислушиваться политики и проявлять интерес пресса. С другой стороны, в академических кругах его стали воспринимать скорее как публи-

17 К этому можно добавить, что сначала в гитлеровской Германии, а позднее и в социалистических странах «Дорога к рабству» стала одной из первых «самиздатских» книг, нелегально распространявшихся в машинописных копиях.

циста, чем как «чистого» ученого. По словам самого Хайека, «Дорога к рабству» полностью дискредитировала его в профессиональном отношении и стала причиной последующей многолетней изоляции в научном мире.

Выразительным примером того, как резко аргументация Хайека диссонировала с коллективистской ортодоксией той эпохи и с каким трудом она доходила до сознания его современников, может служить реакция Дж. М. Кейнса. Этот случай представляет особый интерес не только потому, что в течение многих лет Кейнс выступал главным антагонистом Хайека (хотя личные отношения между ними всегда оставались вполне дружескими), но и потому, что он, по общему признанию, был человеком с чрезвычайно независимым и нестандартным мышлением, никогда не боявшимся идти против течения и даже находившим удовольствие в том, чтобы шокировать окружающих своими неожиданными и парадоксальными суждениями.

Кейнс прочитал «Дорогу к рабству» во время поездки на Бреттон-Вудскую конференцию и сразу же направил Хайеку подробное четырехстраничное письмо[18]. Начиналось оно так: «По моему мнению, это великолепная книга. Мы все должны быть благодарны вам, так хорошо сказавшему то, что так необходимо было сказать… В моральном и философском отношении я практически полностью согласен со всем, что в ней говорится; и не просто согласен, но и глубоко тронут ею».

Когда позднее содержание этого письма стало достоянием гласности, многочисленные поклонники Кейнса были неприятно удивлены. Однако Кейнс с первых же строк четко обозначает границы своей солидарности и ясно дает понять, что его высокая оценка относится только к моральным и философским аспектам «Дороги к рабству». Кейнс и Хайек остаются единомышленниками лишь до известного предела: хотя оба выражают готовность защищать одни и те же ценности, способы их защиты видятся им совершенно поразному. Ответы, которые они дают на критический вопрос, что же должно составлять экономическую и институциональную основу свободного общества, оказываются далеко неодинаковыми. Так, Кейнс остался глух к хайековским доводам о врожденной неэффективности командной экономики — в своем письме он высказывает

18 *Christiansen G.B.* What Keynes Really Said to Hayek About Planning // Challenge. 1993. Vol. 36. № 4. P. 50–53.

предположение, что с чисто экономической точки зрения плановая система скорее всего окажется эффективнее рыночной. Правда, он соглашается, что для этого, вероятно, пришлось бы пожертвовать свободой, и признается, что лично ему подобная жертва кажется неприемлемой.

Хорошо известно, что Кейнс не был социалистом: сам он предпочитал , чтобы в нем видели «реалиста», продолжающего и развивающего традиции классического либерализма. Хотя он и выступал за резкое расширение экономических функций государства, для него это было всего лишь практическим способом, как можно спасти индивидуализм и избежать полного разрушения рыночной системы. Следуя этим путем, полагал Кейнс, совсем необязательно жертвовать свободой: «Я должен сказать, — обращается он к Хайеку, — что нам нужно не полное отсутствие планирования и даже не меньше планирования; на самом деле нам почти наверняка нужно больше планирования. Но это планирование должно проводиться в обществе, где возможно большее число людей — как лидеров, так и тех, кто за ними следует — полностью разделяли бы ваши моральные убеждения».

В этом пассаже с предельной отчетливостью проступает разница в исходных социально-философских установках Кейнса и Хайека. Если для Кейнса главное, чтобы обществом руководили «хорошие люди», то для Хайека — чтобы оно регулировалось «хорошими институтами». Выбирая между «дискрецией» и «правилами», Кейнс делает ставку на первое, тогда как Хайек — на второе[19]. Кейнс был вполне искренне убежден, что пока власть находится в руках достойных людей, обладающих высокими моральными качествами, никакая проводимая ими политика (включая всеобъемлющее экономическое планирование) не сможет подорвать основ свободного общества — даже если в руках людей, лишенных морали, такая политика была бы чревата самыми катастрофическими последствиями[20]. Убежденность Кейнса заставляет усомниться, так ли уж внимательно он прочитал главу X «Дороги к рабству» («Почему к власти приходят худшие»), где Хайек подробно разъясняет,

19 Впервые дилемма «дискреция или правила» была сформулирована известным американским экономистом Г. Саймонсом применительно к принципам денежной политики.

20 Любопытно при этом отметить, что самого себя Кейнс характеризовал как «неисправимого имморалиста».

почему в условиях системы централизованного планирования люди, отличающиеся высокими моральными качествами, неизбежно будут проигрывать и уступать место людям, полностью свободным от каких-либо нравственных ограничений. И правда: трудно поверить, что при «плохих» институтах власть может удержаться в руках «хороших» людей.

Но свой главный упрек Кейнс высказывает в конце письма: «Я подхожу, наконец, к тому, что считаю единственным серьезным критическим замечанием по поводу вашей книги. То здесь, то там вы признаете, что суть проблемы заключается в знании границы [между допустимым и недопустимым вмешательством государства]. Вы соглашаетесь с тем, что такая граница должна где-то проходить… Но вы не даете нам никакого руководства, где же все-таки ее следует проводить. Если вы признаете, что никакие крайние варианты невозможны и что такая граница должна существовать, то исходя из вашей же собственной логики вам бы следовало ее указать».

Отчасти это упрек справедлив, но лишь отчасти. Книга Хайека с самого начала задумывалась как полемическая, как своеобразная попытка деконструкции социалистического проекта и позитивная программа либеральной политики набросана в ней лишь эскизно. И все же нельзя сказать, что в «Дороге к рабству» контуры такой программы полностью отсутствуют.

Отправным пунктом в ее разработке можно считать хайековскую критику принципа *laissez-faire*, который традиционно считался ключевым пунктом либерального кредо. К сожалению, сводя все к вопросу о масштабах государственного вмешательства, этот принцип, по оценке Хайека, нередко приносил больше вреда, чем пользы: «Наверное, ничто так не повредило либерализму, как настойчивость некоторых его приверженцев, твердолобо защищавших какие-нибудь эмпирические правила, прежде всего *laissez-faire*»[21]. Выдвигая его на первый план, сторонники либерализма как бы изначально отдавали инициативу в руки своих противников, оставляя самим себе только возможность обороняться. Еще более существенно, что этот принцип говорил почти исключительно о том, почему государство не должно вмешиваться, но он мало что говорил о том, когда и как оно должно действовать: «Вопрос, должно ли государство «действовать» или «вмешиваться», представляется бессмы-

21 С. 44 наст. изд.

сленным, а термин «laissez-faire», как мне кажется, вводит в заблуждение, создавая неверное представление о принципах либеральной политики… Когда государство контролирует соблюдение стандартов мер и весов (или предотвращает мошенничество каким-то другим путем), оно, несомненно, действует. Когда же оно допускает насилие, например, со стороны забастовочных пикетов, оно бездействует. В первом случае оно соблюдает либеральные принципы, во втором — нет»[22].

По Хайеку, действительно фундаментальным следует считать вопрос не о пределах, а о характере деятельности государства. Вот почему вместо лозунга *laissez-faire* он предлагал строить либеральную программу вокруг другого, гораздо более широкого и общезначимого принципа — принципа «правления права» (the rule of law)[23]. Правление права — не свод законов, а мета-правовая концепция, по позднейшему определению Хайека. Высшей инстанцией в ней провозглашается право как таковое, а его требования признаются обязательными для всех членов общества и социальных институтов, включая и органы политической власти. Этот принцип предполагает, что в обществе должны действовать универсальные долговременные «правила игры», исключающие любые формы дискриминации (как негативной, так и позитивной) и сводящие к минимуму зону произвольных действий государства: он «…ограничивает возможности правительства, не дает ему произвольно вмешиваться в действия индивидов, сводя на нет их усилия. Зная правила игры, индивид свободен в осуществлении своих личных целей и может быть уверен, что власти не будут ему в этом мешать»[24]. По существу принцип правления права очерчивает границы сферы частной жизни (domain of privacy), защищенной от вторжений как государства, так и других индивидов. В ее пределах каждый человек может принимать решения полностью по своему усмотрению и свободно экспериментировать с различными жизненными стилями.

Конечно, вопросы о характере и о масштабах деятельности государства тесно взаимосвязаны. Нетрудно убедиться, что кон-

22 С. 98 наст. изд.

23 В настоящем издании в качестве русского эквивалента этого английского словосочетания используется термин «правозаконность». Другие возможные и часто встречающиеся варианты — «верховенство права» и «правовое государство».

24 С. 92 наст. изд.

цепция правления права накладывает весьма жесткие ограничения на возможности государственного активизма и таким образом дает достаточно четкий ответ на вопрос Кейнса о допустимых и недопустимых (с последовательно либеральной точки зрения) формах «планирования». Она требует, чтобы государство всегда и во всех случаях действовало «беспристрастно», т.е. не предоставляло никаких привилегий каким-либо группам, отраслям или регионам за счет других групп, отраслей или регионов. Отсюда — ее врожденная несовместимость с идеей централизованного планирования. Ведь для выполнения «плановых заданий» необходимо, чтобы государство изымало ресурсы у одних и наделяло ими других; чтобы оно предписывало одним делать то, что запрещено делать другим; чтобы одни получали от него поощрения за то же, за что подвергались бы санкциям другие. Разница принципиальна: если плановая система ориентирована на достижение конкретных, заранее определенных целей, то система правления права — на соблюдение абстрактных «правил игры», в рамках которых сами индивиды имеют возможность выбирать и цели, и средства для их достижения.

Впрочем, как показывает Хайек, идеал правления права не сочетается не только с собственно тоталитарными проектами переустройства общества. Он исключает также любые формы так называемой «промышленной» политики, смысл которой сводится к селективной поддержке государством тех или иных «избранных» отраслей, регионов или видов бизнеса. Не находится в нем места и для огромного множества частных интервенционистских мер, будь то субсидирование фермеров или установление квот во внешней торговле, учреждение государственных монополий или дифференцированные ставки налогообложения, к которым так охотно прибегают правительства едва ли не всех стран мира.

Дальнейшей разработке позитивной программы свободного общества (возможно, не без влияния замечаний, высказанных Кейнсом) посвящены главные труды Хайека позднего периода — «Основной закон свободы» и «Право, законодательство и свобода». И все же значение первой попытки, предпринятой им в «Дороге к рабству», трудно переоценить. Переориентация — от принципа *laissez-faire* к принципу правления права — позволила освободить либеральную доктрину от налета узкого экономизма, вписать ее в гораздо более широкий исторический, социальный и культурный контекст и придать ей остро современное звучание.

5

Хайек был последовательным противником историцизма — представления о том, что история человечества жестко запрограммирована на прохождение через строго определенную последовательность эпох, или стадий развития[25]. В «Дороге к рабству» он не раз возвращается к мысли, что никакой «железной поступи истории» не существует и что сама идея исторической необходимости несостоятельна, в какие бы теоретические одежды она ни рядилась.

Каково же было удивление Хайека, когда многие критики начали приписывать ему как раз то, против чего он выступал, — веру в существование неотвратимых законов истории, которым подчинено развитие человеческого общества. Из «Дороги к рабству» был вычитан тезис, получивший позднее даже специальное обозначение: the inevitability thesis — «тезис о неизбежности». Из хайековских рассуждений будто бы следовало, что при малейшем отклонении от системы свободного предпринимательства ситуация должна становиться абсолютно безвыходной: общество начнет неудержимо катиться по наклонной плоскости, пока в конце концов не придет к запрограммированному тоталитарному финалу. Естественно, опровергнуть этот тезис не составляло большого труда — для этого было достаточно сослаться на пример тех стран, где растущее вмешательство государства в экономику не сопровождалось возникновением тоталитарных режимов, наподобие гитлеровского или сталинского. Отсюда делался вывод, что аргументация Хайека в принципе несостоятельна и все, что он говорил в «Дороге к рабству», можно не принимать всерьез.

Протесты Хайека — что его книга не пророчество, а предостережение, что дорога к тоталитарному обществу становится неотвратимой только в том случае, если мы сами мыслим тоталитарно, что смысл «Дороги к рабству» вовсе не в том, что вступив однажды на путь, ведущий к тоталитаризму, уже невозможно с него сойти, а в том, что чем дальше мы по нему заходим, тем труднее вернутся назад, — оставались не услышанными. Мнение, что хайековские доводы о связи экономической и политической свободы противоречат очевидным фактам и потому могут рассматриваться только как курьез, сделалось общим местом, которое на протяжении десятилетий некритически воспроизводилось в сотнях монографий, статей и даже учебников.

25 Одним из самых откровенных историцистов был, как известно, Карл Маркс.

Попытки Хайека помешать распространению этой ложной интерпретации не имели особого успеха. Почему так происходило, становится понятно на примере его переписки с П. Самуэльсоном, виднейшим представителем неокейнсианства, одним из первых лауреатов Нобелевской премии по экономике и автором самого популярного в мире учебника по экономической теории. В своей «Экономике» Самуэльсон несколько раз возвращался к обсуждению «тезиса о неизбежности», чтобы в самом конце продемонстрировать его очевидную несостоятельность[26]. Убеждать в этом призван был график с индексом «политической свободы» по одной оси и индексом «экономической свободы» по другой, точки на котором представляли различные страны в разные периоды их истории. Нечего и говорить, что Хайек счел бы абсурдной саму идею количественного измерения свободы. Но странностей в конструкции Самуэльсона хватало и без этого: никаких пояснений, как конкретно производились замеры политической и экономической свобод, в «Экономике» не предлагалось; из представленных в ней оценок следовало, что в гитлеровской Германии экономической свободы было примерно столько же, сколько в США образца 1953 года или Великобритании образца 1980 года, и гораздо больше, чем в Великобритании образца 1948 года или Швеции образца 1980 года; но что самое поразительное — страны с плановой экономикой вообще игнорировались, как если бы их и не существовало! При взгляде на построенный таким образом график у читателя неизбежно возникало впечатление, что если между политической и экономической свободой и существует какая-то связь, то скорее отрицательная, чем положительная: чем больше одной, тем меньше другой, и наоборот. А, значит, хайековскую аргументацию можно было смело считать «фактически» опровергнутой.

В начале 1980-х годов, полагая, что именно «Экономика» Самуэльсона послужила главным источником искаженных представлений о «Дороге к рабству» (что, конечно же, было преувеличением), Хайек направил ему раздраженное письмо. Он писал:

> Дорогой профессор Самуэльсон,
> боюсь, что проглядывая 11-е издание вашей «Экономики» я, как мне кажется, обнаружил источник голословного утверждения о моей книге «Дорога к рабству», с которым я

26 *Samuelson P.A.* Economics / Eleventh edition. N.Y.: McGraw-Hill Book Company, 1980.

постоянно сталкиваюсь, которое вызывает у меня возмущение и которое я могу рассматривать только как злонамеренное искажение, с помощью и удалось которого во многом дискредитировать мою аргументацию. На стр. 813 и затем 827 вы заявляете, будто я утверждаю, что «любой шаг от рыночной системы в сторону социальных реформ в рамках государства благосостояния *неизбежно* [sic] толкает нас на путь, который должен закончиться созданием тоталитарного государства» и что «всякая государственная модификации рынка laissez-faire *неизбежно* должна вести к политическому рабству». Для меня непостижимо, как добросовестный читатель моей книги может заявлять это, когда с первого же ее издания, буквально в самом начале, я говорю: «Не настаиваю я и на неизбежности того или иного пути. (Если бы дело обстояло так фатально, не было бы смысла все это писать.) Я утверждаю, что можно обуздать определенные тенденции, если вовремя дать людям понять, на что реально направлены их усилия», а двумя страницами раньше поясняю: «Но хотя нам предстоит еще долгий путь, надо отдавать себе отчет, что с каждым шагом будет все труднее возвращаться назад». Полагаю, заглянув в мою книгу еще раз, вы должны будете признать, что ваше заявление абсолютно безосновательно и что оно, вероятно, стало главной причиной того предубеждения, которое помешало многим принимать мои доводы всерьез. Боюсь, я не в состоянии относиться к этому спокойно. Создав этот миф, вы нанесли такой большой ущерб развитию общественной мысли, что я вынужден настаивать на вашем публичном отказе от своих слов и публичном извинении в такой форме, при которой оно оказалось бы соразмерно масштабам распространения вашей книги.
Искренне ваш, Ф. А. Хайек.

В ответ Самуэльсон направил чрезвычайно любезное письмо, где выражал готовность внести необходимые поправки и заверял Хайека в своем неизменном и глубоком уважении: «Я сожалею, что в своем кратком обсуждении в «Экономике» мне не удалось должным образом передать ваши взгляды, изложенные в «Дороге к рабству». Я с восхищением отношусь к вам как экономисту, социальному философу, ученому с широкой эрудицией и просто как

к личности. Когда вскоре я приступлю к подготовке 12-го издания своего учебника, я обязательно перечитаю «Дорогу к рабству» с вашим письмом в руках. И я постараюсь сделать все, что в моих силах, и так переработать все относящиеся к ней комментарии, чтобы они правильно отражали смысл того, что вы собирались сказать. Предыдущая фраза представляет то, что можно считать моим стандартным ответом любому автору, жалующемуся, что я неточно отразил его мысли. Но поскольку вдобавок за долгие годы я столь многое почерпнул из ваших работ, я приложу особые усилия к тому, чтобы наилучшим образом изложить ваш тезис».

Заканчивалось письмо Самуэльсона следующим признанием: «Мне приятно сознавать, что хайековский мессидж получает все более широкое признание в профессиональном сообществе экономистов. И хотя Моисею не было дано вступить в землю обетованную, я надеюсь, что в наступившие 1980-е годы Фридрих Хайек может не без некоторого удовлетворения признать, что ему удалось избежать участи, постигшей Кассандру, — ясно видеть и понимать, что мир не услышал обращенных к нему предостережений».

Поучителен финал этой истории. При следующем переиздании «Экономики» Самуэльсон убрал из основного текста прямые ссылки на «тезис о неизбежности», хотя и оставил упоминание о нем в пояснениях к своему графику[27]. Сам график также претерпел изменения — на нем появились точки, представляющие ГДР и СССР. Правда, странностей от этого стало не намного меньше — по Самуэльсону получалось, что с точки зрения экономической свободы ФРГ середины 1980-х годов была ближе к гитлеровской Германии, чем к современным США; что в дореволюционной России экономика была гораздо менее свободной, чем при нацистском режиме в Германии или при коммунистических режимах в ГДР и СССР в 1985 году; и т.д. И все же теперь график наводил на несколько иную мысль — что никакой связи между политической и экономической свободой просто не существует. Отсутствие такой связи, по мнению Самуэльсона, должно вселять оптимизм: «…наше прочтение истории, — заключал он, — является более осторожным, но и более оптимистичным, чем хайековское. Нет сомнений, что тоталитарные режимы способны подавлять как экономическую, так и политическую свободу. Но современная демократия, действующая с осмо-

27 *Samuelson P.A., Nordhaus W.D.* Economics / Twelfth edition. N.Y.: McGraw-Hill Book Company, 1985.

трительностью и разумно применяющая накопленный опыт, может взять лучшее из обоих миров. Ей под силу исправить худшие недостатки рыночной экономики. И в то же время она может сохранить все то лучшее, что никогда не измерить никаким ВВП: свободу слова, свободу меняться и свободу строить жизнь по своему собственному выбору»[28].

Остается добавить, что из всех последующих переизданий «Экономики» упоминания о хайековской «Дороге к рабству» вообще исчезли…

6

По признанию Ф. Хайека, он долго ждал, но так и не дождался от социалистов рационального ответа на свои аргументы. На Западе гипноз идеи централизованного планирования рассеялся уже к концу 1940-х годов, хотя для ее окончательного ниспровержения понадобилось несколько десятилетий опыта «реального социализма». Отсюда, однако, не следует, что предостережения Хайека утратили силу.

Дело в том, что когда он писал «Дорогу к рабству», идея социализма связывалась с вполне определенной программой действий — обобществлением средств производства и централизованным управлением ими. В послевоенный период этот «горячий», по терминологии Хайека, социализм начал постепенно вытесняться «холодным» социализмом — «мешаниной из взаимопротиворечивых и во многом непоследовательных идеалов... под маркой „государства всеобщего благосостояния“»[29]. Здесь уже речь идет не о социализации экономики, а об установлении «справедливого» распределения доходов с помощью налоговых рычагов и разного рода социальных программ, организуемых и финансируемых государством. Иными словами, под некую идеальную схему подводится не процесс производства (как в первоначальном социалистическом проекте), а структура распределения. Распространена точка зрения (собственно ее и выражал в своем учебнике П. Самуэльсон), что социализм шведского образца с развитыми институтами «государства благосостояния» опроверг тезис Хайека о государственном интервенционизме как пути соскальзывания к тоталитарному строю. Однако, как был убежден Хайек, отказ от планомерной всеобъемлющей ломки всего общественного устройства в пользу постепенного

28 Ibid. P. 779.

29 С. 16 наст. изд.

и бессистемного разрастания государственного регулирования хоть и делает движение к тоталитаризму более медленным и окольным, но не отменяет его.

В своих позднейших работах Хайек уделяет много места полемике с идеологией «государства благосостояния». С его точки зрения, намеченная цель — достижение справедливой структуры распределения благ — сама по себе иллюзорна. В рамках рыночного порядка понятие социальной, или распределительной, справедливости в принципе лишено смысла. Оно наполняется реальным содержанием только в условиях централизованной экономики, где некий орган определяет долю совокупных благ, причитающуюся каждому члену общества, так что погоня за миражом «социальной справедливости» как раз и может привести к постепенному формированию подобной системы. Сочетание «государства благосостояния» с господством неограниченной демократии, предупреждал Хайек, резко повышает опасность постепенного «вползания» в тоталитарное общество.

В случае «холодного» социализма государство указывает производителям не столько на то, что им следует делать (как при централизованном планировании), сколько на то, чего им делать нельзя. Но эти указания могут воплощаться в такую плотную сеть административных регламентаций и монопольных структур, что созидательные силы рыночного порядка окажутся парализованы.

Но главное даже не в этом: чтобы добиться желательной структуры распределения, государство должно прибегать к контролю за ценами и доходами, устанавливать налоговые послабления и финансировать программы социальной помощи, направленные на поддержание или повышение уровня благосостояния определенных групп. Но вслед за этим оно начинает испытывать давление, исходящее от других групп, стремящихся к получению аналогичных преимуществ; стоит только освободить от налогов предпринимателей одной отрасли, того же потребуют для себя предприниматели смежных отраслей; стоит только выделить помощь одному региону, на то же станут претендовать соседние регионы и т.д.

Инерция безостановочного разрастания «государства благосостояния» настолько велика, что с определенного момента рыночный порядок может перерождаться в промежуточную структуру, именуемую Хайеком «корпоративной», или «синдикалистской», системой. Раздираемая изнутри бесконечными распределительными конфликтами, она предстает в отличие от рыночной экономики

не как игра с положительной, а как игра с нулевой суммой. Государство здесь уже достаточно властно, чтобы подавлять свободу отдельного человека, но недостаточно могущественно, чтобы противостоять давлению сплоченных групп, объединенных отраслевыми, профессиональными или политическими интересами. Это как бы непрекращающаяся гражданская война, пусть и ведущаяся (пока) мирными средствами. По достижении такого состояния, как показано в «Дороге к рабству», движение в сторону тоталитарного общества становится практически неудержимым. И рыночный порядок, и тоталитарный строй представляют собой относительно устойчивые образования; в отличие от них корпоративная система — образование крайне нестабильное и неупорядоченное. Она не способна просуществовать сколько-нибудь долго, и переход от нее к тоталитарному строю в первое время ощущается большинством населения как явное благо. Интересно отметить, что, по мнению некоторых новейших историков, в Веймарской республике был осуществлен один из самых ранних опытов по созданию «государства благосостояния» (задолго до того, как появился сам термин) и именно это сделало ее практически неуправляемой[30]. Система неограниченной демократии имеет тенденцию превращаться в арену торга привилегиями и перераспределительными программами между организованными группами со специальными интересами и политиками, борющимися за привлечение голосов избирателей.

Доходы многих групп начинают отныне определяться не рынком, а ходом политического процесса. Каждая группа настаивает, чтобы ее вознаграждение соответствовало тому, чего она, по ее собственному мнению, «заслуживает», — т.е. чтобы оно не расходилось с ее представлением о «справедливом» доходе: «Всемогущая демократия фактически неизбежно ведет к своего рода социализму, но к социализму, которого никто не хочет... не оценка заслуг отдельных лиц или групп большинством [потребителей на рынке], но мощь этих лиц или групп, направленная на выбивание из правительства особых преимуществ, — вот что определяет теперь распределение доходов»[31]. Неспособность правительства в условиях не-

30 К этому стоит добавить, что многие трудности, с которыми пришлось столкнуться бывшим социалистическим странам при переходе к рынку, были напрямую связаны с тем, что к моменту крушения плановой системы в них, по удачному выражению Я. Корнаи, было сформировано «преждевременное зрелое государство благосостояния» (premature welfare state).

31 *Hayek F.A.* Socialism and science... P. 307.

ограниченной демократии противостоять требованиям организованных групп в конечном счете делает общество неуправляемым: «...никакое жизнеспособное общество не в состоянии вознаграждать каждого в соответствии с его собственной самооценкой. Общество, в котором все выступают как члены организованных групп с целью понуждать правительство оказывать им поддержку в получении того, что им хочется, саморазрушительно»[32].

В то же время Хайек специально подчеркивал, что его предостережения не следует понимать как призыв к отказу от любых возможных новаций и экспериментов в социальной сфере. Легко убедиться, что практические предложения, выдвинутые им в «Дороге к рабству», перекликаются со некоторыми программами, которые принято объединять под рубрикой «государства благосостояния». И хотя позднее сам Хайек расценивал часть своих предложений как неоправданную уступку господствующим представлениям и признавался, что в тот период еще не полностью избавился от многих интервенционистских предрассудков, он тем не менее никогда не отрицал, что отдельные реформы в рамках «государства благосостояния» имеют достойные цели и могут быть успешно осуществлены на практике[33]. И в этом не было непоследовательности или измены принципам: в конце концов Хайек всегда настаивал на том, что рыночная система способна успешно функционировать только при наличии адекватной институциональной рамки.

Вместе с тем он в отличие от многих ясно видел, что за лозунгами «государства благосостояния» скрывается множество элементов прежнего социалистического наследия, несовместимых с сохранением свободного общества (таких, например, как требование добиться строго определенной структуры распределения доходов в соответствии с некими мифическим критериями «социальной справедливости»). Поэтому, предупреждал Хайек, мы должны быть крайне осторожны при выборе как целей, так и средств, чтобы не соблазниться коллективистскими рецептами, сулящими быстрый и легкий успех, и не загнать себя в ситуацию, из которой потом будет почти невозможно выбраться.

Особое внимание Хайек обращал на неизбежные сдвиги в психологии людей, когда они приучаются пользоваться патерналистскими благодеяниями, которыми оделяет их государство. Он

32 Ibid.

33 С. 16–17 наст. изд.

опасался, что новые поколения, воспитанные на идеалах «государства благосостояния», утратят понимание смысла и значения рыночных институтов и начнут рассматривать их как помеху, которую необходимо устранить. И тогда привычка к зависимости от государства, утрата предпринимательского духа, ослабление личной инициативы и ответственности в какой-то момент могут подтолкнуть к настолько кардинальным изменениям политической системы, что «холодный» социализм станет мало отличим от «горячего».

В отличие от оценки системы централизованного планирования, предостережения Хайека по поводу роста «государства благосостояния» долгое время не принимались всерьез. Развитие социальной инфраструктуры рассматривалось как очевидное и безусловное благо. Лишь в 1980-е годы последствия ее непомерного разрастания были наконец осознаны. Судя по множащимся проектам приватизации «государства благосостояния», он, похоже, и в данном случае оказался дальновиднее своих прогрессистских критиков.

Как уже говорилось, основной тезис «Дороги к рабству» нередко понимался в том смысле, что достаточно любого незначительного вмешательства государства в жизнь общества, чтобы перспектива установления тоталитарного режима стала неизбежной. Но Хайек хотел сказать своей книгой вовсе не это. Английская пословица, которую он любил приводить, гласит: «Кто не совершенствует своих принципов, тот попадает в лапы к дьяволу». Движение к тоталитаризму оказывается неотвратимым, когда условия существования либерально-рыночного порядка слепо принимаются как данность и игнорируются лежащие в его основе исходные принципы, постоянно нуждающиеся в осмыслении, защите и дальнейшем развитии. По Хайеку, нельзя противостоять тоталитаризму, пребывая на одном и том же месте: для этого необходимо двигаться вперед — к свободе.

Ростислав Капелюшников

Указатель

Австрия, 9, 33, 145; социализм в Австрии, 48, 124
автострады, 73–74
Актон, лорд, 13, 40, 88, 141, 180, 210
альтруизм, 78, 203, 214
антикапитализм, 138, 145, 168, 169
антисемитизм в Германии, 148, 181–182. *См. также* евреи

Балилла, 124
Батлер, Р. Д., The Roots of National Socialism («Корни национал-социализма»), 167, 173 примеч.
Бебель, Август, 168 примеч.
безработица, 95, 111 примеч., 118, 131, 136–137, 194, 199–201
Бекер, Карл Л., 160 примеч.
Беллок, Хилер, 41 примеч.
Бенда, Жюльен, 187–188
Бернэм, Джеймс, 115 примеч.
билль о правах, 100
Бисмарк, Отто фон, 168 примеч., 173, 176, 180
благосостояние (индивидуальное и «общественное»), 45, 51, 61, 71, 76, 95–96, 101, 110, 118, 121, 130, 200, 202, 206, 212, 217–218. *См. также* потенциальное изобилие
Брайт, Джон, 41
Брэди, Р. А., 187 примеч.
Брюнинг, Генрих, 86
буржуазия, 42 примеч., 163, 168, 173–174
Буркхардт, Якоб, 149

Вильсон (Уилсон), Вудро, 184
власть, 18, 20, 223–24, 50–51 примеч., 80, 84–89, 90–92, 95–100, 103–110, 115–116, 118, 119–120, 139, 141–155, 156–166, 187 примеч., 188, 191, 206, 210, 212, 214, 216–219–225
вмешательство государственное, 59–60, 86, 97
Возрождение *см.* Ренессанс
война, военное время, 9, 11, 14, 20, 24, 32–36, 39, 42, 139, 148, 153, 168–174, 177–178, 182, 184–186, 190, 195, 199, 200, 214, 220, 224–225, 227
Войт, Ф. А., 52
Вольтер, 98
Временный национальный комитет по вопросам экономики, Concentration of Economic Power («Концентрация экономической мощи»), 66
всемирный парламент, 214 примеч.

ганзейские города, 153
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, 47, 183, 185, 231
Гейдрих, Рейнхард, 141
Геринг, Герман, 173
Германия, 11–12, 14–15, 32–33, 36–37, 47–48, 53–54,67–69, 73–74, 80, 86, 124, 126, 135–136, 138–139, 141, 144, 145, 153, 163, 167–195, 209, 213; правозаконность в Германии, 9, 90 примеч., 95, 98–100; социализм в Германии, 47–48, 168–175; антисемитизм в Германии, 148, 181–182
гестапо, 155
Гёте, Иоган Вольфганг, 36
Гиммлер, Генрих, 141
Гитлер, Адольф, 9, 11, 54, 86, 96, 98, 172, 178, 181, 182 примеч., 185, 204 примеч., 227
гитлеризм, 54, 168
Гитлерюгенд, 124
Гладстон, Уильям Эварт, 148, 180, 207
Гоббс, Томас, «Левиафан», 186 примеч.
государственный контроль за обменом валюты, 106–107 примеч.
государство всеобщего благосостояния, 9, 16, 23 примеч.
гражданские консультации (Citizen's Advice Bureaus), 21
Гумбольдт, Вильгельм фон, 36, 175–176

Дайси, А. В., 90 примеч., 180
Дарлинг, судья, 99
Декларация прав человека, 101
демократия: демократия и планирование, 75-88; демократия и социализм, 49–50
Дизраэли, Бенджамин, 119 примеч., 207
диктатура, 24, 35, 49–52, 75, 86–89, 99–100, 103, 141–142, 194, 213
дискриминация, 16, 95, 96 примеч., 100, 102, 107, 109, 216
Дономора комитет, 82, 84 примеч.
Дополаворо, 124
доходы, 115 примеч., 192 примеч.
Друкер, Питер, 53, 160 примеч.
Дунайский бассейн, 215
Дьюи, Джон, 51 примеч.

евреи, 145, 182 примеч., 187 примеч.

Журнал национал-социалистической ассоциации математиков, 177

За марксистско-ленинское естествознание (журнал), 163
законодательство, 59, 61, 81–83, 84–85, 92, 100, 215; делегирование законодательных полномочий, 85, 99
законы, 59–61, 90–102, 151. *См. также* правозаконность
занятость полная, 199–200
заработная плата, 68, 109, 122, 139, 200–201. *См. также* минимум
защищенность социальная, 18, 56, 97, 129–140, 191, 196
Зомбарт, Вернер, 47, 68; Handler und Helden («Торгаши и герои»), 169–170

империализм, 148, 173 примеч.
инвестиции правительственные, 131
индивидуализм, 41–43, 48, 49–50, 78–80, 149–151, 166, 174, 181, 205; индивидуализм и коллективизм, 56–64
инженерного проетирования, методы, 134
инквизиция, 164
интернационализм, 48, 147–148, 168
Истмен, Макс, 52, 115 примеч., 116–117
Италия, 14–15, 36–37, 39, 42, 43, 53–54, 68, 73, 100, 124, 126, 144, 208–209, 212

Кант, Иммануил, 98
капитализм, 36, 48, 63, 67–68, 90, 115 примеч., 117, 145; капитализм и демократия, 88
Карлейль, Томас, 36, 167, 207
Карр, Э. Х., 156, 220; Conditions of Peace («Условия мира»), 183, 184–186, 220 примеч.; Twenty Years' Crisis («Двадцатилетний кризис»), 148 примеч., 183–184
картели, 67
Квислинг, Видкун, 53
Кейнс, лорд, 181
Кельсен, Ганс, 9
Киллингер, Манфред фон, 141
Кларк, Колин, 111 примеч.
классовая борьба: международная, 163, 215–216; «классовая борьба наизнанку», 126–127
клубы «любителей книги» в Англии, 125 примеч.
Кобден, Ричард, 41
коллективизм, 56, 147; индивидуализм и коллективизм, 56–64
колониальная политика, 214 примеч.
коммерция, 42; торговые города в Германии, 153
коммунизм, 9; коммунизм и фашизм, 15, 24, 51–53, 76, 153
конкурентный социализм, 62–63
конкуренция, 44 , 59–71, 107, 109–122, 126, 130–131, 134, 136–138, 150, 184–185, 191–197, 211; «слепота» конкуренции, 114
консерватизм, 18, 195
Конт, Огюст, 43, 167
контроль за потреблением, 107
концентрационные лагеря, 155, 182 примеч.
концентрация производства, 65–67
корпоративное государство, 159, 172
корпоративное общество, 190
корпорации: законодательство о корпорациях, 61
Корш, Карл, 177 примеч.
Крафт дурх Фройде (Kraft durch Freude), 124
Криппс, сэр Стаффорд, 86
Кроутер, Дж., 164, 188
кулаки, 145

Лаваль, Пьер, 53
Ласки, Гарольд Дж., 9, 81–82, 139, 194–195
Лассаль, Фердинанд, 168, 169
Левиафан *см.* Гоббс
Лей, Роберт, 141

лейбористы, 12, 19, 21, 23–25, 82, 148, 194
Ленард, Филипп, «Немецкая физика в 4 томах», 163
Ленин (Ульянов), Владимир, 52, 119, 128
Ленш, Пауль, «Три года мировой революции», 173–176
либерализм, 8, 17, 18, 32, 37, 40–41, 44–46, 48, 49, 51, 54, 62, 76, 84 примеч., 108, 112, 131, 149, 156, 168, 174, 176–178, 207, 210
Лига Наций, 225
Липпман, Уолтер А., 52
Лист, Фридрих, 47, 185
Локк, Джон, 41, 99 примеч.
Льюис, У. Артур, 191 примеч.

Макмиллана отчет, 40
Маколей, Томас Бабингтон, 207
Ман, Хендрик де, 127 примеч.
Манхейм, К., 47, 86, 90, 160
Маркс, Карл, 47, 53, 117, 149, 169, 171, 183, 185
марксизм, 52, 54 примеч., 65, 125, 162–163, 169, 168–171, 173, 188, 189
Мейн, сэр Генри, 96
Мёллер ван ден Брук, Артур, 167, 175, 177
меньшинство, 13, 34, 87, 102, 116, 161, 165, 168
Миллер, Уильям, 13 примеч.
Милль, Джон Стюарт, 35, 123, 207
Мильтон, Джон, 41, 196, 203, 208
минимум (прожиточный, заработной платы), 129–130, 132, 202, 215
монополия, 17, 45, 63, 65–71, 107, 119–120, 122, 136, 185, 189–195, 196, 218
Монтень, Мишель де, 41
Морли, лорд Джон, 36 примеч., 180, 207
Мосли, сэр Освальд, 86
Муссолини, Бенито, 53, 65, 68, 159
Мэннинг, К. А. У., 220 примеч.

Наполеон, 175
наука
см. развитие науки
Науманн, Фридрих, Mitteleuropa («Центральная Европа»), 173
нацизм
см. национал-социализм
национализм, 145–147, 149, 168–169
национал-социализм (нацизм), 7, 9, 12, 24, 32–37, 41, 48, 52–54, 94, 96, 120, 149, 163, 164, 182–184, 187, 211, 220; нацизм и фашизм , 32–33, 124, 126–128; социалистические корни нацизма, 167–178
Национальный совет по планированию (National Planning Board), 14
Нибур, Рейнгольд, Moral Man and Immoral Society («Нравственный человек и безнравственное общество»), 68 примеч., 147–148
Нидерланды, 42, 43
Николсон, Гарольд, 179
Ницше, Фридрих, 147
Новалис, 37 примеч.
Новый курс (New Deal), 14

Оствальд, Вильгельм, 172

Папен, Франц фон, 86
парламент всемирный
см. всемирный парламент
парламент, 81–86, 143
парламентаризм, 174, 176
парламентское осуждение (bill of attainder), 100
партикуляризм, 146–147
Паунд, Эзра, 208 примеч.
Перикл, 41
Перси, лорд Юстас, 86
планирование, 14–15, 19–20, 23–24, 47, 49, 56–59, 62–63, 65–75, 91, 93–95, 99–113, 116, 117–124, 128, 131, 134, 136, 142, 148, 158, 160, 163, 165–166, 169, 180, 184, 188, 190, 193, 208; планирование и демократия, 76–89; международное планирование, 210–222
плановая экономика, 14, 56, 58, 63, 73–74, 85, 88, 111–112, 134, 150
плановое общество, 58, 69, 73–74, 81, 98, 103, 107, 118, 144, 172, 195
Платон, 159, 181
Пленге, Иоганн, 170–172, 173, 175; «Маркс и Гегель», 170
послевоенные экономические проблемы, 210 сл.
потенциальное изобилие, 111, 185, 189, 196
потребление
см. контроль за потреблением
правовое государство (Rechtsstaat), 90 примеч., 96 примеч.
правозаконность, 96–102, 219, 221, 224
предсказуемость действий государства, 93–94, 96–98
привилегии, 18, 26, 36, 46, 62, 92, 96, 97, 104, 128, 129, 132, 136, 137, 194, 202, 206

Пристли, Джон Бойнтон, 190
производство *см.* контроль над производством
пропаганда, 34, 51, 54, 62, 65, 111, 138, 155, 156–157, 160, 161, 165, 184, 187–188, 191, 207–209, 221
протекционизм, 67, 68, 173
профессии выбор, 101
профсоюзы, 126–127, 194, 200

равенство, 50, 117, 120–121, 128, 146, 157, 160, 185, 196, 241; равенство перед законом, 96–97
развитие науки, 43, 162–164, 186–187
развитие новых технологий, 65–66, 71–72, 185
разделение труда, 69–71, 112
рантье, 192 примеч.
Рассел, Бертран, 149
Ратенау, Вальтер, 173
реализм исторический, 183
реальная политика (Realpolitik), 208, 223
Ренессанс, 41, 188
рестрикционизм, 94, 136–137, 220, 222
риск, 113, 127, 134–138, 140, 154, 191, 205
Роббинс, Лайонел, 66 примеч., 104 примеч., 211 примеч., 223 примеч.
Родбертус, Иоганн Карл, 168, 169
Россия, 9, 11, 14, 48, 52, 53, 100, 113 примеч., 115, 115 примеч., 145, 161, 163

свобода, 50–51, 62 примеч., 84 примеч., 99 примеч., 106–107 примеч., 129–140, 160
свобода предпринимательства, 38, 43, 46, 61, 127, 138, 202 примеч.
свобода торговли, 48, 185
Сен-Симон, Клод Анри де Рувруа, 49, 50–51 примеч.
Сесил, лорд, 184
Сиджвик, Генри, 180, 223 примеч.
Смит, Адам, 41, 57–58, 62, 76
собственность частная, 56, 61, 62 примеч., 115–117
Соединенные Штаты Америки (США), 7, 11–16, 32–33, 40, 66–68, 111 примеч., 115 примеч., 141, 178, 181, 193, 202, 207–209, 225
Сорель, Жорж, 159, 167
социализм: 12, 16, 18, 23–25, 34–37, 40, 49–55, 63, 111, 123, 125, 128, 147–149; значение термина «социализм», 9, 56–57; социализм в Германии, 47–48, 168–175; социализм в Австрии, 48, 124; социализм и демократия, 49–50; «конкурентный социализм», 62–63 примеч.
См. также национал-социализм
социалистические тенденции в Великобритании и США, 9–10, 16–17, 19–20, 23, 25
справедливость социальная, 56–57, 95
средний класс, 125–127, 189, 202
сталинизм, 52–53
стандартизация, 72, 123
стимулирование, 60, 62, 67, 104, 120, 133–134, 193
сырье, 218

Тацит, 41
Теннисон, Альфред, 223
технология
см. развитие новых технологий
Тойнби, Арнольд Джозеф, 184
Токвиль, Алексис Шарль Анри Морис Клерель де, 23, 29
Томас, Айвор, 23
тоталитаризм, 14, 100 примеч., 159, 204 примеч.; тоталитаризм и экономический контроль, 103–113; тоталитаристы среди нас, 179–195
Трейчке, Генрих фон, 180
Троцкий, Лев, 115 примеч.
труд
см. разделение труда

Уоддингтон, К. Х., The Scientific Attitude («Научный подход»), 188–189
Управление долины реки Теннесси, 216
Уэбб, Беатрис, 81, 148–149, 161, 163, 207
Уэбб, Сидней, 81, 148–149, 161, 163, 207
Уэллс, Герберт, 100–101, 207; Future in America («Будущее в Америке»), 171

фабианцы, 148, 180, 219
фашизм, 142, 144, 187 примеч.; фашизм и коммунизм, 15, 24, 51–53, 76, 153; фашизм и нацизм, 33, 126–128; фашизм и социализм, 54, 151
федерация, 210, 221–225
Фихте, Иоган Готлиб, 168, 169
Франклин, Бенджамин, 140
Франция, 42, 49, 171, 186
Фрейер, Ганс, 175 примеч.
Фрид, Фердинанд, Ende des Kapitalismus («Капитализм»), 178
Фукидид, 41

Хайнс, 141
Халеви, Эли, 75, 148
Харденберг, К. А. фон, 175
Хейнманн, Эдуард, 54

цели и материальные обстоятельства, 196–208
Центральная Европа, 42, 102, 143, 217
цены, 60–61, 66–67, 70, 107, 110, 121–122, 136, 193, 200–201, 218
цивилизация (европейская, западная), 17, 38–43, 48, 53, 68–72, 77, 142, 159, 175, 182, 188, 197–199, 201, 208, 223
Цицерон, 41

Чейз, Стюарт, 103
Чемберлен, Хьюстон Стюарт, 36, 167
Чемберлин, Уильям Генри, 52

Швейцария, 12, 224
Швеция, 9, 32
Шелер, Макс, 177 примеч.
Шлейхер, Курт фон, 86
Шмитт, Карл, 96 примеч., 175 примеч.
Шмоллер, Густав, 47
Шоу, Джордж Бернард, 149
Шпанн, Отмар, 175 примеч.
Шпенглер, Освальд, Prussianism and Socialism («Пруссачество и социализм»), 175–177
Штрейхер (Штрайхер), Юлиус, 141

Экленд, сэр Ричард, Unser Kampf («Наша борьба»), 190, 204 примеч.
экономический контроль и тоталитаризм, 103–113
Энгельс, Фридрих, 149
Эразм, 41
Эштон, Э. Б., 100 примеч.

Юм, Дэвид, 28, 41
Юнгер, Эрнст, 175 примеч.

Blut und Boden («кровь и почва»), 159
Bois-Reymond, Émil, Du, 187 примеч.
Borkenau, Franz, 147 примеч.

Coyle, D. C., 134 примеч.

Economic Journal, 181 примеч.
Economist, The, 24
Edelnazis, 178

Feiler, Arthur, 119 примеч.
Freizeitgestaltung, 113 примеч.

Glocke, Die, 172
Grossraumwirtschaft, 185, 213

Hardenberg, Friedrich von, 37 примеч.
Herrenvolk (раса господ), 213
Hutt, W. H., 132 примеч.

Jaffe, Edgar, 181
Janet, Paul, 50–51 примеч.
Jennings, W. Ivor, 221 примеч.
Jewkes, John, 25 примеч.

Knight, Frank H., 155 примеч.
Kolnai, Aurel, 175 примеч.

laissez-faire, 40, 44, 59, 97, 185, 221, 247
Lange, Oscar, 150 примеч.
Leistungsfähigkeit, 181
Lippincott, B. E., 150 примеч.

Mackenzie, Findlay, 148 примеч.
Michels, Robert, 53 примеч.
Modern Law Review, 191 примеч.
Muggeridge, M., 119 примеч.

Nature, 188
New Order, 219, 226
New Statesman, 220

Pribram, K., 177 примеч.

raison d'etat, 151
Roepke, W., 134 примеч.

Schnabel, Franz, 186 примеч.
Spectator, 180 примеч.
Stewart, Dugald, 58 примеч.

Tat, Die, 178
Taylor, F. M., 150 примеч.
Times, 179, 220

Volksgemeinschaft (национальная общность), 169, 177 примеч.

Wieser, G., 124 примеч.
Wilcox, C., 67 примеч.

Zivilcourage (гражданское мужество), 152

научно–популярное издание

Фридрих Август фон Хайек
Дорога к рабству

Редактор	Андрей Прохоров
Корректор	Любовь Кравченко
Компьютерная верстка	Ольга Бушуева
Производство	Семен Дымант

Фонд «Либеральная миссия»
101990, Москва, улица Мясницкая 20
Телефоны (095) 923 4056, 921 3313
Факс (095) 923 2858
e-mail liberal@liberal.ru
http://www.liberal.ru

Новое издательство
1030009, Москва, Брюсов переулок 8/10, строение 2
телефон (095) 229 6493
e-mail info@novizdat.ru
http://www.livejournal.com/users/novizdat

Оптовые продажи
телефон / факс (095) 229 2633
e-mail sales@novizdat.ru

Подписано в печать 11.04.2005. Формат 84x108 1/32.
Гарнитуры Minion, Helios. Объем 13,86 усл. печ. л.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз.
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
Химки, улица Библиотечная, 11